

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Борис
Васильев

ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Борис Васильев

Господа офицеры

«Азбука-Аттикус»

1980

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Васильев Б. Л.

Господа офицеры / Б. Л. Васильев — «Азбука-Аттикус»,
1980 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21742-3

Роман-эпопея «Господа офицеры» («Были и небыли») состоит из двух книг: «Господа волонтеры» и «Господа офицеры» – и занимает особое место в творчестве Бориса Васильева, который и сам был из потомственной офицерской семьи и не раз подчеркивал, что его предки всегда воевали. Действие романа разворачивается в 1870-е годы в России и на Балканах. В центре повествования – жизнь большой дворянской семьи Олесиных. Судьба главных героев тесно переплетается с грандиозными событиями прошлого. Сохраняя честь, совесть и достоинство, Олесины проходят сквозь суровые испытания, их ждет гибель друзей и близких, утрата иллюзий и поиск правды... Творчество Бориса Васильева признано классикой русской литературы, его книги переведены на многие языки, по произведениям Васильева сняты известные и любимые многими поколениями фильмы: «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Не стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война» и др.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-21742-3

© Васильев Б. Л., 1980

© Азбука-Аттикус, 1980

Содержание

Книга I	6
Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	19
Глава третья	37
Глава четвертая	61
Глава пятая	85
Глава шестая	109
Глава седьмая	130
Конец ознакомительного фрагмента.	147

Борис Васильев

Господа офицеры

© Б. Л. Васильев (наследник), 2021

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Книга I

Господа волонтеры

Часть первая

Глава первая

1

– Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр уже прибыл. Господа, прошу не задерживаться, отец Никандр... – Худощавый, болезненно бледный офицер монотонно повторял одну и ту же фразу, стоя у лестницы, ведущей в зал Благородного собрания.

Публики было много, и не только дворянской, ибо в широко разосланных Славянским комитетом билетах особо указывалось на возможное присутствие самого генерал-губернатора, а появление его личного адъютанта подчеркивало серьезность предстоящего события. И шли разодетые мамы с засидевшимися дочками, отставные полковники, рогожские миллионщики, чиновники и коммерсанты, корреспонденты московских и петербургских газет, студенческая и офицерская молодежь. Гвоздем программы был отец Никандр, только что возвратившийся из Болгарии, свидетель турецких зверств, о которых русские газеты писали из номера в номер со ссылками то на английские, то на австрийские, то еще на какие-то источники. Сегодня выступал очевидец, и, подогретая газетной шумихой, Москва валом валила в Большой белый зал.

– Господа, прошу не задерживаться...

– Господин капитан, а танцы будут? – бойко спросила хорошенькая барышня, тронув веером порядком уставшего адъютанта.

– О, мадемуазель Лора! – Штабс-капитан поклонился, не забывая при этом со служебной цепкостью оглядывать вестибюль. – Как всегда, в одиночестве гордом? Бросаете вызов московскому обществу? Приветствую вашу решимость в суровой борьбе за эмансипацию и ангажирую вас на весь вечер.

– А что скажет ваша очаровательная жена?

– Она так любит вас, Лора, что будет только счастлива.

– Я подумаю, Истомин. Здесь, случаем, не появлялся высокий шатен?..

– С туркестанским загаром? – улыбнулся Истомин. – Увы, пока нет.

– Скажите ему, что у нас места в третьем ряду слева.

– Непременно, мадемуазель... Господа, очень прошу не задерживаться.

Девушка убежала, прошуршав платьем по мраморным ступенькам. К зданию подъезжали и подъезжали экипажи, двери беспрерывно хлопали, пропуская новые группы москвичей; входя, все непременно задерживались в вестибюле, ища знакомых или начиная обстоятельные московские беседы.

– Господа, прошу... – Среди цивильных костюмов мелькнул офицерский мундир, и адъютант прервал привычную фразу. – Олексин! Пожалуйте сюда!

Молодой армейский поручик с надменно прямой спиной вынырнул из-за рыхлых сюртуков.

– Рад вас видеть, Истомин. Дежурите?

– Изображаю вопиющего в пустыне. О, поздравляю с производством, поручик. Говорят, вы недавно совершили приятный вояж?

– Не шутите, Истомин, я чудом не помер от жажды в Кызылкумах.

– Но зато удостоились поцелуя в уста от самого Скобелева. Правда это, или легкая зависть преувеличивает ваши успехи?

– Если бы я вам привез именной его величества указ о зачислении в свиту, вы бы тоже расцеловали меня. А именно такой подарок я и доставил Михаилу Дмитриевичу на позиции.

– От души поздравляю. – Адъютант пожал руку поручику. – А награда ждет вас в третьем ряду слева.

– Здравствуйте, господа. Кто ждет в третьем ряду? – К ним подошел рыжий, весь в веснушках, подпоручик гвардейской артиллерии. Коротко, как добрым знакомым, кивнул и тут же картинно прикрыл рукой явно искусственный зевок.

– Не вас, Тюрберт, не вас, – сказал Истомин. – Ждут нашего среднеазиатского героя. Он умирал от жажды, когда вы опивались шампанским, и теперь его час. Ступайте, господа, мне необходимо очистить вестибюль к приезду его превосходительства.

– Мне чертовски скучно в Москве, Олексин. – Тюрберт опять зевнул. – Я устал от отпуска, ей-богу. Вы всплыли наверх, а наверху всегда ветерок славы, хотя бы и чужой. И вы уже, вероятно, не понимаете меня, господин счастливчик.

Олексин и вправду ощущал дуновение чужой славы, которую по молодости склонен был разделять, искренне считал себя счастливчиком, был влюблен и любим и поэтому великодушно и необдуманно щедр. Он не только проводил подпоручика в третий ряд, не только представил его мадемуазель Лоре как своего ближайшего друга, но и уступил свое место, а сам отошел к колонне, гордо поглядывая на рыжего артиллериста, неприятно удивленную девушку, а заодно и на весь переполненный зал. Он был чрезвычайно, до легкого головокружения доволен собой, своим великодушием, фигурой, мундиром, молодостью – словом, всем миром, лежащим сейчас у его ног. «Смотрите, смотрите! – слышалось ему в нестройном шуме зала. – Видите у колонны молодого поручика? Это же Олексин! Да, да, тот самый Гавриил Иванович Олексин, личный курьер его величества, который с риском для жизни доставил Скобелеву именной указ прямо на поле боя!..» Никто, естественно, не обращал никакого внимания на офицера, никто не говорил о нем, да и говорить, собственно, было нечего, поскольку невероятные трудности, пески, перестрелки, жажда и само поле боя существовали только в воображении молодого человека. Он и в самом деле доставил указ, но, ни в делах, ни в походах участия не принимал, так как на следующий же день был с эстафетой отправлен в Петербург. Однако он исполнил оба поручения быстро и четко, был тут же произведен в поручики и теперь, вернувшись в Москву, чувствовал себя если не на вершине, то на подъеме к вершине славы, успехов и карьеры. И, пребывая в молодом ослеплении, слышал то, чего не было, и не замечал того, что было.

На сцене появились члены Славянского комитета, в зале наступила выжидательная тишина, и председательствующий объявил о выходе отца Никандра.

Отец Никандр был весьма пожилым, но далеко еще не старым человеком. Он много ездил по поручениям Церкви и по своим надобностям, много видел, часто выступал с просветительскими и благотворительными целями, писал статьи и заметки, состоял членом многочисленных комиссий и комитетов. Его хорошо знала московская публика всех сословий как страстного поборника православия и христианской морали, любила слушать, привыкла к нему, но сейчас по залу пробежал легкий ропот: всегда строго и тщательно одетый, священнослужитель вышел на сцену в пропыленной, покрытой странными ржавыми пятнами простой дорожной рясе, с почерневшим и погнутым медным крестом на груди.

– Актерствует отец, – насмешливо сказал студент рядом с Олексиним.

Отец Никандр начал говорить, и на студента зашикали. Гавриил посмотрел в третий ряд, где рыжая голова артиллериста почти нависла над худеньким плечиком мадемуазель Лоры,

нахмурился и как-то пропустил гладкое и неторопливое начало выступления. Он видел лишь шевелящийся, как у кота, ус над розовым ушком, чувствовал досадную тревогу и словно вдруг оглох.

– ...я ехал по выжженной, вытопанной и напоенной кровью стране, – донеслось до него наконец. – И если бы не заброшенные кукурузные нивы, если бы не изломанные виноградники, я мог бы подумать, что Господь перенес меня через столетия и я еду по родной Руси после нашествия Батыя. Увы, я был не в Средневековье, я путешествовал по европейской и христианской – услышьте же это слово, господа! – христианской стране в конце просвещенного девятнадцатого столетия!

Шепот прошелестел по залу, и опытный оратор сделал паузу. Его сдержанный, спокойный и полный горечи пафос отвлек Гавриила от досадных дум и подозрений; он не смотрел более в третий ряд, он слушал.

– Мы ехали медленно, очень медленно, потому что на дороге то и дело попадались неубранные, уже тронутые тлением трупы. Лошади останавливались сами, не в силах сделать шаг через то, что некогда было венцом Божьего творения; мы выходили из кареты, мы рыли ямы близ дорог, и я совершал последний обряд, не зная даже, как назвать душу, что давно уже предстала пред Богом. «Господи, – взывал я, – прими душу в муках почившего раба Твоего, а имя ему – человек».

Он снова сделал паузу, и в мертвой тишине отчетливо было слышно, как судорожно всхлипнула женщина.

– Воздух пропах тлением, смрадом пожарищ, кровью и страданием. Великое безлюдье и великая тишина сопровождали нас, и лишь бездомные псы выли в отдалении да воронье кружилось над полями. Цветущая земля Болгарии была превращена в ад, и я не просто ехал по этому аду, я спускался в него, как Данте, с той лишь разницей, что это была не литературная «Божественная комедия», а реальная трагедия болгарского народа. Я потерял счет замученным, коих отпевал, я потерял счет уничтоженным жилищам, я потерял счет кострам и виселицам на этой земле. Я думал, что достиг дна человеческой жестокости и человеческих страданий, но я ошибся: Бог послал мне страшные испытания, ибо человеческая жестокость воистину есть прорва бездонная.

Вечерело, когда смрад стал ужасным. Кучер погонял лошадей, но они лишь испуганно прыдали ушами, а потом и вовсе остановились, точно не в силах идти дальше. Мы вышли из кареты. Левее нас на возвышенности еще дымилось, еще догорало огромное село. Клубы смрадного дыма сползали к дороге, окутывая ее точно саваном. Нечем было дышать от пропитанного миазмами разложения липкого, жирного дыма. Там, наверху, находилось нечто ужасное, распространявшее на всю округу тяжкий дух смерти, и я не мог не увидеть это воочию. Прочитав молитву, я медленно тронулся в догорающее селение. Я шел один, вооруженный лишь Божьим именем и человеческим состраданием, я шел не из праздного любопытства, а в слабой надежде найти хоть единое живое существо и вырвать его из лап смерти. Я пробирался через горящие обломки зданий по улицам села, и смрад усиливался с каждым моим шагом. Я задыхался, я хрипел, весь покрывшись потом, но шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в доме молитвы, найду кого-либо из тех, кто еще нуждается в помощи. Но совсем скоро я замер, не в силах сделать ни шагу: я наткнулся на труп. Жалкий, сморщенный, полуобгоревший трупик ребенка валялся посреди бывшей улицы – той улицы, на которой совсем недавно протекала вся его веселая детская жизнь, где он играл и дружил, откуда вечерами его никак не могла дозваться мать. Я подумал о его матери и не ошибся: я увидел ее рядом, в двух шагах, с черепом, раскroенным зверским и неумелым ударом ятагана. Она тянула руки к своему ребенку, она, мертвая, звала его к себе. В ужасе оглянулся я окрест и всюду, куда только достигал мой взгляд, – под тлевшими остатками домов, во дворах, на обочинах и просто срьдь дороги – всюду видел трупы. Трупы детей и женщин, девушек и юношей, мужчин и

старцев. Трупы росли, трупы вздымались горами, трупы тянули ко мне синие руки. Я шел как в страшном сне, вцепившись в крест и творя молитву.

Так, обходя трупы или просто перешагивая через них, когда обойти было невозможно, продолжал я свой страшный путь. Я не задохнулся от смрада, не захлебнулся от рыданий, не потерял сознание от ужаса: я выдержал испытание, я уверовал в свои силы. Но когда я вошел в церковный двор, я понял, что никаких человеческих сил не хватит, чтобы вынести то, что мне предстало: весь двор был завален человеческими телами. Весь двор, от стены до стены, от церкви до ворот, в несколько слоев! Четвергованные обрубки, бывшие некогда мужчинами, девичьи головы с заплетенными косичками, изрубленные женские тела, иссеченные младенцы, седые головы старцев, проломленные дубинками, – все это со всех сторон окружало меня, все это давило и теснило меня, и я не мог сделать ни шагу. Я был в самом центре царства мертвых. И тогда я возопил. «Господи! – кричал я, и слезы текли по моим щекам. – За что Ты столь страшно испытываешь смирение мое, Господи? Вложи меч в руки мои, и я воздам зверям в облике человек. Вручи мне меч, Господи, ибо силы мои на исходе от испытания Твоего! Вручи мне меч!..» Так кричал я над телами моих братьев и сестер, принявших лютую смерть от рук башибузуков. Кричал, пока не истощились силы мои и не рухнул я на колени в запекшуюся кровь. Я рыдал и молился и встал, осознав долг свой. Долг этот придал мне сил: я не только дошел до кареты, но и еще раз проделал весь путь от дороги до церкви, захватив с собой все необходимое для требы. Когда мы вернулись на церковный двор, уже стемнело и взошла луна. Кучер-болгарин рыдал, упав ниц и грызя окровавленную землю, а я отслужил панихиду по невинным страдальцам, земно поклонился и поклялся, пока жив, рассказать миру, что творится в несчастной Болгарии.

Мы не спали ночь, притомились и потому остановились на отдых в полдень недалеко от места чудовищной гекатомбы. Это был небольшой постоялый двор на перекрестке, принадлежащий испуганному, тихому и немолодому болгарину. В доме находились жена хозяина, исплаканная и почерневшая от горя, и их дочери десяти и шестнадцати лет. Я спросил о стертом с лица земли селении; хозяйка, а вслед и дочери начали рыдать, а хозяин тихо и горестно поведал мне, что селение то называлось Батак, что жители его встали против произвола османов и были поголовно вырезаны в страшную ночь и еще более страшный день. Хозяева и сами были родом из Батака, но находились здесь и потому уцелели, а все их имущество было разграблено и предано огню, все их родственники и единственный сын, по их словам, погибли в резне, учиненной озверелой толпой башибузуков. Это случилось совсем недавно, всего несколько дней назад, но окрестные жители боялись приблизиться к селению, страшась мести башибузуков, и я был первым, кто взошел на эшафот после ухода палачей. Я мог бы многое поведать вам с его слов. Я мог бы рассказать, как ятаганами рубили материнские руки, чтобы вырвать из них младенцев и бросить их в огонь. Я мог бы рассказать, как стреляли в набитую людьми церковь, набитую настолько, что пули пронзали по несколько человек кряду, а убитые оставались стоять, ибо пасть им было некуда. Я мог бы рассказать, как зверски, на глазах у отцов и матерей, насиловали девочек прямо на окровавленной земле, а утолив животную похоть, отводили их на мост, где и отрубали им головы, соревнуясь в лихости удара. Я многое мог бы рассказать, но я пощажу ваши чувства.

Я не помню, кто первым крикнул знакомое нам, но – увы! – страшное в Болгарии слово «черкесы». Я ничего еще не успел понять, как мать бросилась предо мною на колени, умоляя спасти ее старшую дочь. Спасти не от смерти, нет, – кажется, они уже не боялись смерти! – спасти от неминуемого и мучительного позора. «У меня в доме есть тайник, но в нем не поместятся двое. Умоляю вас, господин, спасите мое дитя! Заклинаю вас именем Бога и матери вашей, спасите!» Я сам отвел дрожащую от страха старшую девочку в свою карету, уложил ее на пол, накрыл ковром, а поверх навалил багаж. И вовремя: к дому уже со всех сторон с гиканьем неслись всадники. Они мгновенно окружили дом, вытолкали всех во двор и поставили

у стены. Все делалось молча и дружно; лишь один – очень молодой, в простой черкеске, но с богатым оружием – стоял в стороне, не вмешиваясь в суету и не отдавая никаких распоряжений, хотя был их вождем, что я понял сразу.

Пока черкесы грабили дом, вынося все, что представляло хоть какую-то ценность, или попросту круша и ломая, если вынести было невозможно, этот последний через суетливого переводчика-болгарина приступил к допросу хозяина: «Где твой сын?» – «Не знаю», – сказал старик. «Он врет, эфенди! – закричал переводчик. – Его сын сражался в Батаке!» – «Стыдно врать такому почтенному человеку», – сказал черкес. – А где твои дочери?» – «Не знаю», – тихо, но с непоколебимым упорством повторил отец. Двое услужливых арнаутов взмахнули нагайками. Они хлестали старика по лицу, плечам, голове. Он не защищался, только прикрыл глаза. На седой щетине его лица показалась кровь. «В чем вина этого человека, бек?» Я сознательно крикнул по-русски. И по-русски получил ответ: «Его вина понятна каждому: не надо было рождаться болгариним. А ты кто? Поп?» – «Я представитель Русской православной церкви и сейчас возвращаюсь в Россию из Константинополя», – сказал я. – Фирман султана разрешает мне беспрепятственный проезд». В это время его воины подошли к моей карете с намерением обшарить и ограбить ее, как ограбили дом. Еще мгновение – и они открыли бы дверцы. «Назад! – закричал я. – Мое имущество неприкосновенно! Я повелеваю именем его величества султана!» – «Оставьте его карету», – приказал бек. – К сожалению, мы еще не воюем с Россией. Но берегись, монах, попасть ко мне в руки, когда это случится!» Я мысленно возблагодарил Господа, увидев, что черкесы отходят от кареты. А допрос тем временем продолжался. «Как зовут твоего сына, старик?» Старик молчал. «Это он, он! – суетливо кричал переводчик. – Его сына зовут Стойчо, я знаю эту семью!» – «Зато эта семья не знает тебя, иуда», – сказал старик и плюнул под ноги переводчику. Над ним вновь взвились нагайки, но бек остановил арнаутов. «Мы ищем убийцу, которого зовут Стойчо. У него рассечена голова, за что его уже прозвали Меченым. Три дня назад он зарубил турецкий патруль в горах. Я спрашиваю тебя, старик, что ты знаешь о Стойчо Меченом? Подумай, прежде чем солгать. А пока мои люди поищут твоих дочерей, может быть, это развяжет твой поганый язык. Где твои дочери, старуха?» – «Они ушли, они далеко отсюда. – Мать пала в ноги, ползала в пыли, пытаясь поцеловать сапог черкеса. – Эфенди, пощади нашу старость! Мы смиренные люди, эфенди, мы ни в чем не виноваты!» – «Болгары не бывают невиновными», – сказал бек. – Лучше добровольно покажи, где прячешь дочерей, старая ведьма!» – «Их нет здесь, нет, эфенди!» – «Тогда мы найдем их сами». Бек подал знак, и дом вспыхнул, подожженный со всех сторон. Онемев от ужаса, отец и мать смотрели, как пламя пожирает их жилище, а заодно и дочь, спрятанную в нем. «Молись! – властно крикнула мать, заметив, как вздрогнул и шагнул к дому старик. – На колени!» Она рухнула на колени и начала горячо, неистово горячо молиться за упокой сгоравшей заживо дочери. Старик дрожал крупной дрожью, а черкесы с живейшим любопытством смотрели на бушующее пламя. Из дома раздался душераздирающий крик ребенка. Черкесы засмеялись, а мать продолжала молиться: она предпочитала мученическую смерть дочери ее бесчестью. Но отец не выдержал. Пользуясь тем, что на него не обращали внимания, он схватил тяжелую дубину и занес ее над головой. Черкес, над которым взметнулась она, успел вырвать из ножен шашку, но шашка разлетелась пополам, и узловатая дубина обрушилась на его голову. Черкес упал, и в тот же миг полдюжины шашек блеснули в воздухе. Они со свистом и яростью полосовали упавшего наземь старика, кровь брызгала во все стороны, трещало пламя, все еще нечеловечески кричала сгоравшая заживо девочка, а старуха... Нет, она уже не молилась. Поднявшись на ноги, она извергала проклятья! Блеснула шашка, седая голова старухи покатилась с плеч, и это было последним, что я увидел. Я потерял сознание и упал в лужу крови рядом с изрубленным в куски отцом.

Когда я очнулся, черкесы уже ушли, захватив с собой раненого сообщника. Я поднялся и только тогда увидел, что рядом с обезглавленной матерью молча стоит на коленях старшая

дочь, распустив по плечам длинные черные волосы. Я сказал ей, что мы возьмем ее с собой, но она отвела руку, которой я коснулся ее плеча, подняла с земли обломок черкесской шашки и коротко обрезала свои роскошные косы. «Я буду мстить, – сказала она. – Клянусь тебе, мать, тебе, отец, тебе, сестра. Я буду мстить за вас и за Болгарию, пока не отрастут мои волосы». И ушла в горы. Мы кое-как разворошили догоравший дом, извлекли оттуда останки несчастного ребенка и с честью похоронили трех мучеников в одной могиле. На пожарище я нашел этот крест и тогда же надел на себя. А в этой рясе я был там, на постоялом дворе, пятна на ней – это кровь болгарских мучеников, наших братьев и сестер!..

Отец Никандр замолчал, но в зале уже не было тишины. Рыдали женщины, хмуро, скрывая волнение, покашливали мужчины, и глухой гул перекатывался из конца в конец. Выждав длинную паузу, священник снова поднял руку:

– Трагедия Батака и безымянного двора, быть свидетелем которой меня поставил Господь, неожиданно вновь всплыла передо мной на страницах одной из румынских газет. Вот что там говорилось. – Он достал газету и начал читать: – «По сообщениям осведомленных турецких источников, подтвержденным болгарскими беженцами, в Болгарии на территории горного массива Стара Планина действуют хорошо организованные отряды инсургентов. Особую популярность среди болгарского населения завоевал некий Стойчо Меченый, ярость и отвага которого наводят ужас на местные турецкие власти». Слава тебе, мститель за муки Болгарии, Стойчо Меченый! Молю Господа Бога нашего, чтобы продлил Он дни твои на земле и вложил в твое сердце еще более яростную ненависть к палачам твоего народа. Знай же, что мы, твои русские братья, будем не только молиться, но и готовиться. Готовиться к тому знаменательному дню, когда великая Россия придет на помощь православной Болгарии, изнемогающей под гнетом мусульманской Порты! Да будет так!

Отец Никандр осенил себя широким крестным знаменем и торжественно поцеловал тусклый наперсный крест. И зал словно взорвался. Вскрикивали с мест, кричали, плакали, потрясали кулаками. Это было бы похоже на массовое сумасшествие, если бы не та искренность, с которой выражала взбудораженная публика свои чувства.

– Мщения! – кричал багровый полковник, потрясая кулаком. – Мщения!

– Жертвую! – басом вторил дородный купчина, и слезы текли по окладистой ухоженной бороде. – Капиталы жертвую на святое дело! Жертвую, православные!

– Подписку! Организовать подписку! Всенародно!

– Петицию государю! – кричали молодые офицеры. – Петицию с просьбой о добровольческом корпусе!

– Все пойдем! Все как один!

Гавриил кричал со всеми вместе. Он вдруг позабыл и о мадемуазель Лоре, и о рыжеусом артиллеристе-сопернике, он был весь во власти высокого и прекрасного вдохновения. Протолкавшись сквозь ряды кричавших мужчин и рыдавших дам, он пробрался к сцене, решительно отодвинул шагнувших к нему членов Комитета и опустился на колени перед отцом Никандром.

– Отче! – громко и четко сказал он, перекрыв шум, и зал невольно примолк. – Благословите первого русского волонтера, отче.

2

Патетический жест офицера неожиданно для него получил широкую известность. Проталкиваясь к сцене, Олексин и не думал о последствиях: его захватил всеобщий порыв, восторженный пафос публики. Его обнимали, благодарили, целовали, ему жали руки – и все это прилюдно, все это в напряженном поле человеческих чувств, единых и искренних, по крайней мере в данный момент. Он был тут же введен в члены Славянского комитета, корреспонденты наперебой расспрашивали его о том, что было и чего не было, что будет и чего не может быть;

он стал вдруг центром кристаллизации уже подготовленного, уже перенасыщенного раствора. Он собственной волей взлетел на орбиту, но взлетел так точно, так вовремя, что был тут же подхвачен посторонними силами, направлен и раскручен ими в соответствии с внутренними законами общественного движения и теперь уже не мог самостоятельно вернуться в прежнее приземленное состояние, даже если бы и захотел этого.

И Олексин увлекся. Шли бесконечные заседания, собрания, совещания, рауты и вечера, и начальство безропотно отпускало ставшего вдруг знаменитым поручика по первой его просьбе. Даже публикация в газетах, в самых восторженных тонах освещающая его «святой порыв», не вызвала неудовлетворения командования, хотя армия терпеть не могла газетных сообщений о тех или иных поступках офицеров. Олексин ожидал бури, и тучи в лице посыльного от самого полкового командира не замедлили показаться на горизонте. Поручик тут же явился и отрапортовал.

Командир полка, седой и кряжистый, как заиндевевший дуб, неодобрительно сдвинул косматые брови и дважды разгладил усы – признак, не предвещающий ничего хорошего.

– В газетки попали? И полк упомянут полностью. Извольте объяснить, чем обязаны такой славе?

Гавриил коротко обрисовал ситуацию и в двух словах – свои чувства. Он сознательно о чувствах говорил мало, надеясь развить эту тему впоследствии, если старик начнет разнос. Командир молча выслушал, снова дважды провел по усам.

– Не одобряю, – пробасил он. – В наше время эдакого не случалось. А уж коли случилось бы – адью! Скатертью дорога. Однако в искренности не сомневаюсь, за сдержанность хвалю. Только уж коли назвались груздем, так первым в кузовок полезайте, первым, поручик.

Общественная деятельность настолько поглотила Олексина, что все его личные дела вынужденно отошли на второй план. Конечно, он не забыл о мадемуазель Лоре, в которую, как казалось ему, был влюблен страстно и искренне, но с молодым максимализмом считал, что дело, которым он занимается, и есть самое главное, а посему Лора должна терпеливо ждать, когда придет ее черед. Но Лора ждать не желала, справедливо полагая, что на свете нет дел, мешающих влюбленному проявить внимание. Сначала это была обида, незаметно подогреваемая намеками и шутками Тюрберта, потом... потом – женская месть, избравшая своим орудием все того же рыжего артиллериста: Лора постоянно бывала с ним в тех же местах, где знали и Гавриила, отчаянно веселилась и отчаянно кокетничала, ожидая, что ревность образумит новоявленного общественного деятеля. Однако Олексин то ли не замечал ее контрмаршей, то ли терпеливо сносил их. Лора встревожилась не на шутку и стала избегать рыжего подпоручика. Но Тюрберт к тому времени уже основательно увлекся ею – кстати, и партия была вполне подходящая, – а потому и решил действовать сам и выбить противника из седла. Этим пресловутым седлом для Гавриила была служба; рыжий подпоручик правильно понял это и повел огонь по всем канонам артиллерийской науки.

Да, Гавриил очень гордился службой в привилегированном московском полку. Ему нравилась форма, он любил строй, разводы и ученья и искренне плакал от восторга и умиления, впервые присутствуя на высочайшем смотре. Он мечтал о карьере и славе, о чинах и наградах, о благосклонности государя и любви товарищей по полку. Он свято верил, что добьется того положения, которого не добился его отец, скандально уволенный в отставку по строптивости характера, и уже преуспел по службе, исполнив почетное поручение и получив чин поручика. Он был хорошим товарищем и примерным офицером, офицером на виду, с множеством полезных знакомств, несмотря на просчеты домашнего воспитания, отсутствие связей и тощий кошелек. И даже разовый, позорный, по сути мальчишеский проигрыш в карты в самом начале карьеры, о котором он всегда вспоминал с приливами запоздалого стыда, оказался плюсом в его офицерской биографии, укрепив за ним славу беспутного малого, для которого деньги существуют постольку, поскольку их можно проиграть. Изю всех сил тянулся за родовитыми

офицерами, хватая на лету их словечки и привычки, манеру говорить, походку, даже клички лошадей. Временами казалось, что у него уже ничего не осталось своего, что он словно бы растворился в среде, которую имел все основания считать своей, которой поклонялся и которой восхищался. Ему почудилось, что после удачной командировки и внезапного общественного взлета он уже стал равным им – им, швыряющим десятки тысяч на любовниц и кутежи, проигрывающим состояния в карты и покупающим лошадей за баснословную цену только для того, чтобы завтра же загнать их на первой же скачке. Так чудилось ему, чудилось, пока...

– Господа, я вычитал любопытнейшую штучку. Оказывается, помесь жеребца с ослицей – кровного, заметьте, жеребца с робкой рабочей скотинкой – называется лошаком! Смешное словечко, господа, не правда ли? Ло-шак! Он наследует жеребьячью силу и ослиную тупость, а посему абсолютно незаменим в обозе. Но не в армии, господа, отнюдь не в армии!

Это было в офицерской компании, шумно обсуждавшей только что вспыхнувшее восстание в Сербии. Опоздавший Тюрберт, наплевав на сербские дела, прямо с порога громко выложил почерпнутые из словаря сведения, в упор глядя на Гавриила. Все почему-то начали смеяться и острить, и Олексин смеялся и острил, хотя сразу понял, в чей огород полетел камешек, и лицо его запылало помимо воли. Но он изо всех сил смеялся и изо всех сил острил, стараясь не встречаться с Тюрбертом взглядом и все время ощущая, что рыжий подпоручик смотрит на него, насмешливо улыбаясь. Тогда у него хватило выдержки не понять, и Тюрберт отложил второй залп. Он произвел его через три дня – уже в другом доме, в присутствии мадемуазель Лоры.

В этот вечер Лора упорно не замечала Тюрберта, отдав все свое обаяние, внимание и кокетство Гавриилу, специально ради нее пришедшему сюда. Жертва была велика, Лора оценила ее и пыталась не просто отблагодарить, но и закрепить свой первый успех в борьбе с общественной деятельностью потенциального жениха. Тюрберт учел ситуацию и решил идти ва-банк.

– Пахнет лошаком, господа, неужели не ощущаете? Странно. Этаким специфический запах: смесь навоза, щей и сивухи. Кстати, Олексин, отчего бы вам не сволонтерить в Сербию?

Если бы Гавриил сумел не расслышать этих слов или, на худой конец, дал бы подпоручику пощечину! Но он не сделал ни того ни другого. Он растерялся, покраснел и тут же ушел, ничего никому не объяснив. И лишь на другой день прислал Тюрберту форменный вызов.

– Я бы подстрелил Олексина не без удовольствия, но боюсь, господа, что может пострадать честь дамы, – сказал Тюрберт присланным секундантам. – А своему другу порекомендуйте послужить в обозе на благо отечества: на лошаках хорошо пушки возить.

При первом же намеке на Лору Гавриил отказался от вызова, и после этого оставалось лишь уйти в отставку: кодекс чести не прощал офицеру, ставшему мишенью острот, если офицер этот не находил приличного предлога для дуэли. Олексин его не нашел, получил афронт и покрыл себя позором. Оставался последний выход: Сербия; он подготовил этот выход публичными заверениями и общественной суетой. Поставить крест на военной карьере во имя спасения братьев-славян от османского ига – выход, не требовавший объяснений, а их-то Гавриил и боялся пуще всего.

Объяснений и впрямь не требовалось, но отставки ему не дали. Пришлось переписать рапорт и вместо отставки получить годичный отпуск «по семейным обстоятельствам». Он согласился на него, втайне решив через год все же настоять на окончательной отставке.

А поездка в Сербию все откладывалась и откладывалась. И вместо того чтобы ехать самому, Олексин встречал, провожал, поздравлял и напутствовал тысячи русских волонтеров, сплошным потоком ринувшихся в далекую и незнакомую Сербию. Ехали офицеры и студенты, рядовые казаки и отставные полковники, мещане и земские деятели, купеческие сынки и крестьянские дети. Ехали «мстить нехристям» и с оружием в руках отстаивать чужую свободу; ехали за крестами и карьерой; ехали из любознательности и из равнодушия; ехали посмотреть

мир или просто хоть на время удрать из родного отечества, чтобы полной грудью вдохнуть свежий ветер борьбы вдали от голубых мундиров. Ехали все, кто хотел и кто мог, – не ехал лишь поручик Гавриил Олексин. Волонтер номер один.

3

В эту ночь в последний раз пели соловьи. По смоленской традиции девушки выходили в сады и слушали последние песни, млея от восторга и ожидания. В полночь бдительные мамыши отправляли их спать, но девушки все равно не спали, слушая соловьев в постелях и до утра мечтая о женихах. Непременно статных, красивых, удачливых и добрых.

Варе Олексиной никто не приказывал идти спать: в их городском доме она оставалась единственной хозяйкой. И недавно представленному ей молоденькому прапорщику, стоявшему на квартире в пустующем купеческом доме, тоже никто не приказывал. Молодые люди, восторгаясь, долго слушали соловьиные переливы, глядя друг на друга через забор, разделявший сад, а потом слово за слово разговорились, соловьи отошли на второй план, и офицер перепрыгнул через ограду.

– Варвара Ивановна, умоляю вас, не пугайтесь. Позвольте мне постоять подле вас и, если не возражаете, выкурить две папиросы.

Варя испугалась, но не подала виду, решив, что всегда успеет убежать, если молодой человек вздумает вести себя непочтительно. Но прапорщик был вполне корректен, даже застенчив, говорил тихо и интересно, держал себя на расстоянии, и Варя вскоре забыла о своих девичьих страхах. Прапорщик рассказывал о Кавказе, откуда только что приехал, о мирных и немирных горцах, о тоскливой службе в крохотном гарнизоне, куда ему предстояло вернуться всего через несколько дней. Соловьи звенели восторженно и любовно, ночь была нежной и таинственной, а их возраст – возрастом бессонниц, смутных тревог и отважного желания идти навстречу друг другу. И вскоре они уже сидели рядом, и стук их сердец давно уже заглушил все соловьиные трели.

Очнулась она внезапно, как со сна, от далекого тележного грохота, что отчетливо слышался в тихом рассветном воздухе. Оттолкнула прапорщика, вскочила со скамьи, на которой забылась в объятиях, и опрометью бросилась в дом, лихорадочно застегивая кнопки на распахнутом вороте блузки.

– Варя! Варенька, подождите! Два слова, Варенька, умоляю, два слова!

Она не оглянулась, влетела в дом, захлопнула за собой дверь и привалилась к ней, точно боялась, что прапорщик ворвется следом. И почему-то все время слышала нарастающий тревожный тележный грохот.

С этим грохотом с Киевского шоссе влетела в Смоленск легкая таратайка. Промчалась по пустынной, усыпанной сеном трухой площади, миновала Молоховские ворота, мелькнула на Благовещенской и остановилась у одноэтажного особняка на чинной Кадетской улице. Возница – крепкий мужик с косматой гривой, но аккуратно подстриженной бородой – ударил кулаком в загудевшие ворота:

– Семен!

Неистово залаяли собаки, где-то хлопнула дверь. К воротам степенно шел заспанный дворник. Почесывался, зевал, крестил заросший рот, важно гремел ключами.

– Кого надо?

– Отчиняй, Семен!

– Захар Тимофеич? – Дворник, забыв и сон, и степенность, засеменял к воротам. – Счас, счас. Спозаранку прибыли, Захар Тимофеич, ночью, стало быть, из Высокого-то выехали. Ай, лошадку загнали, ай! Дело, стало быть, срочное? А барышня спит и не чаёт...

Без умолку говоря и не заботясь при этом, слушают его или нет, Семен открыл наконец огромный ржавый замок, сдвинул засовы, распахнул заскрипевшие ворота.

– Здравствуйте вам, Захар Тимофеич!

– Аня померла. – Захар снял картуз, вытер изнанкой мокрое лицо. – Аня наша померла вчера, Семен.

– Господи!.. – Крупное заросшее лицо дворника задрожало, и, чтобы скрыть эту дрожь, он по-бабьи прижал ладонь ко рту. – Анна Тимофеевна? Господи, Боже ты мой, Господи! Упокой душу рабы Твоея.

– Отмучилась заступница наша, – дрогнувшим голосом сказал Захар и тут же, словно злясь на себя за секундную слабость, крикнул сердито: – Ну, чего рассоплился? Коня прими, выводи да не напои с похмелья-то! Смотри у меня!

Крупно, по-хозяйски зашагал к крыльцу. Не доходя, швырнул кнут в клумбу с отцветающими пионами, взошел по ступеням и скрылся за тяжелой дверью, держа в кулаке смятый картуз.

В доме уже проснулись. Полная экономка в капоте и старинном чепце, услышав новость, затряслась, замахала руками.

– Полно, Марфа Прокофьевна, не вернешь. – Захар помолчал, теребя картуз. – Буди барышню.

Барышня вышла сама. Остановилась в дверях, вцепившись в косяки:

– С мамой?

– Нету маменьки, Варвара Ивановна, – глухо сказал Захар. – Нету больше сестрицы моей Анны Тимофеевны.

И тяжело, грузно опустился на стул, чего никогда не делал в присутствии барышни Варвары Ивановны Олексинной.

Варя не закричала, не вздрогнула, только лицо ее, став блее блузки, словно опустилось, поехало вниз, к закушенной губе и отяжелевшему вдруг подбородку. Она ни о чем не спрашивала, пристально, не моргая глядя на Захара огромными материнскими глазами.

– Вчера еще песни играла. Потом полоть пошла. Знаешь, там, у пруда, где огороды заложили.

– Полоть! – неожиданно громко и резко сказала Варя. – Ей ведь нельзя полоть, нельзя работать.

– Да нешто это работа, – вздохнул Захар: ему не дышалось, и он все время вздыхал. – Это ж так, в потеху. Разве ж мы дали бы ей? А тут только нагнулась и – в ботву.

Дом уже полностью проснулся: хлопали двери, шуршали юбки, скрипели половицы. В задних комнатах кто-то плакал, все говорили шепотом, и только резкий голос Вари звучал громко и отрывисто:

– Врача догадались?

– Сразу же за лекарем послали: у господ Семечевых лекарь из Петербурга гостит. Приехал вскорости, да не помог: к вечеру преставилась.

Захар замолчал, ожидая вопросов, но Варя больше ни о чем не спрашивала, все так же пристально глядя на него. Из всех дверей выглядывали женские лица.

– К полудню привезут, – сказал он, поняв ее молчание. – Подготовить все надо.

– Телеграммы, – опять перебила Варя. – Батюшке и Гавриилу в Москву, Феде в Петербург, Васе в Америку. В Америку телеграммы принимают?

– Не знаю, барышня.

– Узнаешь на телеграфе. Со станции отправляй, оттуда скорее доходят. Идем, я запишу адреса.

Варя оторвалась от косяков, качнулась. Захар вскочил, чтобы поддержать ее, но она отстранилась и пошла вперед, чуть откинув голову над прямой, как струна, спиной.

Они прошли в тесный кабинетик, где стояли старинное бюро, шкафы с книгами и уютное кресло, в котором лежал раскрытый журнал. Варя сразу начала писать, а Захар остановился в дверях.

– Прими журнал и садись, – сказала она, не оглядываясь. – Как написать, когда будем?.. – Она замолчала.

– Хоронить-то? – Он подумал. – Раньше субботы не получится. Из Москвы сутки езды, а из Петербурга да с пересадкой еле-еле в трое суток Федя управится.

– Я пишу всем одно. В четыре адреса: два в Москву, один в Петербург и один в Северо-Американские Соединенные Штаты.

– А зачем в Штаты телеграмму? Вася все одно к похоронам не успеет, для чего же пугать? Может, письмо? Письмо спокойнее.

– Письмо? – Варя по привычке покусала нижнюю губу. – Пожалуй, ты прав, письмо лучше. Я напишу, а ты ступай на телеграф. Коня сильно загнал?

– Это есть.

– Возьмешь мою пару. Распорядись там. – Она протянула синеватый листок дорогой глянцевого бумаги. – Отправишь со станции.

Он покивал, соглашаясь. Первые распоряжения были отданы, и вместе с ними словно бы закончились и их деловые отношения. Они оба почувствовали это, вновь ощутили утрату и пустоту, ту страшную пустоту, что рождает такие утраты. Хотелось что-то сказать, утешить, ободрить или просто поплакаться, но это было и невозможно и не нужно, и они молчали, стоя друг перед другом.

– Ну, ступай, – тихо и мягко сказала Варя. – Ступай, мне одеться надо.

– Поплачь, Варя, – вдруг глухо сказал он, опустив кудлатую голову. – Поплачь и за упокой помолись. Полегчает.

– Хорошо, – сказала она, словно не слыша его. – Месяц до сорока не дожила. Как странно все.

Захар вздохнул, покивал горестно и пошел через залу к выходу, стуча подковками новых сапог по натертому паркету.

Варя прошла к себе, в смежную с кабинетом комнату. Остановилась в дверях, крепко обняв плечи скрещенными руками и незряче глядя на несмятую постель. На этой постели всегда спала мама в редкие приезды из усадьбы. Тогда Варя стелила себе на диване, что стоял тут же, у противоположной стены, и они говорили с мамой до глубокой ночи.

Мама не любила город, терялась в нем и даже не ездила за самыми необходимыми покупками. Дети унаследовали от нее эту сковывающую застенчивость, но Варя пошла в отца, только глаза были мамины. Она единолично распоряжалась домом с той поры, как кончила пансион: вела хозяйство, делала покупки для усадьбы в Высоком, следила за учебой младших братьев и сестер, регулярно писала старшим и отцу, хотя отец никогда не отвечал на письма, ограничиваясь скудными поздравлениями на Пасху и Рождество.

Варя была центром их огромной разбросанной семьи, но душой этой семьи всегда оставалась мама, маленькая тихая женщина, до самой смерти не разучившаяся краснеть в присутствии посторонних. Мама безошибочно находила самые простые и теплые слова, самые неопровержимые аргументы, а советовать умела так, что совет этот воспринимался как вдруг возникшее собственное решение. Так было с Гавриилом, проигравшим в карты довольно кругленькую сумму, так было с Василием, попавшим под надзор III Отделения, так было и с самой Варей, еще девчонкой безоглядно влюбившейся в залетного офицера. Долгую зимнюю ночь они проплакали тогда с мамой на этой постели, а утром Варя уехала в Псков к тетке, оставив офицера в растерянности крутить лихие гусарские усы.

Отец никогда не принимал участия в жизни семьи. Прожив с ними бок о бок до рождения младшего – десятого по счету – ребенка, он так и остался чужим: Варя помнила только его бес-

конечные отъезды. У него была своя половина в доме, свои слуги, свои лошади, собаки, и даже обед ему готовил специально выписанный повар, а не их добрая, толстая, мало что умевшая кухарка. С детьми – а он занимался с детьми, когда был дома, два часа утром и час перед ужином, – с детьми он держался всегда ровно, спокойно и строго. Одинаково ровно и одинаково строго со всеми, никого не выделяя: у него не было ни любимчиков, ни любимых, хотя как-то по-своему он их, конечно, любил, и дети чувствовали это и тоже относились к нему ровно и спокойно. Впрочем, он никогда не отказывал им в тех просьбах, которые считал разумными: в книгах, игрушках, детских балах или нарядах. Но любая личная просьба всегда превращалась им в общую потребность: если Гавриил просил ружье, то ружье получал не только он, но и не просивший этого Василий; если Варе хотелось щенка, то и щенков оказывалось два, а то и три – и Варе, и Феде, и Володе, хотя Федя и Володя об этом и не думали. И эта причуда не только лишала подарок индивидуальности и неповторимости, но заодно и радости, и дети как-то сами очень скоро отучились просить подарки у никогда не отказывающего отца.

Если у отца была редкая способность превращать подарки в ординарную вещь, то мама самые обычные вещи умела делать подарками, будь то крестьянские бабки или первый цветок, бантик на платье или горстка земляники. Даже сказки на ночь она рассказывала, никогда не повторяясь, интуитивно чувствуя настроение маленького слушателя. И одна и та же сказка выходила у нее то грустной, то радостной, то страшной, то веселой и поэтому всегда неожиданной. И если у каждого в детстве были свои радости, свои сказки и свои подарки, то были они только потому, что была мама.

Отец был общим для всех; мама для каждого была своя. Неповторимая и единственная мама.

И вот мамы не стало. Не стало самого незаметного, самого тихого члена семьи и, как ощутила сейчас Варя, самого главного ее члена. В каждой семье есть этот главный, есть ось, вокруг которой вращаются все, со смертью которого неминуемо разлетается самая крепкая и дружная семья. И Варя, еще ничего не осознав, уже предчувствовала этот неудержимый разлет. Предчувствовала грядущую пустоту гнезда, хранить которое отныне предстояло ей. И ужас перед этой сегодняшней утратой и завтрашней пустотой был столь ошеломляющ, что она рухнула ничком на постель, захлебываясь от рыданий.

Выплакавшись, Варя немного успокоилась. Оделась в темное, застелила постель – они сами ухаживали за собой, и не только мама, но и отец следил за этим, – распахнула окно, но тут же закрыла его: в дворницкой по-старинному, по-псковски выла Агафья. Варя хотела было послать туда горничную с приказом замолчать, но вовремя одумалась: дворня была вся вывезена с Псковщины, из маминой крохотной деревеньки, где все были родственниками. И оплакивали они сегодня не просто добрую и тихую барыню, а свою родную деревенскую девчонку, ставшую госпожой по прихоти опального гвардейского офицера.

Варя вышла распорядиться, но в доме и так уже готовились к приему покойницы. Занавешивали зеркала в зале, зажигали лампы, застилали паркет половиками. Дворник Семен привез еловые ветки и охапки вереска, и Варя вместе с девушками усыпала вереском полы.

Занимаясь этими простыми делами, Варя все время прислушивалась, не скрипят ли ворота, и по привычке поглядывала на часы, но часы в зале были остановлены, а возвращаться в свою комнату ей не хотелось. Она ощущала движение времени, и приближающаяся встреча с тем, что когда-то было ее матерью, все больше и больше пугала ее. Страх копился, нарастал, и в конце концов она уже ничего не могла делать, а только ходила по комнатам, напряженно прислушиваясь ко всем шумам.

Но раньше вернулся Захар. Он не только отправил телеграммы, но и договорился в соборе о панихиде, в Троицком монастыре – о чтицах и в ресторации Мачульского – о деликатесах и винах к поминкам. Он был толковым и грамотным мужиком, никогда не забывал о мелочах и слыл толковым управляющим. И даже смерть единственной и любимой сестры

не нарушила его привычной хозяйственной деловитости. Это обстоятельство вызвало у Вари досаду.

– Хорошо, хорошо, – перебила она его, не дослушав. – Только бы Гавриил приехал поскорее.

Она говорила о Гаврииле, а думала о Василии, который никак не мог приехать из далекой Америки и долго еще не узнает, что семья их внезапно осиротела. Думала не потому, что Василий был всего на год старше ее, а потому, что дружила с ним и знала как никто, как, может быть, знала только мама, его обостренное, болезненное чувство справедливости, даже и не чувство, а чутье. Для всех остальных он был немного чудаковатым, непрактичным и увлекающимся юнцом, предметом язвительных насмешек старшего брата, и только. И даже его торопливый отъезд за границу всеми воспринимался как побег, и лишь она одна знала, что дело здесь не в страхе перед III Отделением, а в высших идеалах добра и справедливости. Она не очень понимала и потому не разделяла эти идеалы («Да ведь разворуют эту вашу коммуны, Вася!»), но твердо была убеждена, что ее брат не способен ни на трусость, ни на подлость. Не способен физически, под страхом лютых мучений и самой смерти.

Иное дело Гавриил. Варя всегда считала, что она в отца, что от матери у нее только глаза, но отцовской копией в семье был старший. Сейчас, без толку блуждая по комнатам, прислушиваясь к шумам во дворе и сравнивая братьев, Варя понимала, что ее сходство с отцом только внешнее, кажущееся. И именно поэтому с тоской вспоминала далекого Василия и страшилась предстоящего свидания с Гавриилом. Слишком уж он казался ей сухим, надменным и язвительным.

Захар уговорил ее поесть, и Варя нехотя, через силу, села выпить чаю. Но тут заскрипели ворота, заголосила Агафья, и Варя кинулась к дверям со стаканом, лишь на крыльце отдав его Дуняше.

Первой во двор въехала широкая крестьянская телега. Подле с вожжами шел староста Лукьян, а на телеге рядом с гробом сидели, держа на коленях фуражки, почерневшие то ли от загара, то ли от горя и бессонной ночи Володя и Ваня. А из коляски, что остановилась у ворот, уже спешили к крыльцу Маша и Георгий; младших, как видно, не взяли.

Телега остановилась, братья прыгнули с нее, и все вокруг молчали, потому что молчала Варя, все еще неподвижно стоя на крыльце. Лукьян шагнул к ней, оглянулся растерянно на тихо плакавшую дворню и спросил:

– Прикажете вносить, барышня?

– Как же... Как же могли на телеге? – задыхаясь от слез, тихо спросила Варя. – Как же могли, как смели...

– Ну, полно, Варенька, полно, – сказала Маша, поднявшись на крыльцо и обнимая сестру. – Не влезает он в карету, пробовали.

«Он» был гроб, в котором под глухой крышкой лежала мама. И Варя сразу все поняла и сошла с крыльца.

– Вносите.

И вновь запричитала Агафья, словно только и ждала, когда Варя скажет это слово. Захар, Лукьян и Семен направились к телеге, братья, сунув фуражки Маше, пошли им помогать, а Георгий прижался к Варе, уткнувшись ей в колени.

– Мамочку жалко...

– Взяли! – коротко выдохнул Захар.

Гроб взмыл вверх, качнулся и поплыл к крыльцу, невесомо лежа на крутых мужицких плечах: Владимир и Иван лишь держались за него, идя впереди. Семена и толкаясь, мужики поднялись на крыльцо, перехватив гроб с плеч на руки, и, теснясь, боком миновали дверь. Следом молча шли Маша, Варя и маленький зареванный Георгий.

Глава вторая

1

Гавриил получил телеграмму перед обедом; по счастью, догадались переслать из полка, куда она была адресована. Трижды перечитал: «Мама скончалась похороны субботу», поднял растерянные глаза на хозяйку, что торчала в дверях, стораая от любопытства. Поймав его взгляд – вдовушка была молода и взгляды ловила жадно и преданно, – качнулась полным станом:

– Подавать, Гавриил Иванович?

– Что? – Он аккуратно сложил телеграмму, пытаюсь собраться с мыслями. – Мне в полк надо. Вызывают.

Он боялся ее жалости, чувствуя, что может не выдержать. Прошел к себе, торопливо переоделся, прицепил саблю. И тут же сел и закурил, рассеянно уставившись в одну точку.

Ему казалось, что он думает о матери, но он ни о чем не думал. В голове, сменяя друг друга, мелькали какие-то случайные разрозненные воспоминания. То он видел себя еще маленьким на мосту, с корзинкой для ягод. Он замахивался на огромную, какие бывают только во сне и в детстве, бабочку, и корзиночка падала в воду и плыла, и кто-то во всем светлом, добрый и ласковый, доставал эту корзиночку. То он видел себя на качелях и взлетал ввысь, к самой перекладине, и вдруг сорвался, и кто-то в светлом, добрый и ласковый, поднимал его, испуганного, с земли. То он видел бабки – простые, ничего не стоящие косточки, игра крестьянских ребятишек, – и кто-то в светлом, добрый и ласковый, протягивал ему их.

Этим светлым чудом, добрым и ласковым, была мама. Он знал, что это мама, но почему-то именно сейчас ему никак не удавалось увидеть ее лицо. Он лихорадочно ворошил вдруг нахлынувшие детские воспоминания, но там, где он искал, мама была без лица. Это было просто нечто очень доброе и очень ласковое, само воплощение доброты и ласки, но лица у нее не было. Вероятно, оно появилось бы в других воспоминаниях, более поздних, когда он уже подрос и научился видеть, а не только смотреть. Но эти иные картинки сейчас не хотели возникать в его памяти, мама не приходила, и двадцатичетырехлетний офицер чувствовал себя совсем маленьким и совсем забытым.

За дверью вздохнули робко, но томно и многозначительно, и этот рассчитанный женский вздох вернул Гавриила к действительности. Он погасил папиросу и встал. Он решил уже не только ехать к отцу с этим известием, но заодно и выдержать бурю.

Сказав хозяйке, что пришлет за вещами, Гавриил вышел на улицу. Отец жил довольно далеко, на Пречистенском бульваре, но Олексин у Спасской взял лихача.

Дверь открыл не Игнат, старый камердинер отца, а лакей Петр, важный, толстый, ленивый, и слушавший только самого барина. Гавриил молча отдал ему саблю и перчатки, прошел в столовую и так же молча поклонился отцу, уже сидевшему за прибором.

– Обедать? Нет? Садись. – Отец говорил отрывисто и глядел в сторону, сдвинув седые брови. – Хочешь рябиновой? Я что-то пристрастился. Вино дрянь стало, кислятина.

– Мама умерла, – сказал Гавриил, помолчав. – Я депешу получил от Вари.

– Кислятина, – строго повторил старик. – Налей барину рябиновой, Петр. У меня раковый суп. Поцусь. Удивлен? Впрочем, если хочешь бульону...

Он вдруг замолчал. Чисто выбритый кадык его круто пошел вверх, странно задергался, и старик торопливо стал гладить седые усы, чтобы скрыть это судорожное движение. Потом сердито махнул рукой и, когда Петр вышел, поднял рюмку чуть заметно вздрогнувшей рукой.

– Помянем, поклонимся и Господа помолим мысленно. – Он большими глотками осушил рюмку. – Удивительно. И несуразно. Несуразно, Гавриил.

Он торопливо, расплескивая на скатерть, налил себе еще, выпил, пожевал корочку и откинулся к спинке стула, прикрыв старческие дряблые веки.

– А вы получили?.. – начал было Гавриил.

– Хорошо! – вдруг крикнул старик. – В эпоху всеславянского единения и православных идей пить рябиновую весьма патриотично. Знаменует русский дух. При выдохе особливо. Петр! Подавай.

Он в упор глянул на Гавриила странными, отсутствующими глазами. Словно тяжело и упорно думал о чем-то совсем ином, мучительном и сладком одновременно, а шумел и ерничал просто так, для прикрытия собственных дум. Он никогда не допускал никого в царство своих размышлений и переживаний, думал не то, что говорил, и не говорил, что думал.

– Ты почему здесь? Ах да, отпуск. Надолго испросил?

– Надолго, – сказал Гавриил.

– А Черняев-то бежит! Бежит от нечестивых аскеров султана! – с какой-то злой радостью неожиданно сказал старик, и Гавриил испугался, не читает ли отец его мысли на расстоянии. – Мальбрук в поход собрался. Тебе, связанному с Комитетом, поди, вдвойне обидно, а?

– Генерал Черняев самоотверженно служит великой идее, – нехотя сказал Гавриил: не хватало еще спорить о политике в этот день. – Он рыцарь.

– Он легкомысленный искатель лавров, – перебил отец. – Ему наплевать на ваши идеи, и на султана, и на Сербию, ему наплевать на всё и на вся. Ему нужны лавры Цезаря: лучше быть первым в Сербии, чем вторым в Петербурге.

– И все же он был единственным, кто не бросил Сербию на произвол судьбы. Согласитесь, что одно это достойно уважения.

– Не соглашусь. Нет, не соглашусь! Не бросил по расчету и бросит тоже по расчету. У господ новоявленных крестоносцев сначала расчет, а уж потом вера. Как сухарный запас: на всякий случай. А что до идеи, то идея – плод размышлений, а не моды. На нее надо право иметь, ее надо выстрадать, а уж коли идея не вами высижена, то хоть время-то для приличия соблюдайте, господа! Хоть вид сделайте, что мучились ею, что сомнения преодолевали, что сравнивали ее и выбирали путем умственной деятельности, а не одних ушей. Я сейчас не о Цезаре российском говорю, не о господине Черняеве: бог с ним, с Черняевым! Я о брате твоём говорю, об американце нашем. Добро бы хоть в Америку за барышом поехал – говорят, ловкачи наживаются и даже якобы капитал составляют. Это бы понятно было, хоть и противно: дворянское занятие – шпага, крест да книга, так в старину считалось. В служении отечеству одним из трех этих путей шел русский дворянин, не пачкая рук торговлишкой и душу оборотливостью не смущая. А ныне посмотришь: Господи, дивны дела Твои! Рюриковичи с мужиками об отрезках рядятся, Гедиминовичи заводишкой обзавелись! А купчина – не воин, из торгаша офицера не сделаете. Нет-с, не сделаете!..

Старик говорил без умолку, путано и непоследовательно, а глаза оставались все теми же мучительно напряженными, ловящими что-то ушедшее. И поэтому Гавриил не спорил, хотя его так и подмывало поспорить, и надо было поспорить, чтобы выговорить наконец свое и утвердиться в этом окончательно. Но сейчас было не время.

Обед закончился, и поручик встал, намереваясь откланяться, так как отец обычно отдыхал после трапез с возлиянием. Надо будет еще послать за вещами, но главным сегодня было, пожалуй, то, что не в меру и не к месту разболтавшийся отец раздражал, как никогда прежде.

– Кури здесь, – сказал старик. – А лучше пойдем ко мне.

– Вам следует отдохнуть...

«Следует» было ошибочным словом: старик сдвинул седые брови. Он не терпел советов, а тем паче указаний и умел усматривать их и в более безобидных фразах.

– Следует не давать рекомендаций, если их не просят. Эту бесцеремонность оставьте приказчикам. – Он шел впереди, и толстый Петр еле поспевал открывать ему двери. – Любое бла-

гое намерение останется сотрясением воздуха, ежели не будет высказано в приличной форме. Сожалею, что ваше воспитание не принесло плодов, на кои смел рассчитывать.

Идя следом, Гавриил с тоской думал, что вряд ли успеет обернуться: видимо, старик намеревался скрипеть до позднего вечера. Он жил одиноко, не поддерживая знакомств и не признавая вежливых визитов, много молчал, но иногда говорил без остановки.

Им с детства внушали преклонение перед отцом. Не любовь, не уважение, а почти рабскую покорность, точно они были не законными его детьми, а тайно прижитыми. И отец воспринимал это как должное, не снисходя даже до гнева. Гавриил думал об этом, сидя в кабинете, где каждая книга знала свое место и по прочтении тут же возвращалась на него, где ни один журнал не смел остаться раскрытым даже ненадолго, а газеты всегда выглядели так, будто их никто никогда не читал. От этого кабинет казался скучным и казенным.

– Я не люблю споров, а особливо с женщиной. – Отец не сказал «с дамой», и Гавриил с болью понял, что он говорит о матери. – В спорах с женщиной истина умирает, запомни это и никогда ничего не пытайся доказать прекрасному полу. У них своя логика и свои аргументы, совершенно непостижимые для нас. Вот почему я устранился от вашего воспитания. Я стремился лишь образовать вас, полагая, что воспитание вам сумеют обеспечить если не по велению ума, то по зову сердца. Однако, встречаясь с тобой, Варварой и Василием, я с горечью убедился, что зараза сильнее лекарств. Да, да, сильнее! От вас прямо-таки разит кислыми щами, господа!

Поручик встал, сознательно с грохотом отбросив тяжелое кресло. Слова путались в голове, он не решался сказать того, что думает, а старик молчал, глядя на него с откровенным любопытством. Пауза затянулась, и, чтобы оборвать ее, Гавриил пошел к дверям, так ничего и не сказав.

– Я не отпускал тебя, – негромко сказал отец.

Гавриил медленно повернулся к нему:

– Та, от кого всю жизнь пахло кислыми щами, – моя мать и ваша жена. Она мертва, пусть хоть это заставит вас замолчать. А сейчас разрешите откланяться: я уезжаю сегодня в Смоленск и...

– Вторым классом, – вдруг перебил старик. – Вы едете вторым классом согласно чину и состоянию, сударь. Полагаю, что билеты уже взяты.

– И все же я бы хотел...

– Что же касается твоей матери, то ты превратно понял меня. Я не обижал ее живой, не обижу и мертвой. Мертвой. – Он медленно, словно вслушиваясь, повторил это слово. – Если хочешь, буду молчать. Только вернись и сядь. Сядь, Гавриил. Прошу тебя. Мне... мне трудно почему-то. – Он растерянно улыбнулся и развел руками. – Я думал, что смогу... преодолеть смогу. И вот не получилось. Начал болтать, глупый старик. А тут ведь... – он пальцами осторожно потрогал грудь. – Тут ведь боль, сын. Такая боль...

– Батюшка! – Гавриил шагнул к отцу и, опустившись на колено, обнял его. – Простите меня, батюшка.

– Ну, ну. – Старик неуверенно и неумело погладил сына по голове. – Только не реветь. Не реветь, Гавриил, ты офицер. Оставим слезы слабым и помолчим. Помолчим.

Ни сын, ни тем более отец никогда не проявляли чувств, которые старик презрительно именовал кисейными. Но порыв был искренен, и они надолго замерли в неудобных и одинаково непривычных позах, и оба чувствовали и это неудобство, и эту непривычность. Чувствовали, но не шевелились, хотя порыв давно прошел и осталось одно неудобство, выйти из которого было трудно именно потому, что оба одинаково ощущали это.

– Сядь, – сказал наконец старик и покашлял, скрывая смущение. – У меня скверный характер, слава богу, что вы не унаследовали его.

Минута внезапной близости прошла; отец стеснялся ее, хотел забыть и потому снова возвращался к столь привычной интонации иронических сентенций. Гавриила эта минутная близость смущала тоже, но он дорожил ею как завоеванным плацдармом; надо было решиться: то, что уже было сделано без огласки, оставалось как бы сделанным не до конца.

– Я взял годичный отпуск, батюшка, – сказал он. – Пока. А затем подам в отставку.

Он ожидал бурной вспышки, вопросов, но отец молчал. Молча придвинул к себе ящичек с табаком, начал набивать трубку. Табак просыпался, но отец упорно напихивал его, изредка посасывая чубук. Набив, положил в сторону, побарабанил сухими пальцами по крышке ящика.

– Объясни, сделай милость.

– Вы сами дали это объяснение, когда упомянули, что от ваших детей разит кислыми щами. Нет, я не упрекаю: просто так получилось.

– Оставь, Гавриил, я не это имел в виду.

– Но они имеют в виду именно это! – резко сказал поручик. – Извините, но мне надоели шуточки господ гвардейских офицеров.

– Почему не ходатайствовал о переводе?

– Потому что вызвал гвардии подпоручика Тюрберта. А он отказался драться со мной именно в связи со щами.

Старик снова взял трубку, внимательно осмотрел ее и опять отложил. Встал и, заложив руки за прямую, как трость, спину, долго ходил по кабинету. Гавриил смотрел на эту негибамую, вызывающе высокомерную спину и жалел, что сказал о дуэли: уход из армии можно было бы объяснить, не вдаваясь в подробности. Но подробности стали известны, и, судя по напряженно выпрямленной спине, отец воспринял их как личное оскорбление.

– Пять веков Олексины служат отечеству мечом, – надменно сказал старик. – Во всех войнах, во всех походах и ни в одном из заговоров. Не чинов мы искали, но чести, и нас скорее уважали, чем любили. Никогда – слышишь? – никогда не ищи любви у сильных мира сего, но требуй уважения, завоеванного тобой. Требуй, но не проси, мы не просили милостей у государей. Ни милости, ни снисхождения, помни об этом.

– Да, батюшка.

– Собираешься за границу?

– Да. Уже выправил бумаги.

– За Василием в Америку?

– Нет. Воевать.

– Ах, в Сербию! – Старик рассмеялся. – Мода на идеи? Ну-ну, проверь. Идею нужно проверить, в этом нет ничего дурного. Дурно следовать идее без проверки. Даже не дурно, а глупо. Тебе двадцать четыре минуло?

– Минуло, батюшка.

– Двадцать четыре – и еще не воевал? Непростительная оплошность для российского офицера. Ну что же, благословляю. Себя проверишь, идею свою проверишь. Только обид не забывай.

– Не забуду.

– И голову под турецкую пулю не подставь.

– Как повезет.

– Глупо. Офицер, принимающий в расчет везенье, – плохой офицер.

– Да ведь пуля-то дура, – улыбнулся Гавриил.

– Именно это я и имел в виду. Именно-с. Поди узнай, вернулся ли Игнат, да вели чай подать.

Поручик поклонился и вышел из кабинета. Вопрос, которого он боялся, разрешился проще, чем он предполагал. Конечно, можно было бы уехать без отцовского согласия, и это было бы куда как современно, но Гавриил не любил современности.

Игнат давно прибыл, но сразу же уехал опять – за багажом Гавриила. Поручик сказал, чтоб подавали чай, и вернулся в кабинет. И только сел, как дверь приотворилась и в комнату осторожно заглянул Игнат:

- Ваше благородие, Гаврила Иванович.
- Все сделал? – спросил отец, не поворачивая головы.
- Все исполнил, что приказать изволили. И билеты, и багаж.
- Чай?
- Сей момент: Петр самовар раздувает.
- Хорошо, ступай.

Седая голова Игната втянулась в дверную щель. Потом высунулась рука и таинственно поманила Гавриила.

- Извините, батюшка, – сказал поручик, вставая.

Старик важно кивнул: любил почтение и порядок. И снова окутался дымом сладковатого голландского табака.

Гавриил вышел, прикрыл дверь; в коридоре ждал Игнат.

- Братец ваш приехали. В буфетной ожидают-с.
- Кто? – Гавриил сразу подумал о Василии: американский беглец если бы и рискнул зайти к старику, то искал бы убежища только в лакейской половине. – Василий?
- Никак нет-с, Федор Иванович. Из Петербурга прямо. Без вещей и даже без шляпы. Прямо в чем стоят-с.

Все это старый камердинер докладывал уже на ходу, с трудом поспешая за шагавшим через две ступеньки поручиком.

- О маме знает?
- Не могу сказать. Я не докладывал.

В буфетной худой, заросший Федор жадно ел холодный бульон. Рядом презрительно грохотал посудой Петр, подчеркивая неуважение.

- Здравствуй, студент!

– Брат! – Федор вскочил, торопливо отер рукой редкую бородку, заулыбался. – Я сразу к тебе, хозяйка сказала, что ты в полку, а тут, на счастье, Игнат.

Он все-таки поцеловал Гавриила, хотя тот не любил этого и еще издали протягивал руку.

– Как славно получилось, что Игнат! – восторженно продолжал Федор, держа брата за руку и ласково сияя голубыми глазами. – Знаешь, я ночь не спал и сутки не ел ни крошечки, только кипяток пил на станциях. А как Игната увидел, так очень обрадовался.

– Что же ты Федору Ивановичу холодный бульон подал? – строго спросил Гавриил. – Дал бы жаркое или хотя бы бульон подогрел.

– Они чего-нибудь-с просили, – недовольно сказал Петр. – А чего-нибудь-с – это поихнему бульон называется.

– Да славно и так, Гавриил, славно, – еще шире заулыбался Федор, и поручик понял, что никакой телеграммы он не получал и о смерти матери не знает. – Мне ведь голод унять важно, а самое главное – поговорить. Я ведь ехал, чтоб поговорить.

– Ступай отсюда, – сказал Гавриил Петру, Петр раздражал его: он нарочно медленно перетирал посуду. – Ступай, говорю.

- А чай как же? – нахально улыбнулся Петр. – Батюшка ваш чаю велел.

– Ступай, ступай! – замахал руками Игнат. – Велено тебе, так исполняй, ишь какой! Я и посуду сам, и Федору Ивановичу закусок.

– Не надо. – Федор торопливо допил холодный бульон. – Я сыт уже, благодарствую. Батюшка наверху? Где бы поговорить нам, брат?

– В малую гостиную идите, в малую, – заговорщически прошептал Игнат. – Я позову, коль востребует.

Он любил Федора, как, впрочем, и все: Федор был удивительно добр, мягок и ласков. Он был словно влюблен во всех людей, знакомых и незнакомых, радовался им, слушался их и верил безоглядно. Эта вера пугала Гавриила: у Федора с детства словно не было своих личных желаний. То он намеревался стать офицером, с энтузиазмом занимался верховой ездой, стрельбой и фехтованием, мечтая о военном училище, славе и подвигах. То вдруг, прожив месяц в Высоком с Василием, не только изменил первоначальным намерениям, но и решительно отказался от всякой родительской помощи, торжественно заявив, что каждый человек обязан сам зарабатывать себе на жизнь и ученье. С этой благородной идеей он и поехал в Петербург, бегал по урокам, жил впроголодь, но жизнью был доволен и писал восторженные письма Варе. И – опять вдруг! – бросил все уроки и приехал в Москву без вещей, без денег и даже без шапки.

Братья прошли в малую гостиную и сели друг против друга. Гавриил думал, как бы помягче сказать о смерти матери, а Федор, улыбаясь, нервно потирал пальцы, не решаясь начать.

– Ты от Вари не получал известия? – спросил Гавриил больше для начала, чем в ожидании ответа.

– Нет, – рассеянно, думая о своем, сказал Федор. – Видишь ли, Гавриил, я вынужден был уехать вот так, как сижу перед тобой: денег еле на билет хватило, а шляпу кондуктору за хлеб отдал. Он, правда, брат не хотел, сердился даже, но я все-таки отдал, потому что нищенствовать не могу. Вася бы сказал – «не поднялся до нищенствования», правда? Но что же делать, у меня еще много пороков, я знаю. А уехал я так срочно потому... Только обещай, что не будешь сердиться, а? Я бы не хотел расстраивать тебя, но надо же говорить сущую правду, иначе жить невозможно. Ты знаешь, как рабочие живут? В казармах на нарах, даже семейные. Вши, голод, грязь ужасная. Я видел все это, я сам с ними три дня прожил, чтобы понять, что невозможно так жить, невозможно!

– Просвещал? – насмешливо спросил Гавриил.

– Нет, что ты, какое там... Евангелие читал, только одно Святое Евангелие. Объяснял, правда, что Бог не таким мир земной видел. Да, труд, тяжкий труд, но – равный. Каждый равно обязан трудом, понимаешь? Это же действительно проклятие Господне, это же действительно во спасение наше! Но ведь если люди равны перед этим проклятием, то должно же быть равенство во всем, потому что Бог не делал различия между людьми, проклятие это налагая. Тогда почему же одним – проклятие, а другим – плоды этого проклятия? Разве это справедливо? И не надо улыбаться, Гавриил, не надо: каждый человек имеет право веровать, каждый!

– Не побили?

– Побили. Но это не важно. Важно, что следить начали. Ходил за мной круглолицый господин в котелке, я его сразу приметил, но виду не подавал. Зачем же мне пугаться, что он ходит? Пускай себе ходит, я ничего дурного не делаю, пусть убедится, что не делаю. Я Евангелие неграмотным, темным людям читаю: разве ж это преступление? А третьего дня возвращаюсь с фабрики и у ворот встречаю дочку соседскую, Глашеньку: у вас, говорит, Федор Иванович, обыск был, перерыли все, вещи все перетрясли и бумаги ваши арестовали. А там среди бумаг...

– Герцен.

– Да, «Колокол», один номер. И две брошюры на немецком, я у товарища почитать взял.

– Что же дальше, господин пропагатор?

– Вот, брат, ты уж и сердисься. Не надо, а?

– Я спрашиваю, что было дальше?

– Я к товарищу побежал. Не тотчас, конечно, потому что позади господин этот. Но повезло, что ли: конка последняя шла, на ходу вскочил да на ходу же и выскочил. Господин этот мимо меня и пробежал. Пришел к товарищу, а он, оказывается, уже арестован. Вот тогда я на вокзал и... Как стоял, так и приехал.

– Что же думаешь делать?

– Я у тебя денег хочу попросить. В долг. Уехать хочу.

– К Василию?

– Я еще не решил. Мне все равно, лишь бы маменьку не волновать.

– Маменьку... – Гавриил вздохнул. – Мама скончалась, Федя.

Узкое, неряшливо заросшее лицо Федора дрогнуло, замерло на мгновение и тут же осветилось мягкой белозубой улыбкой.

– Нехорошо, брат! Шутишь ты...

Гавриил молча протянул телеграмму. Федор читал долго, чуть шевеля губами, и чем дальше читал, тем все ниже сгибалась, сутулилась его узкая неокрепшая спина. Он уронил на колени руки с телеграммой, поднял лицо: по мягкой юношеской бороде текли слезы.

– Как же так?

– Вот... – Гавриил почувствовал, как поднимаются и в его груди слезы, как захватывают они его все выше и выше, сжимая горло, и торопливо закурил. – Осиротели мы, Федя. Одна мама умерла, а осиротели все десять. Даже одиннадцать...

Выехали втроем; отец ни о чем не спрашивал и появление Федора встретил как нечто само собой разумеющееся. И больше не разговаривал, словно выговорился, устал и говорил теперь молча то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым. Шевелил изредка губами, несогласно вздергивал седой головой. Братья тоже молчали. Они ехали во втором классе, сидели рядом и думали об одном. О матери.

А поезд тащился медленно, подолгу отдуваясь на станциях. Выходили в буфет, пили невкусный чай, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами.

С каждым часом приближался Смоленск, а значит и последнее свидание с той, которую так по-разному любили все трое. И свидание это пугало, отнимая последнее желание говорить, спать или пить в буфете чай.

С каждым часом приближался Смоленск...

2

Встречал один Захар. Это не понравилось отцу, он хмуро кивнул и руки не подал.

– А Варвара что ж?

– Ночь не спала, только задремала, Иван Гаврилович. Не решился будить, – сказал Захар, укладывая багаж. – Все ведь на ней тут.

Он хотел помочь барину сесть в коляску, но старик поднялся сам, указал Гавриилу место подле. Федор устроился на козлах возле Захара. Сытые, отдохнувшие кони играючи рысили по крупному булыжнику; Захар сдерживал их, чтоб поменьше качало.

– Погоняй, – сквозь зубы сказал старик.

– Подъем долгий, Иван Гаврилович. Запарятся.

Старик не стал настаивать, братья подавленно молчали. От моста за крепостным проломом начиналась крутая и длинная Соборная гора, и Захар перевел упряжку на шаг.

– С местом решили? – отрывисто спросил старик.

– Выбрали, – сказал Захар. – Вон в Успенском. Хорошее место, веселое. Не знаю, правда, сколько святые отцы запросят: земляца древняя. Легкая земляца, праху много.

Федор, съездившись, с невольным упреком глянул на него: уж очень буднично звучал голос. Будто шла речь о постройке беседки, где вечерами будут пить чай и любоваться закатом. Это было неприятно и несправедливо по отношению к той, которая сама ни на что уже не могла любоваться и ничего не могла выбирать.

– Покажешь.

– За поворотом остановимся. И лошадки отдохнут.

За коленом Благовещенской Захар свернул налево. Здесь начиналась плотно застроенная вершина Соборной горы, на верхнюю площадку вела крутая лестница. Отец, Гавриил и Захар стали подниматься по ней, а Федор остался: не хотел смотреть, куда завтра зароят мать. Забьют гвоздями крышку, опустят в яму и навсегда засыпят землей. И она неподвижно будет лежать в узком темном ящике, навеки отрезанная от всего живого. От радостей и несчастий, забот и тревог...

– Здесь, – сказал Захар, когда они поднялись и обогнули белую громаду собора. – Место выморочное, я узнавал.

В соборе шла служба, сквозь толстые стены чуть доносилось пение хора, но слов разобрать было невозможно. А здесь, на маленьком кладбище для избранных, чуть шелестел ветер.

– Сыро, – сказал старик. – Тени много.

– В полдень солнце аккурат сюда выйдет. И уж до заката. И службу слышно.

– Да, службу слышно, – сказал Гавриил. – Хорошо.

Отец сердито фыркнул в усы, но промолчал. Ему самому не хотелось лежать здесь, а о себе он сейчас думал больше, чем о покойнице. Они вместе прожили жизнь и вместе должны были лечь в землю, но ей уже было все равно, а ему почему-то не нравилось. Но он никак не мог определить, что же именно ему не нравится, и поэтому сердито фыркал.

А не нравилось ему не место, а сама мысль о месте. Он не боялся смерти не философски, а возрастно, уже шагнув за рубеж, не часто, но все же думал о ней, причем думал спокойно и, как казалось ему, до конца. Но то были отвлеченные и потому кокетливые мысли: до самого конца он никогда не добирался. А сейчас мысли эти вдруг обрели грубую, осязаемую реальность: да, вот оно, то место, где он, недвижимый, безгласный и равнодушный ко всему земному, будет лежать и медленно тлеть, сливаясь с землей и растворяясь в ней. Он словно увидел себя в гробу – не в пышно изукрашенном, а в сыром, смрадном, источенном червями. И это было мучительно.

Ничего более не сказав, он повернулся и пошел, еще старательнее выпрямив спину, словно бросая вызов тому неизбежному, во что вдруг заглянул и чего вдруг испугался. То, что испугался, он понимал, и от этого еще больше раздражался и хмурился.

Гавриил и Захар слегка отстали; старик шагал крупно, будто убежал. Захар понял это и усмехнулся:

– Не глянулось тут барину.

– Это так, нервы. Ты был, когда матушка умерла?

– Глазыньки ей закрыл, – вздохнул Захар. – Не думай об этом, Гаврила Иванович: Бог ей хорошую смерть послал, тихую. Да и так, если поглядеть, за что ей плохую? Бог, он награждает смертью, так-то. Вот батюшка ваш тяжело помирать будет и знает, что тяжело, потому и страшится.

– Страшится, – повторил Гавриил. – А кто не страшится, Захар?

Сам он тоже боялся, но не смерти, о которой ничего не знал и никогда не думал, а свидания со смертью. Первого в своей жизни свидания. И поэтому замешкался на крыльце, старательно пропуская братьев и сестер. И Федор тоже замешкался и все уступал ему дорогу, и вошли они в залу последними. Вошли и сразу, еще в дверях, увидели мать, потому что гроб стоял высоко и одиноко в самом центре на широком обеденном столе. И внутри его уютно и просто лежала мать, скрестив на груди тяжелые крестьянские руки, и образок в них казался совсем маленьким и – ненужным.

– Ты зачем тут? – неприятно громко спросил отец, увидев Захара, стоявшего у стены поодаль от всех.

– Помилуйте, барин, Иван Гаврилович, это же сестра моя, – тихо сказал Захар. – Сестра единственная, родная.

– То барыня твоя, не забывайся! Ступай вон, вместе с дворней прощаться будешь.

– Опомнись, барин. – Голос Захара задрожал. – Над гробом ведь кричишь, опомнись.
– Вон, холоп!

Низко опустив голову, Захар быстро вышел. Всем было стыдно и неудобно, но никто не вмешался, привычно подчиняясь крутому нраву капризного и своевольного старика.

Дети стояли вокруг, не решаясь приблизиться, и только отец, выпрямившись, как на высочайшем смотру, положил пальцы на край гроба; пальцы эти все время шевелились, словно он поглаживал гроб, но он не поглаживал, а просто скрывал дрожь. Потом обвел всех сухими строгими глазами и глухо сказал:

– Уйдите все.

Все, теснясь, пошли к выходу, стараясь идти медленно и уступая друг другу дорогу. Варя задержалась:

– Подать вам стул, батюшка?

Он молча кивнул. Она принесла стул, поставила у изголовья, постояла немного и пошла к дверям. Отец сказал в спину:

– Дверь закрой и не вели входить.

Подождал, пока она выйдет, пока осторожно, боясь скрипнуть, прикроет дверь, и только после этого тяжело опустился на стул.

– Здравствуй, Аня...

Он пристально вглядывался в окостеневшее, почти чужое лицо единственного на всем свете существа, которое любил жадной, эгоистической, слепой любовью. Он только вчера понял, что любил, когда прочитал телеграмму. Понял не по боли, ударившей вдруг в сердце, – понял по пустоте, которую ощутил. Он всегда жил одиноко, даже тогда, когда рядом была она, он привык к этому одиночеству, ценил его и гордился им, но при этом знал, что одиночество это – его каприз, а не судьба. Что есть на свете человек, к которому он в любой миг может приехать просто так, со скуки, или умирать, есть плечо, к которому можно припасть, есть сердце, которое всегда поймет, есть руки, которые в последний раз закроют его глаза. Теперь все исчезло. Плечо было чужим и холодным, руки – неподвижными, а сердце, перестав биться, уже не принадлежало ни ей, ни ему. И по ту сторону гроба сейчас стояла не боль, не тоска: по ту сторону стояло отчаяние глухой старости. Одиночество стало судьбой.

– Поторопилась ты, Аня. Поторопилась...

Он впервые встретил ее четырнадцатилетней, двадцать шесть лет назад. Он был тогда отставным офицером с семью висками и обидой, от которой, казалось, не было ни лекарств, ни спасения. Она, простая и ясная крестьянская девочка, дала ему лекарство и спасение, и он воспрял, и стал смеяться, и стал жить, – правда, по-своему, особенно, но жить и радоваться жизни. Чувствовать вкус, цвет, запах, ощущать тепло и потребность в ласке.

К чьим ногам сложу обиды,
Кому повем печаль мою?..

Он не помнил ни начала, ни конца этих стихов, не помнил, откуда они, кому принадлежат. Он просто мысленно твердил эти две строчки, словно корил судьбу за великую ее несправедливость.

«ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ».

Эти три слова начертал собственной рукой государь Николай Павлович на его нижайшем прошении. Он лгал вчера Гавриилу, утверждая, что никогда Олексины не просили милостей: просили! Он сам просил. Правда, один-единственный раз, правда, в отчаянии, правда, почти не помня себя. Оставили без милости, запретив появляться в Петербурге и указав покидать те города, где остановится его величество хотя бы проездом. И с той поры он не был более в Петербурге и уехал из Москвы во время коронации Александра II, хотя получил именное

приглашение присутствовать в Успенском соборе. Сын прощал его, но он не считал себя виноватым перед отцом и потому не принял прощения сына.

...Он влюбился в жеманную пустышку; потом-то он понял, что она пустышка. Но тогда ему было всего двадцать пять, жизнь была ослепительна, и он жил в ослеплении. Девушка отчаянно кокетничала, но держала его про запас: офицер был не знатен, но состоятелен, без связей, но при дворе, дурно воспитан, но красив, строен и высок. Но все же он добился позднего свидания в беседке, пришел много раньше срока, увидел, как прошмыгнула она, замешкался – и к счастью: было бы во сто крат хуже. Кто-то высокий в темной накидке быстро прошел следом. От ревности темнело в глазах, он до ломоты стискивал челюсти, но, выждав, вошел в беседку неожиданно. Девушка вскрикнула, но из объятий не упорхнула.

– Ты весьма кстати, любезный, принеси-ка вина.

Он уже понял, кто его опередил: этот надменный голос знали все. Но он не поклонился, не побежал за вином, не отступил в темноту.

– Сударь, – сказал он, – дама тяготится вашим присутствием.

Пауза была короткой, но он запомнил ее, потому что сердце отсчитывало эту паузу.

– Ступай вон, болван.

Опять ему давали шанс, и опять он не воспользовался им.

– Завтра в это время я буду ждать вас здесь, сударь. Соблаговолите не опаздывать, в противном случае я останусь болваном, но получу право считать вас трусом.

Всю ночь он метался по парку, приходил в караулку, падал на койку, но не было ни сна, ни покоя, и он снова убегал в парк. Утром была смена, но он не успел уйти:

– Олексина – к государю! Живо!

Государь завтракал, когда он вошел и громко – государь любил ясность – отрапортовал, что прибыл по повелению. Николай медленно поднял голову, впери в него немигающий взгляд, медленно вытер губы салфеткой. Он не отвел глаза, собрав все свое мужество.

– Тебе известно, что дуэли запрещены?

– Так точно, ваше величество.

– Однако ты ослушался моего повеления.

– Я был в ослеплении, ваше величество.

– В ослеплении? – Глаза по-прежнему не мигая, без выражения изучали его. – Значит, ты сожалеешь о том, что произошло?

– Никак нет, ваше величество. Я сожалею лишь о том, что никогда не смогу узнать, из-за кого нарушил ваше повеление.

– Почему?

– Я был в ослеплении.

– Ты не так глуп, как кажешься. Но мне не нужны караульные офицеры, способные впадать в ослепление. Я принимаю твою отставку с условием, что ты покинешь Петербург до захода солнца и никогда более не появишься в нем.

– Я не просил об отставке, ваше величество.

– Вот как? В таком случае я угадал твоё желание. Ступай и никогда не попадайся мне на глаза.

Он все же подал прошение. Он униженно просил прощения, но царская рука собственноручно начертала: «ОСТАВИТЬ БЕЗ МИЛОСТИ». И, как было приказано, еще до захода солнца он покинул Петербург.

Он уехал на Псковщину, в родовое гнездо, когда-то, еще при Иване III, подаренное его предку за отвагу и испытанную верность московским великим князьям. Ни темная пора опричнины, ни Смутное время, ни стрелецкие бунты, ни сложная цепь дворцовых интриг прошлого века не поколебали этой верности: в интриги предки не ввязывались, предпочитая служить отечеству подальше от двора. Он был первым, кто нарушил этот фамильный закон, первым

и последним: Романовы не поощряли строптивых дворян. Быстро начавшаяся карьера так же быстро и рухнула, и гвардеец в отставке возвращался к разбитому корыту в смятении и обиде.

Несмотря на опалу, о которой быстро дозналось местное общество, Ивана Олексина приняли с почетом и подчеркнутым вниманием: молодец был холост, а в провинции всегда имелся переизбыток заневестившихся красавиц. Двери всех домов и самого губернатора широко распахнулись, но Иван Гаврилович редко пользовался гостеприимством провинциальной знати, предпочитая мужское общество, карты и охоту. Три года вел он гвардейско-холостяцкий образ жизни, а потом не то чтобы остепенился, а устал. Придворная ветреница была забыта; следовало если не влюбиться, то хотя бы задуматься о женитьбе. Он стал появляться в обществе, наносил визиты, посещал балы, и местные мамы восприняли духом. Гвардии холостяк сам шел в сети, дело завертелось, и вскоре Иван Гаврилович решительно отдал предпочтение племяннице губернатора, девице худосочной, но знатной и вполне светской. На Пасху должна была состояться официальная помолвка, родственники барышни да и она сама уж считали дни, но никто не мог предположить, что в марте случится оттепель и тронутся льды.

Эта оттепель остановила Ивана Гавриловича на пути к невесте в глухой, позабытой Богом и кредиторами деревеньке на тринадцать дворов вкупе с барским домом, куда, непривычно согнувшись, и вошел Олексин. Дом был дряхл и беден, хозяин радушен и болтлив, а в овраги кинулись полые воды, мосты снесло, и лед трещал на реках. Приходилось скрепя сердце ждать то ли возврата зимы, то ли наступления лета.

– Межзимье – тяжкая пора! Я, извольте видеть, выезжаю редко, но страшусь этого безвременья. Страшусь!

Хозяин развлекал гостя в маленькой душевной комнатке. За перегородкой звякали посудой, тихо переговаривались женские голоса.

– Я, извольте видеть, тоже лицо неуютное. Давно в отставке и, как и вы, без пенсионера. Отзвуки Сенатской площади, грехи молодости.

– М-да, – вяло поддакивал Олексин.

Вскоре пригласили к столу, где разговор взяла в руки хозяйка. Она не касалась политики, гость мило скучал и много пил, и все сошло благополучно. После ужина мужчины вернулись покурить в клетушку.

– Чай нам сюда подадут. Нюра, неси!

Отворилась дверь, и вошла девочка лет четырнадцати. Собственно, уже не девочка, но и не девушка, полуженщина-полуребенок, маленькая и крепенькая, как репка. Вошла и остановилась, просто и ясно глядя на незнакомого барина чистыми синими глазами.

– Поклонись же их благородию, Нюра. Ты молчишь неучтиво.

Девочка молча поклонилась. Она стояла свободно, как-то удивительно естественно, легко и, чуть склонив голову к плечу, спокойно разглядывала Ивана Гавриловича. И взгляд этот, и полуоткрытые губки были совсем еще детскими, доверчивыми и беззащитными; встретившись с ней глазами, Олексин вдруг точно оглох и слышал уже не голос хозяина, а глухие удары собственного сердца.

– Ваша воспитанница? – спросил он, как только девочка вышла.

– Жена ее балует, – сказал хозяин. – Девочка славная, довольно знает грамоте, читает барыне перед сном.

Больше о ней не говорили. Девочка появлялась каждый день: подавала чай, что-то ловко и неслышно убирала, всегда серьезно, открыто встречая его взгляды. Иван Гаврилович заговаривал, она отвечала коротко, не смущаясь, но и не болтая попусту. И он начал улыбаться ей, и она в ответ улыбалась радостно и доверчиво, улыбалась всем существом: сияющими синими глазами, которых не опускала при этом, ямочками на тугих, покрытых золотистым пушком щеках, колючими аккуратными бровками, тотчас же весело прыгавшими куда-то вверх. И тогда Олексин крутил ус и принимался напевать что-то бравурное, отстукивая ритм ногой.

Через пять дней, когда хозяин с гостем сидели за шахматами, вошел мужик и доложил, что дорога на Псков открылась.

– Вот и кончилось ваше заточение, – сказал хозяин. – Завтра, даст Бог, еще и подморозит, и утречком можете ехать. А мне, признаться, жаль: рад нашему знакомству, любезный Иван Гаврилович, весьма рад. Буду вспоминать да судьбу благодарить...

Что-то он еще говорил. Олексин не слушал. Нелепо и быстро проиграл партию, походил по комнате, нещадно дымя трубкой, и сказал вдруг:

– Продайте мне эту Ньюру. Да, да, продайте, что вы смотрите на меня? Дам сколько запросите.

– Я не торгую людьми, милостивый государь, – тихо сказал хозяин.

– Ну подарите, обменяйте, проиграйте в карты, наконец!

– Я не торгую людьми, – повторил хозяин. – И оставим этот разговор, Иван Гаврилович.

Олексин уехал через час, кое-как собравшись и почти не простившись с гостеприимными хозяевами. Но поехал он не к невесте, что с нетерпением ждала его, а в Псков. Там узнал, что деревеня заложена-перезаложена, и через подставных лиц купил ее на корню, велев старым хозяевам убраться на все четыре стороны.

Общество изумилось, губернатор настоятельно просил в гости, но он нигде не появился, а сразу же после всех сделок, подкупов, взяток и расчетов вернулся к себе. В огромное поместье с многочисленной дворней, конюшнями, псарнями и любовницами. Любовниц он разогнал, кого тут же выдав замуж, а кого просто отправив подальше, и стал ждать со странным ощущением, что так он не ждал никого.

Через три дня привезли Ньюру.

Ритуал был продуман до мелочей. Новую пассию встречали, переодевали и наставляли особо доверенные лица. Они же и ввели ее к нему в спальню, как было приказано. Ввели и исчезли, сдернув с нее платок, в который она куталась по-девичьи старательно.

Он развалился на пышной, разобранной ко сну постели. А она стояла перед ним в короткой батистовой рубашке, надетой на голое тело, плотно поставив рядышком маленькие ступни; помпоны на туфельках были синими, под цвет глаз, он сам купил эти туфельки в городе. Стояла молча, со странной взрослой грустью глядя на него.

– Здравствуй, Аня, – сказал он ненатурально бодрым голосом. – Подойди и поцелуй меня.

Она не тронулась с места, а из глаз вдруг полились слезы. И это было очень странно, потому что глаза ее по-прежнему смотрели на него не моргая, а слезы все текли и текли по крутым щекам, оставляя бороздки в пушке. Текли и капали со щек на грудь, и тонкий батист намакал и начинал уже просвечивать там, где намакал, и он видел крохотные темные соски, то ли от холода, то ли от волнения вынырнувшие, как пуговицы.

– Не бойся, глупенькая, – сказал он. – Этого не избежать, и будет лучше, если ты подойдешь сама. Ну же. Не заставляй меня ждать, а тем паче прибегать к силе.

Она молчала и не двигалась, а слезы продолжали капать. Тогда он встал, уже злясь, прошелся по комнате, покашлял внушительно.

– Если бы я не любила, – вдруг сказала она. – Господи, если бы я не любила вас...

И, опустив голову, покорно пошла к кровати. Он растерянно посмотрел на нее и неожиданно для себя крикнул:

– Эй, кто там! Накрыть в столовой ужин! – И добавил, не глядя: – Поди оденься и жди в столовой. Я сейчас спущусь.

Он оделся к ужину как на бал. Спустился вниз; девочка уже ждала его, одетая во все новое, купленное на глаз, но старательно подогнанное. Подошел.

– Прости меня, Аня. – Взял за руку, подвел к столу. – Вот твое место. Отныне и навсегда.

Он сказал эти слова не готовясь, не думая, что скажет именно их, и всю жизнь потом втайне гордился, что сказал именно так.

Он хотел, чтобы она улыбалась, как там, у болтливых уютных стариков, и чтобы так же, как там, смотрела на него с открытой детской влюбленностью. Хотел куда больше, чем чего бы то ни было иного, и сам удивлялся этому странному желанию. Но глядела она пока настороженно и серьезно, отвечала односложно и совсем не улыбалась, хотя он шутил и легко рассказывал забавные истории. И все равно ему было приятно угощать ее, смотреть на нее и чувствовать ее рядом.

После ужина он сам проводил девочку в отведенную для нее комнату, сказал, что ждет к завтраку, и пожелал спокойной ночи. Она поклонилась:

– Спокойной ночи, барин.

– Ты забыла, как меня зовут?

– Спокойной ночи, барин Иван Гаврилович, – покорно поправила ее она.

Он ласково погладил ее по голове и ушел. И был чрезвычайно доволен, что не тронул, не обидел, не сломал эту девочку. Полночи бродил по дому, улыбался в зеркала, выходил во двор и подолгу смотрел в ее темное окно.

Он думал, как странно обернулась его прихоть и как радостно ему сейчас именно потому, что прихоть эта обернулась странно. Нет, не вождение руководило им, не вдруг вспыхнувшая страсть к чистой и очень юной девочке: в его жизни бывали и чистые и юные, но такой пронзительно искренней еще не было, и эта наивная, святая искренность и приводила его в восторг. Впервые в жизни он поверил, что его любит женщина, поверил сразу, ни секунды не колеблясь и не требуя доказательств. Поверил всем сердцем, без остатка, поверил до потрясения и сохранил эту веру и это потрясение на всю жизнь вплоть до сегодняшнего дня.

А тогда... Тогда он все же раздул почти угасший огонек влюбленности осторожной лаской, заботливостью, подчеркнутым вниманием, проявив совершенно не свойственное ему терпение. Это была игра, игра азартная, новая, невероятно увлекавшая его. В этом увлечении он сначала перенес помолвку, сославшись на недомогание, а потом и вовсе забыл о ней и уже летом был неприятно удивлен личным визитом губернатора.

Говорили о Кавказской войне, о политике Англии, о последних петербургских сплетнях. Губернатор привез с собой свежие газеты и журналы, ни родственников, ни отложенной помолвки в разговорах не касался, и Иван Гаврилович немного успокоился и даже стал намекать, что собирается за границу на воды для окончательной поправки здоровья. Губернатор поддержал его намерение, выразил надежду, что Олексин возвратится полностью выздоровевшим, и беседа покатила совсем уж легко и просто.

И тут из сада вбежала Аня («Нюру» Иван Гаврилович решительно приказал забыть). Она всегда вбежала без доклада, уже привыкнув к своему особому положению в доме, любила появляться вдруг, выпалить что-нибудь, подставить лоб для поцелуя и так же неожиданно убежать.

– Пионы расцвели! Те, махровые, у беседки...

Тут она увидела, что барин не один, и замолчала. А Олексин спокойно смотрел на нее и улыбался, да и трудно было не улыбнуться внезапно влетевшей в чинную тишину крепкой девчушке в розовом нарядном платье, с цветами в руках.

– Позвольте представить вам, ваше превосходительство, мою воспитанницу Анну Тимофеевну. Анечку.

Губернатор, выждав паузу, неуверенно кивнул. Аня сделала книксен, подошла и протянула цветы:

– Это самые первые. Посмотрите, как хороши.

Ей было трудно сказать эти слова, а уж для того, чтобы протянуть так легко и свободно цветы, понадобились все силы. Она была очень застенчива, даже диковата, всегда помнила о том, кто она и где кончаются ее права, но сейчас боролась за свое счастье и шла на дерзость с отчаянной решимостью, точно бросалась в омут.

– Так вот какова она, ваша Психея, о которой идет столько разговоров, – по-французски сказал губернатор. – Мила, очень мила. Но дерзка. Весьма.

– Его превосходительство говорит, Анечка, что ты очень хороша, – невозмутимо перевел Олексин. – Буду весьма признателен, ваше превосходительство, если вы избавите меня от обязанностей толмача.

– Как мужчина мужчине я вас понимаю, – все так же продолжал губернатор. – Однако позволю себе надеяться, что, утолив пыл и охладив страсть на водах, вы вспомните, как джентльмен, о некоторых обязательствах если не перед моей племянницей, то хотя бы перед обществом.

– Анечка, его превосходительство благодарит тебя за цветы и желает обедать с нами, – с улыбкой пояснил Иван Гаврилович. – Распорядись, душенька, чтоб накрыли на террасе.

Аня положила цветы перед губернатором, мило улыбнулась и убежала. Его превосходительство проводил ее взглядом и недовольно вздохнул.

– Вы слишком балуете эту девчонку, сударь. Надеюсь, она не восприняла буквально ваш вольный перевод и я не увижу ее за обедом.

– Напротив, ваше превосходительство. Хорошенькие лица способствуют аппетиту.

– Для меня это очень сильное средство, – сухо сказал губернатор, вставая. – Кроме того, я спешу. На прощанье позволю себе дать вам совет: одумайтесь, Олексин.

– Как мужчина мужчине признаюсь вам, что я не принимаю советов ни от кого, исключая управляющего, за что и плачу ему деньги. Это гарантирует меня от слепого подчинения чужим, а следовательно, и не вполне искренним желаниям.

– Вы, кажется, забываетесь, милостивый государь!

– Простите, но это вы забываетесь, повышая голос на хозяина дома. Не сюда, ваше превосходительство: эта дверь сократит вам путь к вашей карете. Эй, кто там! Карету его превосходительства!

Он не вышел проводить губернатора. Не в гневе – он был абсолютно спокоен, – а чтобы раз и навсегда поставить точки над «і». Глядел через окно, как подсаживали в карету смертельно обиженного старика, как тронулась карета. Потом оглянулся – в дверях стояла Аня.

– Старый пень отбыл, и мы обедаем вдвоем! – весело сказал он. – Ты довольна?

Она серьезно смотрела на него.

– Его племянница и есть ваша невеста?

– Почему ты так решила?

– Он говорил о ваших обязательствах.

– Аня, – он опустил на стул, поманил ее, – ну-ка поди сюда.

Она подошла, и он обнял ее за талию.

– Кажется, я напрасно переводил?

– Меня барыня, та, прежняя, учила французскому, я и читать умею. – Она не удержалась и немножко похвастала.

– Ах, умница моя...

– А переводили вы не напрасно. – Аня вдруг начала неудержимо краснеть. – Совсем даже не напрасно.

И, гибко изогнувшись, впервые крепко и благодарно поцеловала его в губы. Тут же выскользнула из объятий и убежала. Только платье взметнулось.

За границу он поехал вместе с Аней, правда не на воды, а в Париж. Он ехал летом, в мертвый сезон, не столько по прихоти, а для того, чтобы девочка спокойно привыкла к незнакомой жизни. Поэтому и вернулись поздно, к началу зимы, и под первые морозы обвенчались в скромной сельской церкви, в которую вошла крестьянская девочка Нюра, а вышла барыня Анна Тимофеевна.

А гости на свадьбу не пожаловали, хотя приглашения были разосланы широко и заранее: даже единственная сестра Софья Гавриловна сказала больная. И, войдя в зал, где ломались столы и никого не было, Иван Гаврилович затрясся и закричал:

– Все отдать свиньям! Все!..

Он крушил мебель, переворачивал столы, бил посуду. К нему боялись подступиться, и только молодая жена отважно бросалась под тяжелые кулаки; утром он виновато целовал ее кровоподтеки.

Это был первый приступ слепой ярости, ворвавшийся в день свадьбы как знамение: Иван Гаврилович трудно переживал обиды. Он никуда более не выезжал и никого не принимал у себя ни под каким видом, сделав исключение только для сестры по слезной просьбе Анны Тимофеевны. Он никогда не забывал оскорблений, он сладострастно берег их в памяти, холил и нежил, и они обрастали наслоениями, непомерно раздуваясь, теряя причинные связи, отрываясь от действительности и угнетая его размерами. Все это зрело в нем, как нарыв, иногда прорываясь в припадках безудержного гнева. Тогда он ломал все вокруг, беспощадно сек людей за малейшую провинность, а опомнившись, уезжал подальше от немого укора терпеливых глаз жены. Переселился из Псковщины на Смоленщину, подарив Анне Тимофеевне Высокое, и окончательно устранился от всего. Не интересовался ни делами, ни хозяйством, пристрастился к охоте, случайным трактирным знакомствам – и постепенно, как-то исподволь – к одиночеству.

Первый ребенок родился мертвый: Анна Тимофеевна была еще слаба, еще не созрела и не могла рожать детей. Несмотря на отчаяние, она не потеряла головы: свято выполняла указания врача, выписанного из Германии, год всеми правдами и неправдами берегла и хитрила и в шестнадцать родила крепкого и здорового мальчишку. И уже больше не берегла и не боялась, хотела детей и рожала их еще девять раз...

А теперь лежала перед ним тихая и покойная. И он не отрываясь все смотрел на нее и смотрел, а в голове тяжело и упорно ворочалась одна мысль: «Что же ты меня-то обогнала, Аня? Что же ты бросила-то меня, одного бросила?» Это была новая обида. Самая горькая из всех обид, что с таким сладострастием коллекционировал он в себе.

3

– Ну вот мы все в сборе, – сказала Варя, выходя на террасу.

– Почти все, – поправила Маша: она любила точность.

До прихода Вари все молчали. Младшие теснились вокруг Ивана – он всегда возился с ними, – старшие разбрелись по террасе, не решаясь ни присесть, ни заговорить. И Варя подумала, что эти-то уже расстались с гнездом, уже разлетелись, а теперь и вообще не появятся более. До очередного несчастья. От этой мысли ей стало еще горше, и она твердо решила сделать все, чтобы не допустить распада семьи. Сохранить клан, растерявший сословные связи, знакомства и поддержку.

– Ваня, погуляй с детьми.

Иван тотчас увел младших; они были такими потерянными, такими непривычно тихими и послушными в эти дни. А ведь их предстояло вырастить, выучить и направить в жизнь, и все эти заботы грозили свалиться на нее одну.

– Садитесь, – сказала Варя. – Нам надо поговорить.

Все расселись. Она осталась стоять, вглядываясь в такие родные, такие знакомые и такие похожие друг на друга лица. Все они сейчас почему-то избегали ее взгляда; только небрежно обросший юношеской клочковатой бороденкой Федор смотрел на нее, но думал о чем-то ином: глаза были пустыми, отсутствующими. Видно, опять был в плену какого-то вдруг принятого решения и уже предвкушал результат, еще не начав действовать. «Наш Феденька из неубитого медведя уже по себе шубу кроит», – говорила в таких случаях мама.

– Кажется, мы наконец-то становимся взрослыми, – неуверенно нащупывая подходы, начала Варя. – Вернее, должны стать взрослыми, если способны оценить мамину... – Она не решилась произнести слово «смерть». – Оценить, что мамы больше нет. Мы сироты, да, да, круглые сироты, поскольку батюшка нам отцом так и не стал.

– Варя, так не следует говорить, – строго сказала Маша. – Это несправедливо и непочтительно.

– Несправедливо, непочтительно, но верно, – сказал Гавриил. – Варя права: пора научиться смотреть правде в глаза.

– Несправедливо, но – правда? – Маша возмущенно тряхнула тяжелой косой. – Разве может существовать несправедливая правда? Это же иезуитство какое-то: несправедливая правда! Может быть, это исповедуют в полках, но исповедовать это в жизни...

– Оставь, Маша, – ломающимся баском прервал Владимир. – Нашла время для споров. И кстати, именно офицерский корпус с его особым, я бы сказал, рафинированным отношением к личной чести не заслужил твоих оскорбительных намеков.

– Не надо спорить, – примирительно сказала Варя. – Вероятно, я неточно выразилась, но суть в том, что мы – семья, понимаете? Мы – семья, – твердо, как заклинание, повторила она, – единая семья, одно целое. Конечно, мы разъедемся, разлетимся, у каждого будут свои заботы, а потом и своя семья, но где бы мы ни были, куда бы ни забросила нас судьба, мы должны помнить, что мы – одно целое, что нет крепче уз, чем те, которыми мы связаны. Мы – мамыны дети, помните это всегда.

– Мужичкиные дети, это ты хотела сказать? – с усмешкой спросил Гавриил. – Не стоит, Варвара. Не стоит наступать на мозоль. И забыть нам о ней не дадут, даже если бы мы сами хотели этого. Не дадут, господа лошаки, не дадут-с!

Он замолчал, с излишней торопливостью прикуривая новую папиросу. Все смотрели на него и тоже молчали, и в этом молчании было не столько удивление, сколько стыд за него, будто он, старший, сделал сейчас нечто глубоко безнравственное.

– Ты это скверно сказал, Гавриил, – вздохнул Федор. – Очень скверно, прости уж, пожалуйста.

– Подло! – крикнула Маша, и в глазах ее показались слезы. – Это подло, низко и гадко! Зачем ты приехал сюда? Зачем? Чтобы плюнуть в гроб?

– Успокойся, Маша. – Варя обняла сестру за вздрагивающие плечи. – Володя, принеси воды. Успокойся, Гавриил не то имел в виду.

– Нет, то! То самое!

– Сожалею, что был превратно понят, – деревянным голосом сказал Гавриил и встал. – Здесь достаточно причин для иных слез, не стоит лить по этому поводу. Полагаю, что конференция окончена.

Спустился в сад, постоял немного и пошел подальше от детских голосов, в глушь, к беседке.

– Пожалуйста, Федя, верни его, если сможешь, – сказала Варя. – Ах, ну почему, почему нет Васи!

– Пей. – Владимир принес воду. – И Бога ради, перестань реветь.

– Тебе не обидно за маму? – спросила Маша, залпом выпив воду. – А мне очень обидно, очень.

– Он не так выразился, уверен, что не так, – вздохнул Владимир. – Всем нам трудно, все мы как потерянные, почему же ты считаешь, что ему все трын-трава? Нельзя же быть такой непримиримой, Маша, нельзя.

– Только бы Федя вернул его, – вздохнула Варя.

Федор нагнал брата скоро, но долго шел молча: ждал, пока оба успокоятся. Он не любил столкновений и ссор, терялся в них и потому всегда старался свести дело к мирному концу. Но пока он выжидал и подыскивал слова, заговорил поручик:

– Нас прекрасно воспитывали, ты не находишь? Мы говорим на трех языках, довольно наслышаны о новой философии и модных идеях, знаем, почему Сократ выпил чашу с ядом и почему Иоанн Креститель расстался со своей головой...

– Мне кажется, ты говоришь о другом, – нерешительно перебил Федор. – Ты говоришь о наших знаниях, а не о наших принципах. Можно знать очень много, очень, можно быть великим ученым и не иметь никаких принципов. Ты согласен?

– Кто это тебя научил? – с усмешкой спросил Гавриил. – Скажешь, что сам додумался? Не поверю, Федька: ты ленив и мягок.

– Конечно, не сам, – тотчас же согласился брат. – Это все Вася. Он будто сеятель среди нас, правда? Разбросал семена, щедро разбросал, не задумываясь и не скупясь, и уехал в Америку. Может быть, тоже сеять? А зерна его в нас прорастают, я чувствую, как они прорастают, хоть и многого не понимаю еще.

– Болтуны вы, что ты, что Васька, – проворчал поручик. – Перебил меня, а я в мыслях запутался. Обидно, брат, когда в лицо смеются, а крыть тебе нечем, очень обидно. – Он помолчал. – Так что там Василий говорил насчет принципов?

– Он считает, что принципы – единственное мерило личности. Именно по ним мы уже давно бессознательно делим людей на добрых и злых, на плохих и хороших. Мы знаем, допустим, что господин N, пусть он хоть трижды легкомыслен, не солжет и не предаст, ибо у него в душе воспитаны принципы, посеяны и выращены. А вот господин NN, с пафосом воздающий хвалу своему учителю, завтра же отречется от него и с тем же пафосом будет проклинать, с каким хвалил. И пусть он хоть семи пядей во лбу, пусть он хоть все знания мира вобрал в себя – грош ему цена, ибо он беспринципен. Разве не так? Разве ты сам не делишь людей, исходя из их порядочности?

– Я делю людей на счастливых и несчастных, вот и вся философия, – сказал Гавриил. – Это деление точное и правильное, а все остальное – от лукавого, Феденька. От безделья, господа студенты, только от безделья.

– Ты упрощаешь, брат. Упрощаешь неосознанно, потому что боишься...

– Боюсь? – Поручик громко, нарочито расхохотался. – Ты говоришь это офицеру, побывавшему в Хиве?

– Извини, я не имел в виду храбрость, я имел в виду понимание жизни. Большинство, огромное большинство людей поступают так, как ты, то есть разлагая жизнь на две субстанции: на счастье и несчастье. Это примитивное представление...

– Брось ты эту галиматью, Федор! – неожиданно грубо оборвал Гавриил. – Плевать людям на все ваши философские доктрины, им счастье подавай. Да, да, примитивное, обывательское, насущное и реальное счастье. И они стремятся к нему всеми силами и всеми мерами, ибо в противном случае будет несчастье. Так вот, счастье и несчастье – это альфа и омега жизни, господа теоретики. Альфа и омега, от и до, два полюса, меж которыми и мечется людское стадо, сопя, толкаясь и беспощадно давя друг друга.

– Зачем ты такой злой, Гавриил? – вздохнул Федор. – Злость сушит ум. Сушит.

– Злой, говоришь?

Гавриил замолчал. Они поравнялись с беседкой, и из этой заросшей хмелем беседки вдруг донесся глухой, сдавленный стон. Гавриил раздвинул колючие плети: за врытым в землю столом, низко согнувшись и закрыв лицо смятым картузом, сидел Захар. Широкая спина его судорожно вздрагивала, и зажатые рыдания были похожи на странный рыкающий кашель.

– Вот почему я злой, – тихо сказал Гавриил. – Я тоже хотел бы зарыдать в шапку, но не могу. Не могу, и ты не можешь, и нам во сто крат горше, чем ему.

– Захар, – Федор вошел в беседку и, сев рядом, положил Захару руку на плечо. – Что ты, Захар, что ты?

– Эх, Феденька! – Захар тяжело вздохнул и отер лицо картузом. – Тяжко, когда и смерть не равняет. Не мне, а ей тяжко, сестрице моей.

– Батюшка стгоряча сказал так, от боли, – сказал Федор. – Он и нас выгнал потом, один остался. Может, рыдает там сейчас, как ты здесь.

– Зарыдает он, как же. – Захар поднял голову, увидел стоявшего в дверях Гавриила, хотел было встать, но не встал и только качнулся. – Не будет ли папиросочки, Гаврила Иванович? Табак свой позабыл где-то.

Гавриил, помедлив, протянул портсигар. Сел рядом, усмехнулся:

– Слезами печаль мерить проще простого. И стоит недорого, и видно всем.

– Ах, брат, брат! – Федор укоризненно покачал головой.

– Сухая душа быстро черствеет, барин, – сказал Захар. – А с сухарем вместо сердца жить тяжко. Сами знаете: было на кого глядеть.

– Грех на старика злобу копить, – примирительно сказал Гавриил. – Бог велел прощать ближним, да и уедет он скоро. Залезет опять в свою раковину, и до смерти ты его не увидишь.

– Уйду я, – сказал Захар, словно не расслышав. – В Сибирь уйду, в Малороссию или еще куда. Человек я вольный, и бумаги при мне. Не могу я тут, тошно мне, и душа моя словно с места сдвинута.

– Уйдешь? – Федор весь подался к Захару. – Вправду уйдешь?

– Вот крест святой. – Захар перекрестился. – Корень мой зачах тут, не хочу более в Высоком.

– Тогда, знаешь... – Федор задохнулся словами. – Возьми меня с собой, а? Возьми, пожалуйста, возьми! Я работать хочу научиться, я пользу хочу приносить и понять все, я...

Гавриил громко засмеялся, но Федор уже не обращал на него внимания. Он был весь во власти идеи, он уже жил ею, он уже шел куда-то, уже пахал, ловил рыбу или рубил избу: привычно и восторженно кроил шубу из неубитого медведя.

– Да что ты, Феденька, – улыбнулся Захар. – Душа у тебя добрая, это конечно, только шкворень бы ей выковать...

– Вот вы где, – сказал Иван, заглядывая в беседку. – Идемте же к Варя, она по всему саду гонцов разослала.

– Идем с нами, Захар, – сказал Федор. – Мы как раз семейные дела решаем.

– Нечего там Захару делать, – прервал Гавриил, выходя. – Мы и сами-то толком не знаем, что решать да о чем говорить.

Однако Варя знала, чего хотела. Высокое было собственностью мамы только при жизни, после смерти оно отходило к отцу. Конечно, он никогда не оставил бы младших без средств, но по капризу или в порыве отчаяния мог, никого ни о чем не спрашивая, продать имение и предложить всем перебираться на Псковщину. Вот этого Варя и не хотела и боялась и поэтому заранее решила условиться, чтобы в случае необходимости прозвучало хотя бы всеобщее неудовольствие.

– Послушает он нас, держи карман шире! – сказал Владимир.

– Оставь юнкерские прибаутки для казарм, – нахмурилась Варя.

– Господи, о чем вы, о чем? – вздохнул Иван – с младшими его заменила Маша, не желавшая более видеть Гавриила. – Можно же и потом об этом, после всего.

Он не сказал «после похорон», не смог выговорить.

– После всего он уедет.

– И я уеду, – вдруг сказал Гавриил.

– Знаете, я, пожалуй, тоже... – начал было Федор, но замолчал, потому что все сейчас смотрели на Гавриила.

– Торопишься в полк? – спросил Владимир.
– Нет, я в длительном отпуску. – Гавриил говорил отрывисто, словно нехотя. – Я еду в Сербию.

– В Сербию? – недоверчиво переспросил Иван.

– Да. К генералу Черняеву.

– Это прекрасно! – восторженно воскликнул Федор. – Это замечательное, благородное решение, я... Я завидую и от всего сердца благословляю тебя.

– А как же «не убий»? – усмехнулся Гавриил. – Я ведь убивать собираюсь, Феденька.

– Счастливеец! – заулыбался Владимир. – Если бы я мог...

– Как глупо! – резко сказала Варя. – Как оскорбительно глупо все, о чем вы говорите! Все ваши восторги, планы, шуточки над маминым гробом.

Все примолкли. Федор виновато развел руками и сел. Владимир перестал улыбаться.

– Ну, давайте скорбеть, – сказал Гавриил. – Хором или по очереди?

– Нет, это, право же, нехорошо как-то, – вздохнул Иван. – Мы забываемся, а это нехорошо.

– Нехорошо то, что фальшиво, – сказал Гавриил. – А если мы искренне улыбаемся, то ничего плохого в этом нет. И это никак не может оскорбить ни наши чувства, ни мамину память.

Варя не успела возразить: из залы вышел отец. Все встали, глядя на его осунувшееся, окаменевшее лицо с остановившимися, невидящими глазами. Он медленно подошел, остановился перед Варей, хотел что-то сказать, но губы запрыгали, и он прикрыл их рукой, разглаживая усы.

– Что с вами, батюшка? – тихо спросил Федор.

– Почему у нее, – старик дрожащими пальцами потыкал щеку, – пятнышки? Здесь пятнышки?

– Она полола, – сказала Варя. – Полола и упала в землю лицом.

– Последняя боль. – Старик покачивал головой. – Кто решил здесь хоронить? Кто сюда везти приказал, я спрашиваю?

– Мы, – растерянно сказал Владимир. – Я, Маша, Ваня, Захар...

– Захар! – Отец яростно отмахнулся. – Что он понимает, ваш Захар! Там ее земля, в Высоком, неужели не ясно? Там, где полола, во что лицом, лицом уткнулась в последний раз. Назад! Запрягать! Немедля!

Все молчали, переглядываясь в замешательстве.

– Батюшка, это не очень удобно, – отважился Гавриил. – Везти тело за тридцать верст в такую жару. И так уже... – Он замолчал.

– Пахнет, да? – выкрикнул старик. – Чего же недоговариваешь, чего мямлишь, офицер? – Он обвел всех суровым взглядом. – Здесь простимся. Сейчас, пока закладывают. Здесь простимся, а там, в Высоком – ее Высоком! – похороним. И меня тоже там. Рядом, гроб к гробу, слышите? Гроб к гробу!

И зашагал к дверям, откинув седую голову к прямой, как древко, спине.

Глава третья

1

Василий Иванович Олексин так и не получил Вариного письма, адресованного в далекий американский городишко. Письмо медленно ехало по Европе, медленно плыло по океану, подолгу залеживалось в почтовых мешках, а когда в конце концов достигло назначения, адре-

сат уже пересекал Атлантику в обратном направлении, перебирая в памяти осколки разбитых вдребезги иллюзий.

Правда, мечты превратились в иллюзии недавно. А до этого еще со студенческих сходов они являлись смыслом жизни, самой возвышенной, самой святой идеей века. Даже тогда, в самом начале пути, при первых встречах с Марком Натансоном и его супругой Ольгой Александровной, когда идея только как бы парила в воздухе, уже родившись, но еще не одевшись в слова, даже тогда она не казалась иллюзорной. Она была истиной, и ее воспринимали как истину, как единственную, равную откровению формулу, уравнивающую счастье народа с подвигом во имя этого счастья. Осознание своего долга перед большинством, поработанным государством, церковью и вековым невежеством, делало их бесстрашными, сильными и гордыми не перед людьми, а перед судьбой. Прежние представления о жертве во имя прогресса, о миссионерско-просветительской деятельности, о благородном порыве, сострадании, милости и прочем были отброшены: они изначально разводили народ и тех, кто хотел служить этому народу, на неравноправные, заведомо противопоставленные друг другу позиции благодетелей и просителей. Нарушалось не просто равенство, его не могло быть, – нарушалась взаимосвязь целого, называемого народом, нацией, родиной. Мозаика не складывалась, картины не возникало; темная, непонятная масса шла своим, особым путем, а те, кто хотел служить этой безликой массе, – своим, и пути эти никогда не пересекались, как рельсы Николаевской дороги.

– Парадокс в том, что мы, дети народа, его плоть и кровь, настолько оторвались от него, настолько обособились, что цветом на его теле чуждым, непонятным и пугающим его цветом, источая раздражающий аромат роскоши и тунейства, – говорил Красовский, их трибун и идеолог, по имени которого и называли их кружок. – Нам необходимо вернуться в материнское лоно не для того, чтобы раствориться в нем, а для того, чтобы всеми силами, знаниями, талантом облегчить ему жизнь и страдания. Будущее России в единстве народа и интеллигенции. Служить народу – значит вернуть ему наш неоплаченный долг, постараться возместить то, что господин Лавров так блестяще определил как цену прогресса.

Однако уплатить эту «цену прогресса» оказалось непросто: во-первых, сам кредитор не желал принимать долга, с привычной недоверчивостью встречая очередное господское начинание; во-вторых, правительство немедленно усмотрело в этом противозаконие, и наиболее активные пропагандисты и ходоки в народ вскоре очутились за решеткой. Петербург и Москва готовились к небывалым по количеству обвиняемых политическим процессам. Не принятое и не принятое снизу течение оказалось разгромленным сверху – сотни арестованных ожидали своей участи в камерах, остальные разбежались, затаились, ушли за границу.

Василий Иванович был арестован, но до суда отпущен на поруки с высылкой под надзор по месту жительства. В Высоком тогда, два года назад, вместе с мамой жили Варвара и Федор; никто ни о чем не спрашивал, никто не упрекал, никто не жалел, и Василий Иванович вскоре оправился от потрясения, вызванного первым знакомством с голубыми мундирами. Поехал в Смоленск, привез две телеги книг, много читал, много думал. Когда Федор или Варвара приставали с вопросами, виновато улыбался, бормотал и старался уйти к себе. А мама укоризненно говорила:

– Васенька торбочку примеряет, а вы мешаете.

– Какую торбочку, маменька?

– Собственную. У каждого своя торбочка, и как наденешь ее, так и до смерти не скинешь.

Поэтому ошибиться нельзя: надо по плечам брать, по силам мерить.

Вскоре Василий Иванович, отложив книги, стал частым гостем в деревне, с наслаждением принимая участие в общинных работах: косил, жал, возил с поля снопы. Говорил о чем-то с мужиками, особенно со старостой Лукьяном и Захаром. Федор преданно сопровождал его, но был еще молод, многого не понимал, зато запоминал все. Путался, страдал и наконец не выдержал:

– Что тебе в них, в мужиках, Вася? Экают, мекают, ничего толком объяснить не могут. Тупы, как верблюды загнанные, а ты время тратишь.

– Тупы? – Василий Иванович улыбнулся. – Очень уж себя мы любим, Федя. А это самое легкое: себя-то любить. Нет, ты вот такого полюби, потного да нечесаного, в лаптях да сермяге. Тогда прозреешь. И все разглядишь: и сердце доброе, и совесть, и справедливость, и ум, которому любой позавидовать может. Только в коросте пока все это. Триста лет коросте той, Федор Иванович, брат мой любезный. Пока мы французские глаголы да английские времена учили, кормилец наш пот со лба смахивать не успевал. Высыхал тот пот на нем, слой за слоем в коросту превращался, и мы уж своего же брата узнавать перестали. А ведь мы должны ему.

– Должны? – Федор недоверчиво усмехнулся. – Это он нам должен.

– Он нам рубли должен, а мы ему – миллиарды. Мы в кабальном долгу перед ним, Федор, запомни это, пожалуйста. На всю жизнь запомни.

Федор запомнил, память была блестящая. И о долге запомнил, и о тех трех мешках, о которых Василий Иванович толковал с Варей. Федор и тогда мало что понял, по правде говоря, но запомнил.

– Деревня живет по закону трех мешков, Варенька. Глупо? Чрезвычайно глупо, а попробуй переубеди их, попробуй уговори.

– Каких трех мешков?

– Роковых, на этих мешках русская деревня стоит, как земля на трех китах. Вот считай: одна треть мужицкого урожая – долг, недоимки, общинная доля и прочая и прочая; вторая треть – хлеб насущный на круглый год до новой страды; а третья – семена, то, что весной в оборот уйдет, чтобы снова те же три мешка породить. Скажешь, простое, мол, воспроизводство? И ошибешься. Нет никакого воспроизводства. Есть рабская традиция, привычный страх, что излишек все равно отберут, как отбирали доселе. Есть поразительная готовность к худшему. Не к лучшему, заметь, а к плохому, к невыносимому, к чему-то настолько тяжкому, что и говорить-то об этом не хочется. А раз так, раз все равно плохое впереди, так зачем же четвертый мешок? Знаменитый четвертый мешок, который лежит в основе всех богатств, оказывается ненужным русскому мужику – вот в чем парадокс, Варя.

Варя слушала затаив дыхание. Она не просто любила старшего брата – она восторженно поклонялась ему и слушала так, как слушают влюбленные женщины, не столько вникая в смысл, сколько чувствуя интонацию, стук сердца, волнение и страсть. Ее пансионное образование было далеким от жизни, и сейчас она жадно, до самозабвения училась, слушала, читала, стремясь как можно скорее постичь тот мир, который так горячо принимал к сердцу ее идол. Она читала по ночам привезенные им книги, старательно выписывая целые страницы и выучивая наизусть то, в чем не могла разобраться.

Потом в Высокое приехал сам Красовский и с ним восторженная, непородисто громкая и вызывающе аппетитная курсистка Градова. Таких девиц всегда хочется тискать, и Варя сразу же люто невзлюбила ее именно за это качество.

– Маменька, она неприлично кокетничает с Васей. По-моему, решается его судьба...

Пугая маму, Варя и не подозревала, как близка была к истине: судьба Василия Ивановича действительно решалась в эти дни.

– Вы абсолютно правы, Василий Иванович, – как всегда тихо, сказал Красовский. – Ломать традиции можно только примером, даже если дело касается трех мешков. Всякая иная ломка чревата подрывом нравственного фундамента народа. А пример вполне реален: наш друг Градова согласна пожертвовать своим наследством.

– Эти миллионы жгут мне руки! – с пафосом воскликнула курсистка.

– Значит, земледельческая коммуна? – с замиранием сердца спросил Василий Иванович. – Боюсь верить в это, господа: такое счастье бывает только в сказках.

– В Новый Свет! – Градова стремилась к возвышенным чувствам, яростно отрицая этот погрязший в сытости мир. – Мы привезем туда новую религию!

– Это прекрасно, – улыбнулся Красовский. – Но наша основная задача – создать образец самокупаемой, мало того, рентабельной ячейки общества, основанной на принципах равенства. Создать не для себя, не для внутреннего потребления, а в качестве примера для всех свободных тружеников. Мы должны агитировать не столько словом, не столько нравственной чистотой своего бытия, сколько результатами своего труда. Мы должны добиться права гордо сказать всему миру: смотрите, на что способен истинно свободный, гордый и прекрасный человек. Смотрите не для того, чтобы удивляться, а для того, чтобы самим стать лучше. Я свято убежден, что пример свободного труда способен сотворить чудо и сотворит его!

Он сказал это тихо, без всякой аффектации, а словно прислушиваясь к своим мыслям и в то же время критически проверяя их. Это был верный способ привлечь внимание в самых громких спорах. Красовский недаром слыл признанным вожаком их кружка.

Их было десять, рискнувших создать модель нового общества: семеро мужчин и три женщины, и среди них Екатерина Малахова, единственная мать. Одиннадцатый член будущей коммуны отправился за океан еще два месяца тому назад.

Этим одиннадцатым был Вильям Крейн – в прошлом офицер Генерального штаба, человек выдающихся способностей, увлекающийся и нетерпеливый. Крейн ожидал их в Нью-Йорке, уже имея в кармане документы на право владения фермой в далеком западном штате.

Они с энтузиазмом взялись за дело, но первый урожай сгорел на корню: год выдался засушливым. Пришлось начать все сначала, но энтузиазма хватило и на это: они были молоды, отважны и верили в свою великую цель. Однако то ли сеяли они слишком поздно для этих широт, то ли купленные второпях семена были никуда не годными, а только и второй урожай не внушал особых надежд: колос был полупустым, стебель чахлым и тощим, посевы редкими, с многочисленными огрехами. Василий Иванович целыми днями бродил по полям, высчитывая зерна в колосках, и лишь одно поле – то ли потому, что он сам его обрабатывал, то ли по счастливой случайности – обещало хоть что-то весомое.

– Озабочены, Василий Иванович? – спросила Малахова, встретив его за этим занятием: она гуляла с сыном.

– Озабочен, Екатерина Павловна, – вздохнул Олексин. – И признаться, не понимаю, почему здесь недород, а на том клину полный колос. Может быть, близко грунтовые воды?

– Какие там воды, – усмехнулась она. – Руки у вас золотые, вот и вся причина. А мы тап да ляп.

– Ну что вы, столько труда... – Он замолчал, потому что лгать не умел да и не хотел: труда было много, но бестолкового. – А Коля ваш молодцом стал. И окреп, и вырос.

– Скучно здесь, – невпопад сказала Малахова. – И небо то же, и хлеба, а – не Россия. И поговорить не с кем: ни людей вокруг, ни соседей. Если бы не вы, взяла бы я Коленку и – куда глаза глядят. Ей-богу, куда глаза глядят...

Смахнула слезинку, взяла сына за руку и пошла к их большому и неудобному дому, где было много жильцов, но ни одной подружки, где был муж, но не было друга. А хотелось тихих вечеров с самоваром и вареньями, уютных разговоров ни о чем, спокойной уверенности в завтрашнем дне. Но вместо этого каждый вечер ее ожидали бесконечные жалобы мужа, раздражающая неряшливость Градовой и тоскливый, как в казарме, стол на двенадцать персон.

«Если бы не вы...» Голос ее словно остался тут, с ним. До сих пор он боролся со своей влюбчивостью, всячески сторонился женщин, соблюдал строгий режим и обливался по утрам звонкой колодезной водой. Но с каждым днем он все отчетливее слышал шелест юбок, а по ночам просыпался от одних и тех же снов и в одной рубашке выходил остывать во двор.

Он думал, что теперь ему обязательно приснится Малахова, и даже хотел этого. Но приснилась не она, грустная и тихая, а разбитная петербургская девица без имени, этакое пышу-

щее бесстыдством создание в одних черных чулках. Создание наваливалось горячим телом, душило и требовало, и Василий Иванович счастлив был проснуться на узком топчане в собственной темной каморке. Встал, отер взмокший лоб и вышел во двор. По привычке он направился к конюшне: он всегда навещал лошадей во время своих остываний. Створки оказались полуотворенными, но он не обратил на это внимания и вошел. И замер в дверях: против входа лежал кто-то на охапке сена. Он не понял, кто это: в конюшне стоял предрассветный полумрак. Шагнул: на сене, вольно раскинувшись, сладко спала Градова. А рядом похрапывал еще кто-то, и рука этого неизвестного небрежно покоилась на круглом женском колене. Олексин тихо попятился, но уйти не успел.

– Кто тут? – сонно спросил мужчина.

Василий Иванович выбежал, неуклюже ударившись о створку приоткрытых ворот. Хотел тут же скрыться в доме, но передумал, боясь, что заподозрят в подглядывании. Пошел не спеша, но сзади окликнули.

– Олексин, вы? – Делано позевывая, подходил Крейн. – Не спится? Да, душно тут ночи. А вы все насчет урожая беспокоитесь?

Василий Иванович покивал. Ему было неудобно и неуютно разговаривать с этим человеком после того, что он увидел, но извиниться и уйти он почему-то не мог, хотя Крейн явно ждал этого.

– Интересно, а что творится у соседей? Может быть, съездим завтра с вами, Олексин? С познавательной целью, а?

– Можно, – с трудом выдавил Василий Иванович.

– Так и порешим. А пока воздержимся от суждений, правда? Наши склонны к преувеличениям.

И торопливо пошел к конюшне, где на душистом сене сладко спала женщина.

На следующий день они предприняли объезд соседей, и вечером Крейн лично доложил результаты рекогносцировки:

– Мы скверно работаем, друзья. Мы причесываем, а не бороним. Мы непозволительно запаздываем со сроками и сеем кое-как, лишь бы избавиться от зерна.

– Какой же выход? Что скажет заведующий хозяйством?

– Выхода я вижу два, – сказал Василий Иванович. – Первый – нанять рабочую силу, пока мы не встанем на ноги.

– Но это же абсурд: коммуна, пользующаяся наемными рабочими! Мы рубим сук, на котором сидим!

– Второй выход: переход от зернового хозяйства к смешанному. Купить скот, откормить его, продать и тем покрыть дефицит.

После долгих споров предложение было принято, и Василий Иванович собрался за бычками в ближайший городишко: он лучше остальных говорил по-английски. Крейн вызвался проводить.

– Старайтесь не пользоваться наличностью, – говорил он, придерживая лошадь, чтобы ехать рядом. – Чеки и только чеки: Америка – особая страна.

– Да, да, я вас понимаю.

– Настаивайте, чтобы продавец сам обеспечил доставку гурта. Скажите, что окончательный расчет будет на месте.

– Конечно, конечно. Я один просто не справлюсь.

– И вот вам на всякий случай. – Крейн протянул кольт. – С ним, знаете, спокойнее, но не проговоритесь нашим дамам.

– Благодарю вас, Крейн, только мне как-то спокойнее без оружия. Я человек мирный.

– В Америке нет европейского деления на мирных и военных. Здесь люди делятся на вооруженных и безоружных.

– И все же...

– Вы мне симпатичны, Олексин, и я вам дарю этот револьвер на память. Счастливого пути.

Крейн хлестнул лошадь, и Василий Иванович остался один. И проводы, и особенно подарок были похожи на плату за молчание, и на душе у Олексина остался неприятный осадок.

В ближайшем городишке продажного скота не оказалось, и Олексин, переночевав и наведя справки, двинулся дальше на Запад. Здесь уже совсем пошли места незнакомые, обжитые районы попадались редко, а вскоре и они кончились. Василий Иванович часто привставал на стременах и оглядывался, надеясь увидеть хоть какое-нибудь жилье, но вокруг было по-прежнему пустынно, дико и неприветливо.

Вечерело, когда он заметил дымок. Подхлестнул усталого коня, миновал низинку и за гребнем холма увидел костер. Двое мужчин сидели подле огня, а невдалеке паслось стадо, что очень обрадовало Олексина: он достаточно наслышался рассказов и о воинственных индейцах, и о шайках бродяг и чувствовал себя неуютно. Подъехав, спешился, сказал, кто он, откуда и зачем едет.

– Тебе повезло, приятель, – сказал сидевший у костра. – Я гоню бычков на продажу.

О цене столковались быстро, но продавец требовал наличные. Олексин все же уломал его, пообещав треть в звонкой монете по доставке гурта на место. Уже в темноте они выборочно осмотрели бычков. Василий Иванович передал чек, попросил документы.

– Документы при расчете, – сказал продавец, седлая коня. – Я поеду вперед, а мои парни помогут тебе управиться. Не давай им спуска, приятель: они полукровки и унаследовали от матерей только индейскую лень.

Продавец ускакал, а Василий Иванович, переночевав у костра с молчаливыми ковбоями, на рассвете тронулся в обратный путь. Бычки были рослыми и упитанными, достались дешево, и Олексин ощущал полное довольство собой, немного гордясь собственной хозяйской сметкой, позволившей так легко и просто поддержать пошатнувшийся баланс коммуны.

В полдень остановились в низинке пообедать, подкормить скотину и передохнуть. Пока ковбои разжигали костер, Василий Иванович прилег, положив голову на седло, и неожиданно уснул: сказала усталость и почти бессонная ночь.

Проснулся он от выстрелов. Решив со сна, что напали индейцы, вскочил и стал поспешно вытаскивать кольт. Делал он это неумело и не очень уверенно, револьвер зацепился курком за пояс, а еще через мгновение полдюжины стволов уперлось в его грудь.

– Задери-ка руки, парень, – сказал грубый, прокуренный голос. – Пошарьте у него в карманах, ребята.

Перед Олексиним стояло с десятков всадников на взмыленных, с проваленными боками лошадях: видно, скакали они издалека и не жалели коней. Распоряжался кряжистый мужчина в широкополой шляпе, с кольцом на поясе и винчестером за плечами. Его приказание было исполнено тотчас: двое спешили, бесцеремонно обыскали Олексина, отобрав револьвер и документы.

– У него неплохая игрушка для скотовода, – сказал один из них, передавая вещи предводителю.

– Я не понимаю... – начал было Василий Иванович.

– Молчи, пока не спрашивают! – грубо перебил старший. – Вопросы задаю я. Чей это скот?

– Мой.

Всадники зашумели. Предводитель поднял руку:

– Допустим. Почему же твои погонщики бросили его и ускакали, увидев нас?

– Не знаю. Я купил этих бычков сегодня утром.

– Он купил их сегодня утром, сэр! – громко сказал главарь.

Из-за его плеча выдвинулся прилично одетый господин с озабоченным и, как показалось Олексину, интеллигентным лицом, украшенным аккуратной черной бородкой.

– У кого вы купили бычков?

– Не знаю. Я...

– Какое на них тавро?

– Не знаю.

– Он ничего не знает, сэр! – весело перебил предводитель. – Встряхните ему мозги, ребята.

Василия Ивановича с силой ударили в лицо, в живот, снова в лицо и снова в живот. Он упал на колени, оглушенный болью и ощущением полнейшего бессилия.

– За что? – крикнул он, размазывая кровь. – Я действительно ничего не знаю! Даже собака должна знать, за что ее бьют!

– На этих бычках мое тавро, – негромко сказал господин с бородкой. – Стрела с поперечиной. Вы утверждаете, что купили их?

– Клянусь вам. Я купил их вчера вечером по тридцать семь долларов за голову с уплатой двух третей чеком на предъявителя и одной трети золотом по доставке гурта на место.

– Складно врет! – крикнул какой-то парень. – Чек на предъявителя!

Старшие совещались. Потом господин с бородкой спешился, подошел к все еще стоявшему на коленях Олексину и достал карманную Библию.

– Поклянитесь на Святом Писании, что говорите правду.

– Я даю вам честное слово.

– Поклянитесь именем Господа.

Василий Иванович молчал, сосредоточенно счищая кровь с клочковатой и реденькой русой бородки.

– Клянись, парень, – сказал главарь. – Если это так, ты виноват только в скупке краденого. Мы сдадим тебя шерифу – и дело с концом. Чего ты ждешь?

– Я не могу, – тихо сказал Олексин. – Поверьте, я говорю правду и только правду, но я не стану клясться на Библии. Я не верю в Бога и не могу пойти против собственных убеждений.

– Не веришь в Бога? А кто же после этого будет верить тебе?

– Люди.

– Люди чтут закон и не воруют скот. Ты нарушил людской закон и будешь вздернут. Ребята, веревку!

– Господа! – Василий Иванович попытался встать, но дюжие парни прижали его к земле. – Господа, я ни в чем не виноват! Поверьте же мне, поверьте! Я не знал, чье это тавро, я не знал, чей это скот, я ничего не знал, господа!

– Либо ты поклянешься на Библии, либо будешь болтаться на суку. Думай, пока тебя не вздернули, мы ждать не любим.

– Но, господа, это же невозможно, это же бесчеловечно, господа! Нет, вы не сделаете этого, не сделаете. Я знаю, что вы хорошие люди, я верю в ваши добрые сердца: ведь у каждого из вас есть мать. И у меня тоже есть мать, господа, есть мать в далекой России.

Тонкая ременная петля захлестнула горло, сдавила его. Олексин дико рванулся, но его крепко держали за плечи.

– Что вы делаете, люди! Ведь люди же вы! Люди, люди...

– Клянись на Священном Писании, грешник.

Слюна заливала глотку, текла по бороде, по груди. Василий Иванович мучительно глотал ее сдавленным петлей горлом, давясь и задыхаясь. Он был весь в омерзительном липком поту, но дрожал как в ознобе.

– Господа, я умоляю... Я клянусь своей честью...

– Клясться можно только именем Господа нашего. Не хочешь?

Корчась в сильных руках, Олексин судорожно глотал. Глаза вылезали из орбит, сердце отбивало бешеный ритм, мучительно хотелось вздохнуть, вздохнуть хоть раз, но воздуху не было: петлю подтянули до предела.

– Господа, я прошу-у...

Он уже хрипел. Язык словно распух и теперь занимал весь рот, мешая дышать, мешая глотать и мешая говорить. Перед глазами уже плыли не лица, а цветные пятна, они медленно двигались, сталкиваясь друг с другом. На миг мелькнуло острое желание поклясться на этой книге, сделать так, как хотели эти люди, купить себе глоток воздуха и, может быть, жизнь. Но это трусливое желание только мелькнуло, и он тут же загасил, запрятал, задавил его, понимая, что если сдастся, если покорится и солжет, сказав, что уверовал, то солжет не им, солжет не Богу – солжет самому себе. И предаст самого себя.

Он уже ничего не видел и ничего не слышал, он уже не хотел ни видеть, ни слышать, он хотел только одного: не позволить себе унизиться, солгать, смалодушничать. А сил оставалось так мало, что он отверг все, все чувства, сосредоточившись на одном, самом простом и самом страшном: молчать. Заставить себя молчать. И последнее, что он почувствовал, – его куда-то поволокли, поволокли на этой удавке, и острая пропотевшая петля с невероятной силой сдавила горло...

Очнулся он от воды, что лилась на лицо. И от хохота:

– Ты счастливчик, парень: мои ребята не нашли дерева, на котором можно было бы тебя вздернуть!

Отряд уходил, гоня перед собой бычков. Олексин сел, осторожно потрогал шею и тут же отдернул руки: петли не было, но содранная ремненным арканом кожа горела, словно после ожога. Хотелось пить, он попытался встать, не смог и остался сидеть, закрыв глаза и равнодушно осознавая, что остался жив. Сзади послышался топот. Шея не поворачивалась, и Василий Иванович терпеливо ждал, когда всадник окажется перед ним.

– Мы не бандиты, мы честные скотоводы, – сказал, подъехав, господин с бородкой. – Частная собственность неприкосновенна, и вашу лошадь мы взяли в качестве законного штрафа за убытки, которые мы понесли, это справедливо. – Он бросил на песок документы Олексина, его нож и револьвер. – Частная собственность неприкосновенна, и пусть этот урок заставит вас подумать о Боге.

Всадник ускакал. Затих топот, рев стада, а Василий Иванович долго еще неподвижно сидел на песке, закрыв глаза и ни о чем не думая.

На пятый день голодный, полуживой, оборванный добрался он до дома. Без денег, без бычков и без чего-то в душе; он сам не понимал, без чего именно, но что-то покинуло его, и на место покинутого вселилась пустота. Он ощущал эту вселившуюся пустоту как тяжесть.

Скупое, избегая подробностей, он рассказал о своем приключении. Его никто ни о чем не спрашивал: умыли, накормили, перевязали, уложили в постель. Он лежал в своей келье, глядел в дощатый потолок, понимал, что хорошо бы уснуть, и почему-то боялся снов.

Для кого они бросили семьи, дома, родину, отечество? Для кого ехали за тридевять земель, трудились до седьмого пота, отказывали себе во всем, ведя почти иноческий образ жизни? Для кого они еще до плавания за океан рисковали своим будущим, своей судьбой, а зачастую и жизнями, расшатывая устои могучего государства почти в одиночку, силами собственных умов и талантов? Для народа? А что такое народ? Тот, кто трудится? Но те, кто издевался над ним, кто затягивал ремненное лассо на шее, были самыми что ни на есть рабочими и затягивали петлю грубыми руками по одному лишь подозрению, что он скупщик краденого скота. Даже и не по подозрению, а так, из слепой жажды мести, из темной злобы против чужих, а тем паче не верящих в Бога. Почему же они поступали так? Что двигало ими, что делало их жестокими и злыми? Частная собственность? Значит, если не будет ее, этой проклятой частной

собственности, люди изменятся, станут добрыми и чуткими, покончат с жестокостью, ненавистью и несправедливостью раз и навсегда?

Стояла глубокая ночь, и во всем доме не спали только два человека. Не спали по разным причинам и думали каждый о своем.

Святая и неприкосновенная частная собственность, забота о личной сытости и личном благополучии есть питательная среда жестокости, злобы и несправедливости. Но так ли уж справедлив этот набивший оскомину постулат?

Разве те, кто не обладает никакой собственностью, менее жестоки, злобны и несправедливы? Разве жестокость и злоба вольны приходить или не приходить в зависимости от благосостояния? Разве человечество не было жестоким еще до того, как стало обладать собственностью? Разве дикари, не имеющие никакого представления о собственности, не поджаривали нищих миссионеров на медленном огне? А может быть, жестокость есть чувство изначальное, свойственное животной сущности человека и лишь задавленное в нем цивилизацией, образованием, воспитанием, наконец? Да, да, просто воспитанием, терпеливым, вдумчивым примером и добрым словом. Примером и добрым словом...

Но этот вывод, пожалуй, не для него, уже зараженного обидой, уже оплеванного и опозоренного, уже сломленного, уже увидевшего в людях страшные бездны безотчетной злобы и ненависти, уже усомнившегося в них. Нет, это не для него. И подвижничество не для него, и проповеди не для него. Сомневающийся проповедник – может ли быть что-либо более лживое на свете? Нет, ему не преодолеть себя, не воскреснуть вновь, не улыбаться так, как он улыбался всегда. Эта петля, оставив его в живых, что-то навеки задушила в нем. А стоит ли жить полузадушенному и потрясенному? Не проще ли воспользоваться подарком Крейна: он не защитил его жизнь, так, может, он оборвет ее?

Он не успел дотянуться до револьвера, как скрипнула дверь. Кто-то в белом скользнул в комнату, тихо щелкнул задвижкой. Сердце его вдруг забилося нетерпеливо и оглушительно; он все понял, но все-таки спросил:

– Кто здесь?

Белая фигура шагнула к топчану, и тихий знакомый голос прошептал, чуть задыхаясь:

– Я больше не могу без вас. Не могу, понимаете?..

2

После похорон матери – в Высоком, на холме подле церкви – Гавриил сразу же вернулся в Москву. Комитет задерживал отъезд, но сдобная хозяйка напрасно наряжалась и румянилась: постоялец возвращался поздно, дома не ужинал и до утра засиживался над книгами. Она томно вздыхала, часто роняла что-нибудь звонкое, призывно вскрикивая при этом, и старательно забывала закрывать дверь в собственную спальню, но ничего не помогало. Усатый – ах, эти пшеничные усы! – офицер учил сербский язык.

В Москве шли бесконечные собрания, заседания Славянского комитета и самых разнообразных благотворительных обществ. Толковали об историческом праве славян, о зверствах турок, о доблести черногорцев, о происках Англии, о единой славянской семье, о... О чем только не говорилось на этих собраниях, и говорилось главным образом потому, что говорить-то позволялось и собираться позволялось, и, Господи Боже ты мой, наконец-то и на святой Руси повеяло чем-то, похожим на свободу. И – говорили. Власть говорили, точно хотели вдруг наговориться в полный голос за многие-многие годы шепотков с оглядкой. И в восторге от дозволенной свободы уже не жалели ни времени, ни сил, ни денег.

Побывав в двух-трех домах и потеряв полдня на одном из собраний, Гавриил старался нигде более не появляться. Он был человеком военным и понимал, что Сербии нужны офицеры, а не разговоры. К этому прибавлялся и страх встречи с прошлым – с офицерами полка,

с рыжим артиллеристом или, упаси бог, с самой мадемуазель Лорой. Он не забывал о ней, как не забывают ушедших в небытие, – памятью без надежды.

Но выдержать затворничество не удалось: из Сербии приехал полковник Измайлов, правая рука Черняева, герой первых победоносных и легких боев. Он горячо и напористо говорил о часе избавления, который пробил, о святом долге, который движет историей, об узах крови и веры и о Кресте и Полумесяце, о прародине, справедливости, избавлении.

– Мечи обнажены, господа! – взывал он на обеде в его честь. – Мечи обнажены, и слава волонтерам!

Восторженно аплодировали, восторженно пили, но с ответным тостом никто не спешил. А Измайлов явно ждал этого тоста и уже начал проявлять признаки некоторого недоумения, когда председательствующий предложил слово первому русскому волонтеру.

Для Олексина столь высокая честь была полной неожиданностью, и поначалу он говорил путано и длинно, долго пробираясь к тому, чего, как он чувствовал, от него ждали.

– Нет, не заветный Олегов щит зовет нас на поле брани. Не лазурь Мраморного моря, не тучные поля Забалканья и не красоты Адриатики. Нет, не ради наград и славы лучшие сыны отечества нашего оставляют сегодня отчий кров и рыдающих матерей. Нет, нет и еще раз нет! «Свободу братьям!» – написали мы на наших знаменах и боль за их муки вложили в наши сердца. Чаша великого терпения России переполнилась, боль хлынула через край, и нет в мире сил, которые могли бы воспрепятствовать нам в нашем святом порыве. Свободу угнетенным братьям! Свободу, свободу, свободу!

Гавриилу долго аплодировали и долго улыбались. Растроганные дамы утирали слезы, убежденные старцы прочувствованно жали руку. Полковник Измайлов лично пожелал чокнуться и поблагодарить, и весь остаток обеда Олексин ощущал себя в центре внимания, разделяя славу с тем, ради которого и затеяли весь этот обед.

Как только встали из-за столов, Гавриила отозвала хозяйка:

– С вами жаждут познакомиться.

Олексин покорно двинулся за хозяйкой, плавно плывущей мимо гостей, расточая на ходу улыбки. Они прошли в маленькую гостиную, где одиноко сидел рано полысевший худощавый мужчина лет тридцати со странным немигающим взглядом бесцветных и равнодушных глаз.

– Рекомендую, господа: поручик Олексин Гавриил Иванович – наш гость из Петербурга князь Насекин. А меня извините: святые муки хозяйки.

Хозяйка выплыла. Олексин сел, с трудом выдерживая остановившийся на нем взгляд.

– Приятно познакомиться с идейной жертвой массового национального помешательства. – Голос у князя был под стать взгляду: без цвета и глубины.

– Да, я стремлюсь в Сербию, – с некоторым вызовом сказал Гавриил.

– Позвольте поинтересоваться причиной?

– Полагаю, что Сербия нуждается в офицерах.

– Добавьте: в русских офицерах. А в идеальном случае – в русских солдатах под командованием русских офицеров.

– Что же, защита угнетенного народа есть благороднейший долг каждого честного человека.

Князь чуть заметно улыбнулся:

– Отчего же вы не стремитесь на Кавказ или к киргизам? Поднимайте восстание во имя свободы горцев или номадов – честь вам и хвала. Какая, в сущности, разница между деяниями генерала Кауфмана и деяниями Мегмет-паши? Нет, вы почему-то скачете именно в Сербию, потрясая мечом, как архангел Гавриил... Извините за каламбур, не хотел вас обидеть.

– Мне нет дела до горцев, номадов и прочих инородцев, – чувствуя, что начинает злиться, и злясь от этого еще больше, сказал Гавриил. – Иное дело Сербия, Черногория или Болгария: это наши братья и по крови, и по вере. Таков наш долг перед лицом Европы, наконец.

– О, Россия, Россия, влюбленный паж Европы! – тихо и зло рассмеялся князь. – Вероятно, мы чудовищно юны и не желаем замечать, что предмет нашего восторга стар и безобразен. Что у него вставные зубы Бисмарка и накладной лондонский парик. Что Европа давно уже подбеливается новейшей философией и румянится площадными революциями темпераментных галлов. А мы смотрим на эту хитрую, поднаторевшую в плутнях старуху восторженными глазами, почитаем за великое счастье всякое небрежное ее одобрение и ради этого готовы подставить свой славянский лоб под любую пулю.

– Не понимаю вашего сарказма, князь, – сдержанно сказал Олексин. – Мы такие же дети Европы, как и все прочие европейские народы.

– Вы заблуждаетесь, Олексин; исторический парадокс заключается в том, что о нас вспоминают тогда, когда начинают печь каштаны. Так что не обожгите руки, друг мой. А пуще того, не подпалите крылья своей благородной идее.

Разговор этот весьма не понравился Гавриилу. Он хотел бы забыть его, изгладить из памяти, но забыть князя так просто не удавалось. Всю дорогу домой он внутренне спорил с ним, искал злые и убедительные аргументы и никак не мог избавиться от цепкого взгляда пустых немигающих глаз.

– Вас ожидают, Гавриил Иванович.

Олексин, как всегда, пришел поздно и не хотел встречаться с хозяйкой, но она бежала к дверям на всякий стук.

– Кто?

– Не знаю, только давно ждут. Они там, в гостиной, чай пьют.

В гостиной у самовара сидел Захар. Увидев Гавриила, торопливо поставил чашку, вскочил и вытянулся во фронт, хотя в армии никогда не служил и фронту не обучался.

– Здравия желаю, Гаврила Иванович!

– Здравствуй, Захар. Случилось что-нибудь?

– Никак нет.

– Ты из Смоленска или из Высокого?

– Ах, про дом вы. – Захар усмехнулся. – Так ведь ушел я, Гаврила Иванович. Как говорил вам тогда, так и ушел. И сороковин не дождался. Господи, спаси и помилуй!

– Да ты садись. – Гавриил сел напротив, и обрадованная хозяйка тут же поставила перед ним чашку. – И где же ты теперь? Помнится, в Малороссию собирался или даже в Сибирь.

– До Сибири далеко, а в Малороссии пыльно, – улыбнулся Захар. – Решил было в Москве счастья попытать, извозом заняться. Дело знакомое, и в лошадях понимаю. Да только... – Он усмехнулся, покрутив кудлатой головой. – Народ московский – не приведи бог ночевать по соседству. Тому дай, этого приласкай, того обмани, а иного и во двор не пускай – вот какая тут карусель. Не умею я так-то, да и не по мне все это, Гаврила Иванович.

– Привыкнешь. Мужик ты оборотистый и грамотный.

– Да, газетки читаем, – не без самодовольства подтвердил Захар. – Как турка-то злобствует, Гаврила Иванович!

– Делом, делом надо заниматься, Захар! – резко сказал Олексин: ему не хотелось поддерживать эту тему.

– Так ведь о том-то и речь, для того-то и жду, – понизив голос, сказал Захар. – Не может терпеть душа православная, Гаврила Иванович, не может и не должна. С тем и побеспокоил вас, и если бы разговор мне уделили, премного бы вам благодарен был.

– Пойдем ко мне. – Гавриил встал. – Спасибо за чай.

Они прошли в комнату, сели и закурили. Гавриил ждал, но Захар, как видно, еще собирался если не с мыслями, то с духом. Похмурил брови, колупнул в пышной, под купца, бороде, откашлялся:

– Был я, значит, в Комитете, когда вас искал. Расспросил все, порядок узнал и написал прошение, поскольку бумаги при мне.

– Какое прошение?

– Касательно Сербии, – важно пояснил Захар. – Послужить хочу святому православному делу.

– Воевать, что ли, собрался?

– Воевать – это как придется. Трудов не боюсь, сами знаете. Стрелять умею – вас же учил. Вилами ворочал, думаю, и штыком управлюсь. Одобряете?

– Нет, – решительно сказал Гавриил.

– Правильно, – неожиданно улыбнулся Захар. – Затем и пришел.

– Сербии нужны офицеры. Солдат у нее хватает.

– Ну, офицер без денщика тоже не много навоюет, – несокрушимо улыбался Захар. – Вы-то едете? Или передумали?

– Еду. И, вероятно, скоро.

– Значит, денщик понадобится? – Захар вдруг встал и старательно вытянулся. – Рад стараться, ваше благородие! Бери ты меня, Гаврила Иванович, бери, право. А то ведь один уеду – себе на неудобство да и тебе без пользы. Ну, по рукам, что ли, ваше благородие?

3

Варя жила теперь в Высоком. По ее распоряжению мамину спальню закрыли на замок, ключ она взяла себе и заботливо следила, чтобы всё, вся жизнь дома была как прежде. Бродила по дому, отыскивала любимые мамини вещи и, как сойка в гнездо, сносила их в мамину комнату. И даже завела дневник: «Десять дней без мамы. Уехал Гавриил. Двенадцать дней без мамы. У Наденьки жар, болит животик. Наверно, объелась пенок: весь день варили варенье...»

Она боялась возвращения в Смоленск не потому, что мамы больше не было, – она привыкла жить одна и ценила свою независимость. В Смоленске она позволила себе забыться. Она с ужасом, до жара, ощущала тот вечер: жесткие усики, что касались ее щеки, руки, скользившие по ее платью, порывистое мужское дыхание на своей шее, которую она – она сама! – потеряв голову, оголила и подставила ему! Варя до сих пор слышала треск кнопок, что медленно одну за другой расстегивала тогда, вспоминала свое постыдное тайное желание, чтобы он коснулся ее груди, представляла, как изворачивалась в его объятиях, чтобы случилось это, и задыхалась от мучительного стыда. Но самым горьким, самым ужасным было сознание, что именно в то время, когда она, забыв о девичьей скромности, таяла в руках мужчины, мама уже лежала безгласная и недвижимая. Этого Варя не могла себе простить, этого нельзя было прощать. Это не было ни грехом, ни проступком: это ощущалось как преступление и как преступление ожидало не покаяния, а возмездия.

Отец жил здесь же, но, как всегда, на своей половине, и Варя его почти не видела. В сумерки он гулял по саду, чай пил с детьми, но завтракал и обедал один. Каждое утро ему седлали лошадь: старик выезжал на прогулку в полном одиночестве, окончательно став нелюдимом.

После завтрака Варя с младшими ходила в церковь: семья не была религиозной, но церковь посещала. Теперь к этому прибавилось кладбище: после службы они шли к могилке, клали свежие цветы, поливали дерн. Памятник – отец приказал, чтобы был простой мраморный крест – еще не привезли, могилка выглядела совсем деревенской: цветы да зелень. Ограду не ставили, только Иван врыл скамьи по обе стороны холмика.

Хлопот у Вари хватало: Захар ушел – и все свалилось на ее плечи. Еще при маме начали перестраивать флигель, завезли железо, и теперь вновь началась работа, и громкий перестук молотков будил их по утрам. Неожиданно привезли дрова – еще Захарово распоряжение, –

Варя осталась присмотреть и в церковь опоздала. Пошла не в церковь, так как служба кончилась, а к маме. Дети уже возвращались – Варя встретила их на мостике через речку, – и на холм к сельскому кладбищу ей пришлось подниматься одной. Шла она не дорогой – вокруг, – а напрямик, через кусты, минуя старую ограду, петляя среди бедных, на отшибе, могил. Поднялась наверх, вышла из-за кустов и остановилась: у могилы сидел отец.

Он сидел согнувшись, оперев локти в колени и закрыв лицо руками. Варя хотела тихо уйти и уже начала отступать к кустам, но плечи старика жалко, потерянно задрожали, и Варя, поняв, что он одиноко и покинуто плачет, ощутила вдруг такую взрослую жалость, что бросилась к нему, обняла и прижалась.

– Кто? – Отец торопливо отер слезы, и в этой торопливости тоже была какая-то жалкая и беспомощная старческая суета. – Ты? Зачем тут? Зачем?

– Батюшка, милый мой батюшка! – всхлипнув, зашептала Варя. – Поговорите со мной, откройтесь, поплачьте – вам же легче будет, проще будет, батюшка!

– Это дурно, сударыня, дурно! Подглядывать, шпионить! – Старик сделал попытку подняться, но Варя его удержала. – Каждый имеет право на печаль, каждый. Но не смейте ее навязывать, слышите, не смейте! Это кощунство, да-с!

– Батюшка, я не нарочно. Я шла от речки...

– Вы дворянка, сударыня! – Отец встал, выпрямившись и привычно откинув голову. – Кликушество нам не к лицу. Извольте носить свое горе втайне. Извольте!

На следующий день он уехал в Москву, скупно – сдержаннее обычного – распрощавшись с детьми. И Варе добавился новый грех, а если и не грех, то сладостный повод для искупления. «Что же еще впереди? – горестно вопрошала она саму себя. – Чем ты еще покараешь меня, Господи?» Странное чувство неминуемого возмездия росло и от ощущения некоторой избранности, которую не без гордости чувствовала она. Ее горе было непереносимым, а вот горе остальных довольно быстро отступило на второй план. Младшие тут в расчет не шли, но и старшие уже оправились, вернулись к привычным занятиям и даже позволяли себе смеяться, правда не при ней. Любимейшая Маша, верный и преданный друг, начала музицировать, а порой и петь; Владимир целыми днями бродил с ружьем; Иван с увлечением занимался химией, переселился в садовую сторожку, ставил опыты и являлся к столу с какими-то пятнами на руках; Федор зачастил в деревню, где часами что-то читал терпеливым мужикам, разъяснял прочитанное и в конце концов сам запутался окончательно. Гавриил уехал, а Василий был далеко, в Америке, и она очень жалела, что не может с ним поговорить. Уж он-то, чуткий, как мама, наверное, понял бы ее, уговорил, утешил, убедил, что она ни в чем ни перед кем не виновата, что нет никакого предначертанного свыше возмездия, а есть лишь закономерное стечение обстоятельств. Но поговорить Варя было не с кем, и она молчаливо громоздила в своей душе обвинения против самой себя.

Вечерами они пили чай на террасе за огромным круглым столом. Так было заведено мамой, но сейчас от прежнего веселого чаепития осталась одна форма. Шутить было еще неприлично, шалить младшие не решались, а разговоры плелись плохо, и все скорее отбывали некий ритуал, чем наслаждались семейным общением. Да и не улыбочивая Варя у самовара, сама того не желая, гасила слабые отблески былой непринужденности.

– В город никто не собирается? Мне нужно азотнокислое серебро.

– Зачем тебе серебро? – спросила Маша.

– Хочу вырастить кристалл. Если получится, подарю тебе.

– Лучше бы ты порох выдумал, – съязвил Владимир.

– Это верно: судя по трофеям, тебе нужен собственный пороховой завод.

– Что ты понимаешь в охоте, алхимик!

– Что за тон, Владимир, – нахмурилась Варя. – Иван просто пошутил.

– Мне надоели его ежевечерние шутки.

– Попробуй за озером, – примирительно сказал Федор. – Прошлым летом мы охотились там с Гавриилом.

– А Федя бороду накормил! – радостно засмеялась Наденька.

– Вытри рот, Федор, – строго сказала Варя. – А смеяться над старшими грешно.

– Знаете, а ведь мужики осуждают Захара, – сказал Федор, стряхнув застрявшие в жиденькой бородачке крошки печенья. – И вовсе не потому, что он бросил хозяйство. Нет! Они его за то укоряют, что он мир оставил, общину сельскую, вот что любопытно. Добро бы, говорят, шустряк какой в город бежал или бобыль бобылем, ан нет, основательные уходят, крепкие. Скудеет мир, говорит Лукьян, скудеет. Очень любопытная мысль, очень! Ладно, наш Захар не пример, он человек вольный, но если действительно лучшие элементы сельской общины потянутся в город, деревня пропала. Естественный отбор, господа, что же вы хотите?

Федор витийствовал с наслаждением, но его никто не слушал. Иван давно уже играл с младшими. Маша отсутствующе уставилась в сад. Владимир сердито думал, что завтра же непременно докажет, какой он охотник, а Варя привычно ушла в себя. Семья еще не разлетелась, но единство ее уже треснуло, и таинственные центробежные силы уже подспудно скапливались в каждом ее члене. А Варя, предчувствовавшая и так боявшаяся этого разлета, сейчас позабыла о нем, занимаясь только своей изнурительной внутренней борьбой.

Наутро Владимир ушел задолго до завтрака. Свою собаку, глупую и ленивую, он оставил дома, а взял злую отцовскую Шельму. Он был очень самолюбив и по-юношески обидчив и твердо решил умереть, но без трофеев не появляться. До озера было недалеко, а охотничье раздолье лежало и того дальше: за самим озером, среди бесчисленных протоков, заливчиков, озер и стариц. Поэтому по дороге Владимир не отвлекался, а шел напрямиком, и собака с недовольным видом трусила сзади.

Еще на подходе он спугнул с озера стайку уток: взлетев, они сели на глубокую воду. Рассчитывая, что утки вернутся в тихую, заросшую белыми кувшинками заводь, Владимир осторожно залез в кусты и притаился, уложив собаку и изготовив ружье. Добыча была рядом, улетать не собиралась и, значит, должна была перебраться на привычное кормное место.

Топот послышался раньше, чем глупые птицы подплыли на выстрел. Владимир выглянул: по заросшей прибрежной дороге неспешно рысила легкая рессорная коляска, за кучером виднелись раскрытые зонтики.

– Тетушка, это здесь! Я узнала место!

Кучер придержал, женщина соскочила с коляски и, подобрав платье, легко побежала к берегу. Собака тихо заворчала, но Владимир положил руку ей на голову и пригнулся сам, уходя за куст.

Молодая женщина в соломенной шляпке с откинутой на тулью вуалеткой стояла у воды, кокетливо подобрав подол; кувшинки были совсем рядом, она, изгибаясь, тянулась к ним, но не доставала. «Видит око, да зуб неймет», – улыбаясь, подумал юнкер. Женщина вдруг быстро сбросила туфли и, подхватив подол, решительно шагнула в воду. Она шла осторожно, гибко балансируя телом, и очень боялась замочить платье, поднимая его все выше и выше. Владимир судорожно глотнул, во все глаза глядя на белые ноги...

– Лизонька! – раздельно, почти по слогам прокричала дама из коляски. – Где ты, душенька?

Лизонька не отвечала. Она тянулась к кувшинке, поддерживая платье одной рукой, но широкий подол свисал, касался воды, и она поспешно подхватывала его обеими руками. И снова тянулась, и снова отдергивала руку, подхватывая непокорное платье.

– Лизонька!

– О господи, – сердитым шепотом сказала Лизонька. – И непременно ведь под руку.

С шумом раздвинув кусты, Владимир бросился в воду. Лизонька ахнула, но платье не уронила. Владимир шел к ней напрямик, срывая по пути кувшинки. Вода доходила ему до

груди, но он не обращал на это внимания и стеснялся смотреть на женщину; так и подошел, свернув голову на сторону. И протянул цветы.

– Благодарю, – медленно сказала Лизонька, по-прежнему держа подол в обеих руках. – Вам придется донести ваш подарок до экипажа. Идите вперед.

В голосе ее было что-то такое, чему Владимир подчинился с восторженной готовностью, и шел к коляске, не замечая ни мокрого шелеста собственной одежды, ни удивленно вытянувшегося лица пожилой дамы. Впрочем, Лизонька предупредила расспросы:

– Тетушка, это мой юный спаситель! Представьте, я тонула, меня тащила тряпина, и если бы не этот доблестный рыцарь...

Она замолчала, выжидательно глядя на мокрого Олексина; в шоколадных глазах метались два бесенка, и Владимир окончательно потерял голову. Неуклюже щелкнув всхлипнувшими сапогами, представился.

– Как же, как же, мы слышаны, очень приятно познакомиться, – закудаhtала тетюшка. – Но боже, мальчик мой, вы же совсем мокрый! Вылейте из сапог воду, и немедленно едем переодеваться.

Владимир покорно вылил воду, сбегал за ружьем, свистнул Шельму и уселся рядом с кучером.

Так случилось познакомиться с Елизаветой Антоновной и ее тетюшкой Полиной Никитичной Дурасовой, а позднее, в доме, и с дядюшкой Сергеем Петровичем, таким же полным, медлительным и восторженным. Дурасовы жили в маленьком поместье одни и чрезвычайно, до хлопотливого восторга обрадовались ему: тут же отправили переодеваться в необъятные дядюшкины одежды, отдали его вещи сушить и гладить, накормили собаку и приказали ставить самовар. И весь дом бегал, хлопал дверями, о чем-то спрашивал и радушно суетился.

Кое-как подвязав, подколол и подвернув дядюшкины панталоны, Владимир завернулся в широчайший халат и прошел в гостиную. Лизонька всплеснула руками и звонко расхохоталась:

– Вы прелесть, Володя! Можно мне называть вас так? Ведь вы спасли мне жизнь и, стало быть, отныне почти мой брат.

В шоколадных глазах опять заискрились бесенята. Владимир нахмурился:

– Мне очень приятно, только зачем вы сказали, будто я спасал вас?

– А если это моя мечта?

– Какая мечта?

– Мечта о том, чтобы меня кто-нибудь спас. Взял бы на руки и вытащил из тряпины.

– Елизавета Антоновна... – У Владимира опять пересохло в горле, как тогда, когда он смотрел из-за кустов на белые ноги. – Поверьте, я бы за вас жизнь отдал...

– Уже? – рассмеялась Лизонька. – Володя, вы прелесть!

Вошел дядюшка. Осмотрел Владимира, остался доволен, похлопал по спине.

– Значит, в юнкерах изволите?

– Да.

– По какой же части?

– Буду командовать стрелками. – Владимир искоса глянул на Лизоньку.

– Замечательно, замечательно! – сказал дядюшка. – Ну-с, к самоварчику, к самоварчику!

За уютным домашним завтраком Полина Никитична прочно взяла разговор в свои пухлые ручки. Мягко расспрашивала Владимира о доме и семье, и Владимир слово за слово рассказал все: о Василии, уехавшем в далекую Америку, и о Варе, ставшей вдруг суровой; об Иване, который – конечно же! – пороха не выдумает, и о Федоре, бесспорно самом умном, но пока непонятом; об отце, что сам себе выдумал одиночество, и о маме. О том, как неожиданно и несправедливо она умерла и как мучительно долго длились ее похороны.

– Бедный, бедный мальчик! – всплакнула чувствительная Полина Никитична. – Нет, нет, мы никуда вас не отпустим. Мы пошлем человека предупредить, что вы у нас гостите.

А Лизонька улыбалась при этом, да так улыбалась, что Владимир уже ничего не слышал и почти ничего не соображал.

4

Второй раз при ежевечерних беседах Федора с мужиками присутствовал посторонний. Беседы эти происходили в сумеречные часы, когда дневная работа заканчивалась, а до сна еще оставался час-полтора. Тогда мужики собирались на одном краю села, бабы на другом, а молодежь на третьем: так повелось с тех времен, когда на эти посиделки захаживала Анна Тимофеевна. Барыню любили и уважали: она была своя, родни не чуралась, работы тоже; эти отношения сельский мир перенес и на детей, о родстве, правда, уже не упоминая. Маша и Иван любили ходить к молодежи. Варя иногда навещала баб, а Федор регулярно появлялся у мужиков, но в отличие от матери слушать не умел, а говорил сам, немилосердно путаясь и запутывая слушателей. Однако мир к нему относился снисходительно и любовно: считали, что барчук малость с придурью.

Посторонний был не из деревни и одет в полугородскую-полугосподскую одежду, носил аккуратную бородку, садился в сторонке, строгал палочки и молчал. Напуганный петербургскими филерами, Федор приметил его сразу, но из конспирации справок наводить не решился. Беседы свои он считал вполне дозволенными, но все же старался думать, что говорит. Да и тему избрал нейтральную – о совести.

– Когда Адам пахал, а Ева пряла, совести не было, – втолковывал он. – Когда двое во всем мире кормятся от трудов своих, им нет нужды лгать, красть или обманывать. Этих грехов нет, а раз их нет, то нет нужды и в совести как понятии. Совесть возникает тогда, когда появляется грех. Конечно, я не имею в виду грех первородный, но парадокс первородного греха как раз и заключается в том, что обманутой была божественная сила, а не человек, вот почему грехопадение и не могло разбудить совести ни в Адаме, ни в Еве. Но вот народились люди, отделились друг от друга, сказали – это мое, а это твое, и человечество сразу же было поставлено перед необходимостью создания внутреннего запрета в душе своей. Поступать по совести стало означать соблюдение законов общежития, придуманных специально для того, чтобы четко обозначить границы дозволенного.

Мужики слушали, ухмылялись, но вопросов не задавали. Но Федора это не огорчало: он получал удовольствие от самого процесса говорения, не думая, зачем, почему и для кого витийствует.

– Какие же это законы, соблюдение которых негласно должна регулировать наша совесть? Если мы рассмотрим их, то увидим, что все они направлены на защиту интересов семьи и основываются на охране частной собственности...

– Завечерело, – перебил староста Лукьян. – Ты уж прости нас, Федор Иванович, а только до дому пора. Заутра до свету в поле.

– Пожалуйста, пожалуйста, – поспешно согласился Федор. – Конечно, конечно.

Мужики расходились, степенно кланяясь. Федор тоже кланялся: ритуал нарушить было неудобно, и он всегда уходил последним. Вчера неизвестный ушел раньше, но сегодня продолжал сидеть, невозмутимо строгая палочку, и это несколько настораживало Олексина.

– Вы очень хорошо говорите, – сказал неизвестный, подходя. – Горячо, увлеченно.

– Не смейтесь надо мной, – вздохнул Федор. – Я жалкий недоучка.

– Ну зачем же? Вы весьма убедительно доказали, что совесть возникла на классовой основе. Не ново, конечно, – а что ново в нашем мире? – но вполне своевременно. Разрешите представиться: Беневоленский Аверьян Леонидович, из породы вечных студентов. Вас, Федор Иванович, помню еще мальчиком, поскольку вырос по соседству, в сельце Борок. Там приход моего отца.

Знакомство состоялось. Аверьян Леонидович был собеседником терпеливым – качество, которое Федор неосознанно ставил превыше всего. Днем они бродили по полям, вечером неизменно появлялись на мужицких посиделках: Федор говорил, а Беневоленский помалкивал, строгая палочки перочинным ножом. Спросил, когда возвращались:

– Почему мужики никогда не задают вопросов, Федор Иванович?

– Вопросов? – Федор пожал плечами. – Вопросы возникают тогда, когда появляется своя точка зрения, Аверьян Леонидович. А для этого нужно время. И терпение.

– Возможно, возможно. – Беневоленский забросил палочку в кусты, чтобы завтра сделать новую: он строгал их постоянно. – Но возможно и иное: у них нет интереса к тому, о чем вы толкуете.

– Но они же слушают.

– А у них нет иного развлечения, только и всего. Предложите им что-либо другое, скажем лекцию о началах геометрии, – они будут слушать и это с теми же ухмылками. А вот если вы коснетесь, допустим, землепользования или налоговой системы...

– Извините, я не занимаюсь политикой.

– Занимаетесь, Федор Иванович, занимаетесь, только – в дозволенных пределах. Мы чрезвычайно любим толковать о политике от сих до сих, будто штудлируем учебник.

Федор был слегка уязвлен, но счел за благо перевести разговор. Расстались, уговорившись встретиться, но на другой день с утра зарядил дождь, и Федор пригласил Беневоленского к себе.

– Нас свел случай, которому я чрезвычайно признателен, – напыщенно сказал он, представляя нового друга Варя и Маше.

Федор немного волновался по поводу этого знакомства и поэтому утратил вдруг живость и непосредственность. Ему казалось, что Варя будет недовольна, что Маша непременно скажет какую-либо бестактность, а сам Аверьян Леонидович обязательно растеряется, попав в чуждую его взглядам и воспитанию дворянскую гостиную, и сделается либо развязным, либо робким. Однако страхи его оказались напрасными: Беневоленский вошел в их дом столь же спокойно, как вошел бы в любой иной. Это был его принцип, его стиль, о чем Федор, естественно, не догадывался.

– Случай есть пересечение двух причинных рядов, – улыбнулся Аверьян Леонидович. – И одним из этих причинных рядов было мое огромное желание быть в числе ваших знакомых.

– Это правда или комплимент? – строго спросила Варя.

– Я всегда говорю правду. На худой конец – молчу.

– И часто вам приходится молчать?

– Увы, мир так несовершенен, Варвара Ивановна.

– И что же вы собираетесь предпринять для его усовершенствования?

– Вопрос настолько русский, что мне хочется расхохотаться. Ни в одной европейской стране он не прозвучит даже в шутку: там заботятся прежде всего о себе, потом о семье и никогда – о мире.

– Вы часто бывали в Европе? – Варя не поддерживала разговор, а словно вела допрос.

– Я год прожил в Швейцарии, в Женеве.

– Целый год! – вздохнула Маша. – А почти совсем не старый.

Невозмутимо отошла к окну и уселась там с книгой. Это прозвучало так по-детски, что даже Варя улыбнулась:

– Прошу вас чувствовать себя как дома и не обращать внимания на детей.

Маша на это никак не отозвалась. Она всегда была склонна к созерцанию, любила прислушиваться к своим неторопливым, покойным мыслям. За обедом вдруг каменела, не донеся ложку до рта. Мама в таких случаях говорила: «Машенька слушает, как травка растет». После похорон эта привычка вернулась к ней с новой силой. Маша часами могла стоять у окна, глядя

в одну точку, обрывала на полуноте игру, замирая с поднятыми для аккорда руками; долго не шевелясь лежала в постели, разглядывая, как медленно светлеет потолок, как нехотя ползет в углы тьма. Маша словно всматривалась в себя, внимательно и сосредоточенно наблюдая, как растет и наливаются ее тело, как из глубин выплывают темные силы и смутные желания. Она совсем не боялась ни этих сил, ни этих желаний, она верила, что они прекрасны, и берегла их для чего-то очень важного и ответственного, что непременно должно было войти в ее жизнь.

Федор и Беневоленский играли в шахматы, а Маша по-прежнему сидела у окна, иногда отрываясь от книги и слушая то ли их разговор, то ли саму себя. Беневоленский часто поглядывал на нее: ему нравилась эта задумчивая, по-крестьянски крепенькая – копия мамы – девушка с детскими губами.

– Что вы читаете, Мария Ивановна?

Маша медленно повернула голову, долгим взглядом посмотрела прямо в глаза и не ответила. Федор улыбнулся:

– Ее надо спрашивать три раза кряду. Что ты читаешь, Маша? Что ты читаешь, Маша? Маша, ответь же наконец, что ты читаешь?

– Я читаю книгу, а ты играешь в шахматы, – со спокойным резонансом ответила Маша.

Дождь зарядил на неделю. Беневоленский приходил каждый день и скоро подружился со всеми, кроме Владимира, который все еще где-то гостил. Даже Варя начала улыбаться и слушать рассказы о Швейцарии, а Иван доверил ему свои опыты, и они вместе оглушительно взорвались. В сторожке вылетели рамы, собаки подняли лай. Химиков дружно ругали, и это окончательно сблизило Беневоленского с осиротевшим полудетским семейством Олексиных.

Владимир приехал, когда вся семья азартно заделывала прорехи в сторожке, даже Варя стояла тут же.

– Я познакомился с чудными людьми! – выпалил Владимир, едва соскочив с чужой коляски. – С изумительными, прекрасными людьми! Послезавтра они приедут к нам с визитом! Алхимик взорвался?

– Где твои трофеи, Соколиный Глаз? – весело спросил Иван.

– Будут трофеи, Иван Иванович, все будет! – прокричал Владимир и убежал переодеваться.

Вернулся он в прекрасном настроении: беспричинно смеялся, пел, перестал обижаться и стремился всем помочь. И очень беспокоился о достойном приеме гостей:

– А что на обед, Варя? А ром у нас есть? Сергей Петрович любит после обеда скушать рюмочку рома.

– Ром не кушают, – привычно поправила Варя. – И вообще избегай этого слова – оно шипит.

– Ну, видела бы ты, как он смакует! – с восторгом воскликнул юнкер. – Ну именно – кушает, понимаешь?

– Вкушает.

– Господи, а вина-то хватит? Вдруг Федя все выпил с этим поповичем?

– Как ты сказал? – нахмурилась Маша. – Ты очень гадко сказал.

– Сорвалось, Машенька, просто сорвалось!

– Влюбился, – сказала Варя, когда Владимир убежал. – Нет, Маша, он определенно влюбился там.

– Ну и прекрасно. Влюбиться – это прекрасно.

– Только не нам, – вздохнула Варя. – Мы, Олексины, влюбляемся очертя голову и на всю жизнь.

Гости приехали к обеду. Варя беспокоилась за этот обед, потому что впервые принимала и боялась что-либо упустить. Кроме того, она подозревала, что ей не удастся занять гостей умным разговором, и ради этого пригласила Аверьяна Леонидовича.

– Варя, милая, ты все испортила! – в отчаянии кричал Владимир. – Он же вести себя не умеет, он же из сельских попиков!

Однако Беневоленский вел себя безукоризненно, чего никак нельзя было сказать о самом Владимире. И куда девалась его обычная непосредственность: он то мрачно молчал, уныло глядя в тарелку, то начинал говорить и говорил слишком долго и громко. При этом он много пил, а Варя не решалась остановить его, страдала и с огромным облегчением встала из-за стола.

Дамы пили кофе в гостиной, детей отправили гулять, а мужчин Владимир увел курить на отцовскую половину: там был неплохой погребец, про который Варя запомнила. Гремел бутылками и восторженно кричал:

– Сергей Петрович, дорогой, вот настоящая ямайка! Господа, р-рекомендую!

Крохотная чашечка пряталась в пухлой ручке Полины Никитичны, и Маша очень внимательно следила, удастся ли почтенной даме дотянуться до кофе. Любопытство было безгрешным: польщенная приглашением разделить дамское общество, Маша пребывала в отменном настроении, и гости ей нравились. Особенно Елизавета Антоновна; ее Маша разглядывала осторожно, но внимательно и нашла, что в такую можно влюбиться именно очертя голову, по-лексински.

– Как же вы справляетесь одна? – поражалась Полина Никитична. – Господи, такая семья!

– У меня хорошие дети, – улыбалась Варя.

– Нет, это настоящий подвиг любви и преданности! Подвиг!

– Владимир много рассказывал о вас, – сказала Елизавета Антоновна. – И о вашем американском миссионере, и о сербском подвижнике...

– О Гаврииле, – подсказала Варя, уловив легкую заминку.

– Да, да. Он прелесть, наш юнкер. Скажите, а этот молодой человек – Аверьян Леонидович, кажется? Извините, я скверно запоминаю имена. Вероятно, ваш старый друг?

– Напротив, мы познакомились всего неделю назад. Он прямо из Швейцарии, здесь отдыхает.

Варя сознательно выложила про Швейцарию: кокетливая Лизонька чем-то настораживала ее, и связи их семьи должны были быть безупречными. Кроме того, она сразу поняла, что Володину влюбленность приняла как сельское развлечение, и это было неприятно.

– Он что же, учился там?

– Кажется, по медицине.

– Он очень умен и образован, – сказала вдруг Маша. – И это очень важно, потому что он сын сельского священника.

– Как интересно! – Лизонька с любопытством посмотрела на Машу. – Следует признать, что его способности превосходно подмечены вами.

– Знаете, я лишена сословных предрассудков, – решительно объявила Полина Никитична. – В наше время следует отдавать предпочтение уму и таланту.

– Совершенно согласна с вами, – сказала Варя. – Еще чашечку?

– Благодарствую. Говорят, Бальзак умер от кофе.

– Бальзак умер от гениальности, – улыбнулась Лизонька. – Я где-то читала, что гениальность сжигает человека и все гении умирают молодыми.

– Вероятно, они просто умирают раньше времени, – сказала Варя. – Но нам это, кажется, не грозит? Если не возражаете, я покажу вам ваши комнаты. Чай мы попьем в шесть часов.

Проводив дам, Варя вернулась в гостиную. Маша сидела на прежнем месте, мечтательно уставившись в противоположную стену.

– Зачем ты бахнула про Аверьяна Леонидовича? – недовольно сказала Варя. – Очень им надо знать, кто чей сын.

– Надо всегда говорить правду, – отрезала Маша. – В мире и так слишком много лжи.

– Или молчать. Особенно когда разговаривают старшие.

Маша недовольно повела плечиком, перебросила косу на грудь, потербила ее и надулась.
– Прости, – улыбнулась Варя. – Просто мне не нравится эта Елизавета. По-моему, она злючка. Пойду-ка я посмотрю, что там подельвают мужчины.

Она пришла вовремя: мама недаром говорила, что женское сердце – вещун. Красный, взлохмаченный Владимир покачивался перед Беневоленским и кричал:

– Вы забываетесь, милостивый государь! Да! Забываетесь!

– Я не дам вам больше ни глотка, – негромко говорил Аверьян Леонидович. – Вы непозволительно пьяны.

– А как вы смеете? Да! Как вы смеете мне ук-казывать? Кто вы такой? Вы штафирка! Шпак! А я – военный!

– Пусть пьет, – благодушно улыбался тоже изрядно хвативший Федор. – Напьется – уснет, а мы будем говорить. С Елизаветой...

– Не смей о благородной женщине! – кричал юнкер.

В кресле уютно спал Сергей Петрович, изредка морщась от громких воплей. Варя сразу поняла, что уговорами действовать бесполезно.

– Федор и Владимир – в баню! – резким, как у отца, голосом скомандовала она. – Чтоб к чаю были трезвыми! Позор! Федор, выведи его, или я кликну людей.

– Идем, возлюбленный брат мой, – сказал Федор. – Идем, идем.

– Я – офицер! – объявил Владимир в дверях. – Я презираю шпаков.

Братья вышли, с грохотом скатившись по лестнице. Варя робко глянула на невозмутимого Беневоленского и почувствовала, что краснеет.

– Бога ради, извините его, Аверьян Леонидович. Он не ведает, что творит.

– Господь с вами, Варвара Ивановна, – улыбнулся Беневоленский. – Молодо-зелено. Что нам со старичком делать? Оставить в кресле?

– Я пришлю их кучера, пусть отведет в спальню.

Они спустились с лестницы и, минуя комнаты, сразу вышли в сад. Пройдя немного, Варя вдруг остановилась и взяла Беневоленского за руку.

– Это возмездие, Аверьян Леонидович.

– Что? – не понял он.

– Это возмездие, – убежденно повторила она, глядя на него странными расширенными глазами. – Вы верите в возмездие?

– Не стоит принимать близко к сердцу обычную юношескую глупость, – сказал он, помолчав. – Все естественно, все закономерно, и все очень просто. Не ищите предопределений там, где их нет.

– Да, да. – Она грустно вздохнула. – Первый причинный ряд, второй причинный ряд. Все можно объяснить логически в наш просвещенный век, только – зачем? Ах, как было бы покойно и просто жить, если бы все действительно поддавалось объяснению.

– Вас тревожит что-то определенное или некий мираж?

– А ведь все мы, в сущности, жертвы слепого случая, – не слушая, продолжала Варя. – Кто родился, когда, зачем – все до нелепости случайно. Если бы мой отец не встретил мою маму, я бы не родилась вообще, никогда бы не родилась. А ведь могла бы родиться не я, а какая-либо другая девочка или мальчик, даже если предположить закономерность во встрече моих родителей, потому что... – Она запнулась, но мужественно продолжала: – Потому что все решает одна ночь. Понимаете, одна ночь – это же какая-то сплошная нелепица, изначальное отсутствие какой бы то ни было закономерности, игра. Но если это так, если бездушной природе все равно, то зачем тогда я? Почему я – именно Я и для чего Я – это я? Но раз нет на свете ответа, раз «я» – элемент стихийной бесполовой случайности, тогда я свободна перед любыми законами, потому что и законы-то приняты не для меня: я же волею стихий оказалась

в сфере их действия. Значит, каждый – за себя и ради себя? Значит, все мы кирпичики, из которых ничего не сложишь?

Варя говорила быстро, не подыскивая слов, а будто вставляя в речь уже готовые словесные сочетания. Беневоленский сразу уловил это, тут же про себя нарек ее начетчицей и сказал, пряча насмешку:

– Однако складывают, Варвара Ивановна. И семьи, и народы, и государства.

– Да, вы правы, складывают. Складывают, следовательно, есть состав, скрепляющий нас. И состав этот – высшая идея, предопределяющая жизнь каждого и регулирующая, осмысленно направляющая ее по каким-то непреложным и непостижимым для человека законам.

– Вы имеете в виду Бога?

– Бог – это форма, то есть доступный нам способ объяснения непонятого. Сегодня это Бог, завтра еще что-то: формы могут меняться. А я говорю о существе, которое измениться не может, ибо это и есть данность.

«Нет, она не начетчица, – подумал он. – Просто в этой головке все перемешалось, а потом подошло на женских дрожжах и теперь лезет через край, как опара из горшка. И смех и грех...»

– И у вас есть доказательства этой данности? – вежливо поинтересовался он.

– Не у меня, Аверьян Леонидович, у жизни. Например, любовь. Почему вдруг мужчина, ничего еще не осознав, начинает испытывать страстное, непреодолимое влечение именно к этой женщине, хотя рядом подчас и лучше, и красивее, и умнее, и изящнее? Почему женщина, скромная, нравственная, внезапно влюбляется в весьма ординарного мужчину, который зачастую не только не лучше, но и просто намного хуже окружающих? Причем влюбляется настолько, что готова забыть и скромность и нравственность – все готова забыть! У вас есть объяснение этому? Нет, а у меня есть: предопределение. Но предопределение немислимо без возмездия, Аверьян Леонидович, немислимо, ибо предопределение и возмездие суть две стороны одной медали. Я нарушаю нечто непонятное мне, нарушаю неосознанно, не ведая, что творю, но наказание наступает неотвратимо и последовательно, причем в формах самых нелогичных и незакономерных, как кажется нам, неразумным муравьям. Разве вы сами не можете привести подобных примеров? Разве понятие несчастной любви не есть следствие прегрешения и наказания? Разве...

– О любви говорите, а там чай стынет, – недовольно сказала Маша.

Она стояла на повороте садовой дорожки, теребя переброшенную на грудь косу. Беневоленский рассмеялся:

– Маша, вы – чудо! Извините, что я так запросто, но вы такое прекрасное доказательство абсурдности всяческих мрачных догм, что по-иному вас и не назовешь.

Подхватив юбку, Варя быстро пошла к дому. Напряженно выпрямленная спина ее выражала глубочайшее презрение и, как вдруг показалось Аверьяну Леонидовичу, глубокую женскую обиду. Он смущенно покашлял и двинулся следом, а Маша, серьезно глядя на него, ждала, пока он подойдет. А когда он поравнялся с нею, сказала очень решительно:

– О любви не смейте говорить, слышите? Ни с кем!

И опрометью бросилась в дом, высоко, по-детски взбивая коленками подол легкого платья.

За чаем все весело подтрунивали над Федором: после бани он постриг бороденку, и клинышек ее торчал, как запятая. Дети прыскали в ладошки, да и взрослые с трудом сдерживали смех, а Федор сердился.

Владимир к столу не вышел, сочтя за благо отоспаться. А слегка помятый Сергей Петрович пришел, чуточку запоздав, и благодушно подремывал в кресле.

– У вас чудно, чудно! – восторгалась Полина Никитична. – Удивительно ароматное варенье и покоряющая непринужденность.

– Ваши комплименты, тетушка, несколько напоминают перевод с иностранного, – улыбнулась Лизонька.

– Я от чистого сердца, голубушка Варвара Ивановна. От чистого сердца!

– Я так и поняла, Полина Никитична, – серьезно сказала Варя. – У нас сегодня день открытых сердец.

– Прекрасная мысль, – подхватила Лизонька. – Открытые сердца – редкость, не правда ли, Аверьян Леонидович? Что это вы примолкли, как побритый... О, простите, Федор Иванович, я оговорилась. Я хотела сказать – как прибитый.

– Я понимаю, это тоже перевод, – проворчал Федор, покраснев.

Он побаивался смотреть на Лизоньку, а если и поглядывал, то тогда лишь, когда был уверен, что она этого не заметит. А так как смотреть на нее ему очень хотелось, то он все время боролся с собой и мрачнел еще больше.

– Ваше сердце не пытались сегодня открыть, Аверьян Леонидович?

– Оно у меня всегда открыто, Елизавета Антоновна, – нехотя отшутился Беневоленский. – Причем настезь: там всегда сквозняк.

– Смотрите же не застудите его, ветреный мужчина.

– А я забыла во дворе книгу. – Маша внезапно вскочила.

– Успеешь взять потом, – сказала Варя.

– Успею, но она отсыреет, – резонно пояснила Маша и вышла.

– Очень славная девочка, – заметила Полина Никитична. – Такая непосредственность – просто прелесть! Она где-нибудь училась?

– Машенька закончила Мариинскую гимназию. Я предпочла бы пансион, но она мечтает о курсах.

– Фи! Эти современные курсы...

– ...готовят синих чулков, – подхватила Лизонька.

– Курсистки курят, – сказал проснувшийся Сергей Петрович. – Это мило, но как-то не очень привычно.

– Тянет похлопать по плечу и сказать: «Нет ли у вас папиросочки, любезная?» – снова добавила Елизавета Антоновна. – Некоторые женщины ценят и такой знак внимания, дядюшка, так что хлопайте смело!

После чая хозяева предложили осмотреть датских гусей, заведенных еще при маме: просто пришлось к слову. Варя, призвав на помощь Ивана, давала пояснения, гости вежливо возторгались, скрывая зевоту, и Беневоленский постарался поскорее отстать. В одиночестве бродил по саду, не желая признаваться даже в мыслях, что ищет Машу. Но Маши нигде не было. Аверьян Леонидович загрустил и направился в свой Борок.

– Вот вы где, оказывается!

Беневоленский нехотя приладил улыбку, узнав Лизоньку.

– Размышляете в уединении?

– Просто иду домой. В соседнее село.

– А я рассчитывала, что именно вы покажете мне сад.

На «вы» был сделан нажим. Аверьян Леонидович встретился с шоколадными глазами, отвел взгляд. В конце аллеи мелькнула фигура. Он не узнал, но догадался:

– Федор Иванович, пожалуйста сюда!

Федор, помедлив, вылез из-за куста, как-то боком подошел.

– Думается, Елизавета Антоновна, что Федор Иванович куда полнее ознакомит вас с садом, нежели я. Честь имею.

Поклонился и быстро пошел к воротам. Лизонька прикусила губку, глазки ее сразу потеряли ласковую лукавость, но рядом вздыхал Федор, и Елизавета Антоновна постаралась вернуть на место лукавость, и улыбку, и завораживающий шоколадный блеск.

– Ваш друг попросту скучен, Федор Иванович.

– Скучен? – Федор не отрываясь смотрел на нее, соглашался с каждым ее словом и глупел на глазах. – Да, да, конечно!

– Ведите меня в самое таинственное место. Ну?

Тревожно ощущая близость красивой женщины, Олексин шел напряженно, пребывая в состоянии непривычного блаженства. Он всегда сторонился женского общества, не имел опыта в обращении с дамами и готов был лишь с восторгом исполнять любые капризы. Лизонька сразу поняла это и уже плохо скрывала досаду: она не любила легких побед.

Беневоленский миновал ворота и остановился: по тропинке вдоль ограды шла Маша. Он заулыбался – не ей, а самому себе, своему вдруг засиявшему настроению, – но Маша нахмурилась и сказала:

– Долго же вы прощались.

– Значит, вы ждали меня?

– Конечно, – очень серьезно подтвердила Маша. – Сначала я сердилась, а потом мне надоело сердиться и вот и все. Долго сердиться, оказывается, скучно.

– На что же вы сердились?

– Знаете, Аверьян Леонидович, мне она сначала очень понравилась, а потом сразу разочаровалась. Может быть, я непостоянная?

– Просто вы умная девочка и разбираетесь в людях куда лучше, чем ваши братья.

– Девочка, – недовольно повторила Маша. – Интересно, до какого возраста человека будут называть девочкой? Пока он не состарится?

– Если позволите, я буду называть вас так... ну, скажем, до вашего замужества.

– Это уже срок, – сказала Маша. – Потерплю. Но за это вы придете к нам завтра, да? И не будете больше флиртовать с этой кокеткой. До свидания.

– До свидания, Машенька. До завтра!

Он смотрел, как она быстро идет по тропинке, ждал, что оглянется, но Маша не оглянулась. Но Беневоленский не перестал улыбаться, шел через поле, сшибал тросточкой головки чертополоха и радостно думал, что готов влюбиться без памяти. Без всяких желаний, без планов на будущее, без каких бы то ни было расчетов на настоящее – просто влюбиться, как влюбляются только в детстве. И знал, что так и будет, что он непременно влюбится, и от этого хотелось петь.

Федор вообще был склонен воспринимать все буквально, а в состоянии восторженности и подавно, и поэтому повел Лизоньку в старый сад – место, с детства считавшееся таинственным. Сад этот начинался за цветниками на пологом спуске к реке, он зарос и одичал, и под старыми грушами росли грибы. Мама любила его и не велела рубить: здесь рассказывались сказки, здесь ловили стрекоз и ежей, здесь проходило самое первое детство. Корявые старые деревья были полны воспоминаний, но на Лизоньку произвели впечатление удручающее.

– Не сад, а декорация к Вагнеру.

– Да, да, прекрасно! – опять невпопад сказал Федор. – Здесь много груш. Они одичали, но в детстве были вкусными.

Он не знал, о чем говорить, и говорил о том, что Лизоньке было неинтересно: о детстве, о маме, о том, как однажды забрался на грушу, не мог слезть и как Захар снимал его оттуда. Рассеянно слушая, Лизонька присела на рухнувший ствол, почти с раздражением думая, что темпераментный юнкер забавнее этого заучившегося говоруна, хотя тоже провинциален и неуклюж, как, вероятно, и вся олексинская семья.

– Мне холодно, – резко сказала она, бесцеремонно перебив тягучие воспоминания.

– Холодно? Да, да, сыро. Знаете, неделю шли дожди...

– Так принесите же мне что-нибудь!

– Да, конечно, конечно! – Федор метнулся к дому, но остановился. – А что принести?

– Боже правый, ну хотя бы мою шаль, – вздохнула Лизонька. – Кажется, я оставила ее в гостиной.

В доме уже зажгли огни. Федор, запыхавшись, ворвался в гостиную; здесь сидели старшие и позевывающий, слегка опухший от сна Владимир.

– Шаль! – объявил Федор. – Елизавета Антоновна просила шаль.

– А где же она сама? – спросила Полина Никитична. – Приведите ее, Федор Иванович.

Федор, схватив шаль, молча выбежал. Владимир нагнал его уже в саду, схватил за плечо:

– Отдай. Я отнесу.

– Пусти! – Федор тянул шаль к себе. – Сейчас же пусти, она меня просила, меня...

Владимир был сильнее и имел опыт юнкерских драк. Резко ударив Федора по рукам, вырвал шаль и кинулся в садовые сумерки.

– Елизавета Антоновна! Елизавета Антоновна, где вы?

– Отдай! – Федор немного пробежал и остановился, растирая отбитые руки. – Ну и черт с вами. Глупость какая-то, глупость! – Схватился за голову, пошел назад, бормоча: – Глупость. Какая глупость!

По сумеречному саду, то затихая, то усиливаясь, метался призывный крик Владимира. Из сторожки вышел Иван, увидел бредущего без цели Федора, спросил:

– Что случилось?

– Мы дураки, – сказал Федор. – Не знаю, от природы или вдруг.

– Делом надо заниматься, – назидательно сказал Иван. – Вот я занимаюсь делом, и мне наплевать на заезжих красавиц.

– Он ударил меня. – Федор сел на ступеньку и вздохнул. – Ударить брата – и из-за чего? Господи...

– Володька – бурбон. Он будет бить своих солдат, вот увидишь.

– Елизавета Антоновна-а! – донесся далекий крик.

– Ну зачем же кричать? – недовольно сказала Лизонька, выходя к задыхнувшемуся от криков и беготни юнкеру.

– Елизавета Антоновна! – Владимир бросился к ней. – Я ищу вас, я... Вот ваша шаль.

– Благодарю. – Она набросила шаль на плечи. – Впрочем, хорошо, что вы кричали: я вышла на крики из той мрачной декорации.

– Елизавета Антоновна... – Владимир тербил конец шали. – Я... Я люблю вас, Елизавета Антоновна.

– Так быстро? – улыбнулась она. – Очаровательно.

– Я люблю вас, – зло повторил он. – Я прошу вас быть моей женой. Нет, не сейчас, конечно, сейчас мне не разрешат, а когда закончу в училище и стану офицером.

– Боюсь, что к тому времени я состарюсь.

– Я быстро стану офицером, Елизавета Антоновна. Я попрошусь в действующие отряды на Кавказ или в Туркестан, я не пощажу себя, но сделаю карьеру и приеду к вам в чинах и лентах. Только ждите меня. Ждите, умоляю вас.

– Уговорили, – улыбнулась она. – Авось к тому времени, как вы станете героем вроде Скобелева, умрет мой муж и я обрету свободу.

– Муж? – растерянно переспросил Владимир, выпуская шаль. – Чей муж?

– Мой, я уже год замужем. Вы поражены? Увы, дорогой мальчик, у меня есть старый, знатный и богатый повелитель. А сейчас дайте мне руку – и идем. Уже поздно.

Владимир машинально подал ей руку, молча повел к дому. Лизонька поглядывала на его застывшее лицо и улыбалась. Потом взяла обеими руками за голову и поцеловала в губы. И отстранилась: он не обнял ее, не ответил на поцелуй.

– Не отчаивайтесь, милый мой мальчик, – шепнула она. – У нас еще месяц впереди, мы можем быть счастливы...

– Что? – напряженно переспросил он. – Все равно. Все равно, слышите? Я клянусь вам, клянусь...

Голос его задрожал, он вырвался и бросился в дом, чувствуя, что может разреветься. Елизавета Антоновна вздохнула, оправила шаль и пошла следом. На душе у нее почему-то стало смутно и беспокойно.

Глава четвертая

1

Группа русских волонтеров пятый день жила в Будапеште: австрийские власти задерживали пароход, ссылаясь на близкие военные действия. Добровольцы ругались с невозмутимыми чиновниками, шатались по городу, пили, играли в карты да судачили о знакомых: развлечений больше не было.

Гавриил еще в поезде резко обособился от своих, заметив знакомого по полку: не хотел воспоминаний и боялся, что воспоминания эти уже стали достоянием скучающих офицеров. Он ехал отдельно, вторым классом, да и в Будапеште постарался снять номер для себя и Захара в неказистой гостинице неподалеку от порта. В город почти не ходил, на пристань посылал Захара, обедал один в маленьком соседнем ресторанчике: соотечественники здесь не появлялись, и это устраивало Олексина.

– Месье говорит по-французски?

Около столика стоял худошавый господин. Светлая полоска над верхней губой подчеркивала, что усы были сбриты совсем недавно.

– Да.

– Несколько слов, месье.

– Прошу. – Гавриил указал на стул.

– Благодарю. – Француз сел напротив, изредка внимательно поглядывая на Олексина. – Направляетесь в Сербию?

– Да.

– Сражаться за свободу или бить турок?

– Это одно и то же.

– Не совсем.

– Возможно. Меня интересует результат.

– И что же в результате: победа народа или победа Креста над Полумесяцем?

– При любом результате я вернусь домой, если останусь цел.

– Домой – в порабощенную Польшу?

– Домой – значит, в Россию.

– Месье русский? – Собеседник, казалось, был неприятно поражен этим открытием. –

Прошу извинить.

– Вы затеяли этот разговор, чтобы выяснить мою национальность?

Француз уже собирался встать, но вопрос удержал его. Некоторое время он молчал, размышляя, как поступить.

– Вы избегаете своих соотечественников. Могу я спросить почему?

– Спросить можете, – сказал Гавриил. – Но ведь не ради этого вы подошли к моему столику?

Француз снова помолчал, несколько раз испытующе глянув на поручика.

– Я тоже еду в Сербию. Со мною трое товарищей: два француза и итальянец. И мы очень хотим уехать отсюда поскорее. Скажу больше: нам необходимо уехать как можно скорее.

– И поэтому вы утром сбрили усы?

Француз машинально погладил верхнюю губу и улыбнулся:

– Вы опасно наблюдательны, месье.

– Пусть это вас не беспокоит: я не шпик. Я обыкновенный русский офицер.

– Благодарю.

– Итак, вы хотите уехать как можно скорее. Я тоже. Что же дальше? Насколько я понимаю, вы не прочь объединить наши желания. Тогда давайте говорить откровенно.

Француз улыбался очень вежливо и непроницаемо. Гавриил выждал немного и сухо кивнул:

– В таком случае всего доброго. Как видно, русские вас не устраивают. Желаю удачи в поисках поляка.

– Не возражаете, если я переговорю с друзьями? Пять минут: они сидят за вашей спиной.

– Это ваше право.

Француз вернулся раньше.

– Не откажетесь пересесть за наш столик?

Вслед за ним Гавриил подошел к незнакомцам, молча поклонился. Все трое испытующе смотрели на него, чуть кивнув в ответ. На столике стояла бутылка дешевого вина, сыр и хлеб. Старший, кряжистый блондин, невозмутимо попыхивал короткой трубкой; итальянец, откинувшись к спинке стула, играл большим складным ножом; третий, самый молодой, сидел, широко расставив локти, навалившись грудью на стол, и смотрел на Олексина исподлобья настороженно и недружелюбно. Молчание затягивалось, но Гавриил терпеливо ждал, чем все это кончится.

– Кто вы? – спросил старший, не вынимая трубки изо рта.

– Русский офицер.

– Этого мало.

Олексин молча пожал плечами.

– Я не доверяю аристократам, – резко сказал молодой парень.

– Погоди, сынок, – сказал старший. – Сдается мне, что Этьен и так наболтал много лишнего. Мы спрашиваем вас, сударь, потому, что у нас четыре судьбы, а у вас одна. Право на нашей стороне.

– Поручик Гавриил Олексин. Направляюсь в Сербию и хотел бы добраться до нее как можно скорее. Насколько я понял вашего товарища, наши желания совпадают. Если у вас есть какие-то планы, готов их выслушать.

– Русские волонтеры живут в отелях побогаче. Вам это не по карману?

– Это мое личное дело.

– Наше общее дело зависит от вашего личного.

– Я не знаю ваших дел, но полагаю, что мои дела – это мои дела.

– Он не тот, за кого ты его принимаешь, Этьен, – сказал старший, вздохнув.

– Вы свободны, месье, – сказал парень. – Извините.

– Погоди, Лео, – поморщился старший. – Как знать, может, мы и испечем с вами пирог, а? Предложи офицеру стул, Этьен.

– Прошу вас, господин Олексин. – Этьен усадил Гавриила, сел рядом. – Извините за вопрос, но мы рискуем жизнями, а вы – только временем.

Итальянец со стуком захлопнул нож, по-прежнему не спуская с поручика настороженных темных глаз. Старший сосредоточенно копался в трубке, Лео глядел исподлобья и, кажется, уже с ненавистью.

– Похоже, что я не понравился вашему другу, – сказал Олексин старшему.

– Если вас треснут по башке прикладом только за то, что вы не успели снять шапку, вы тоже станете глядеть на мир недоверчиво.

– Полагаю, что его треснули пруссаки, а не...

– Не совсем так. – Старший раскурил трубку и удовлетворенно затянулся. – Нам бы не хотелось, чтобы о нашем плане знал кто-либо еще.

– Я ни с кем не встречаюсь.

– Сегодня не встречаетесь, завтра захотите встретиться. Нам нужны гарантии.

– Например?

– Слова чести было бы достаточно, я думаю.

Старший посмотрел на товарищей. Итальянец важно кивнул, Лео недоверчиво усмехнулся, но промолчал.

– Достаточно, – сказал Этьен. – Я знаю русских.

– Значит, вы просите в поруку мою честь? Однако она у меня одна, и я хотел бы знать, кому ее доверяю.

– Ишь чего захотел! – сказал Лео. – Нет, я не люблю аристократов.

– Мы не бандиты, – с легким акцентом сказал итальянец. – Не бандиты и не преступники, хотя за нами гоняются по всей Европе. Не знаю почему, но я вам верю так же, как Этьен. Мы парижане, господин офицер.

– Вы парижанин?

– Бои на баррикадах делали парижан даже из поляков. А уж из итальянцев тем более.

– Коммунары? – тихо спросил Гавриил.

Никто ему не ответил. Он понял, что вопрос прозвучал бестактно, но не попросил извинения. Достал папиросы, закурил.

– Вы направляетесь в Сербию? Или дальше?

– В Сербию.

– Сражаться против турок?

– Сражаться за свободу, – поправил Этьен. – В данном случае против турок.

– Доверие за доверие, – сказал, помолчав, Гавриил. – Слово офицера, что о нашем разговоре не узнает никто и никогда.

– Благодарю. – Старший впервые улыбнулся и протянул Олексину тяжелую ладонь. – Миллье. Сынок, попроси еще бутылочку: всякую сделку необходимо sprysnuty, не так ли?

Лео принес бутылку и стакан. Миллье не торопясь разлил вино, поднял стакан:

– Здоровье, друзья. – Привычно отер усы, придвинулся ближе. – Не скрою, сударь, наше положение не из блестящих. Вчера Этьена узнали, подняли шум, он еле улизнул.

– И расстался с усами, – рассмеялся Лео. – Ах, какие были усы! Любое девичье сердце они пронзали насквозь.

– У Этьена было еще кое-что, – сказал Миллье. – Настоящие бумаги. Прекрасные бумаги, подтверждающие не только его усы, но и его кредит.

– И все полетело в огонь, – вздохнул итальянец.

– Есть частное судно, – сказал Этьен. – Хозяин согласен доставить нас в Сербию за определенное вознаграждение, но нужен официальный фрахт и гарантия оплаты в случае захвата или потопления. Короче говоря, необходимы документы.

– Русский паспорт устроит?

– Лучше, чем какой-либо иной. Необходимо оформить фрахт.

– И оплатить проезд?

– Только за вас двоих, – сказал Миллье. – Свой проезд мы оплатим сами.

– Десять дней мы жрем один сыр ради этого, – проворчал Лео. – Меня уже мутит от него.

– И это все? – спросил Гавриил.

– Все, – подтвердил старший, вновь не торопясь, аккуратно разливая вино. – Если вы согласны помочь нам выбраться отсюда, чокнемся и пожелаем друг другу удачи. Этьен вам все растолкует и покажет нужного человека.

– Только издалека, – уточнил итальянец.

– Да, действовать вам придется самому, – сказал Миллье, чокаясь с Олексиним. – Здоровье, друзья. Не проговоритесь, что мы из Парижа, это осложнит дело.

– Зачем же? Я фрахтую судно для перевозки русских волонтеров.

– Это проще всего: русские едут тысячами, власти к ним привыкли.

– За удачу! – громко сказал Этьен, поднимая стакан.

2

Сильные характеры мечтают любить, слабые – быть любимыми. Машенька никогда не думала об этом, а просто хотела любить. Любить глубоко и преданно, отдать любимому всю себя, всю, без остатка, раствориться в нем, в его мыслях и желаниях, стать для него необходимой, как воздух, пройти рядом с ним весь его путь, каким бы он ни был, помочь ему раскрыть свои способности, создать из него человека, окруженного всеобщим благодарным поклонением, и тихо состариться в лучах его славы. Таково было ее представление о великом женском счастье и о великом женском подвиге одновременно. Схема была выстроена и старательно продумана, жизненный путь прочерчен от венца до могилы несокрушимо прямой линией. Дело оставалось за объектом приложения сил.

– Варя, как по-твоему, Аверьян Леонидович талантлив?

Варя проверяла счета. После ухода Захара она решительно соединила в своих руках все хозяйственные нити, словно пыталась на этих вожжах удержать семью.

– Все мужчины талантливы.

– Так уж, так уж все мужчины? Все-все?

– Вероятно, мы понимаем под талантом разное, – сказала Варя, решив, что настала пора изложить собственную теорию подрастающей сестре. – Если ты понимаешь талант, как его понимает толпа, то мера твоя нереальна: в представлении толпы талант есть результат труда, а не его процесс и говорить о нем можно лишь тогда, когда результат этот очевиден. Тогда талант превращается в нечто, напоминающее орденскую ленту, и рассуждать о нем бессмысленно.

– А когда смысленно?

– Зачем вы все переиначиваете русский язык? Такого слова не существует.

– Ну пусть не существует. Но талант-то существует или тоже нет? Вот ты сказала: все мужчины талантливы. В каком смысле ты это сказала?

– Садись. – Варя закрыла расчетную книгу. – Скажи, какая разница между кобылой и жеребцом?

Маша смущенно фыркнула.

– Я не говорю о внешних приметах, – строго сказала Варя. – Я имею в виду образ жизни, способ жизни, что ли. Словом, существо, понимаешь? И вот если по существу, то никакой разницы между жеребцом и кобылой, между волком и волчицей, между бараном и овцой нет. Они одинаково сильны и беспощадны, быстры и жестоки, храбры или трусливы. Природа не сделала никакого существенного различия между полами, ограничившись лишь необходимыми органами.

– Я не хочу слушать про анатомию.

– Никакой анатомии не будет, не бойся. Но скажи, разве ты или я похожи на Федора или Гавриила? Нет, мы иные, а они – иные. У нас не только иная одежда, у нас, женщин, иная психика, манера поведения, образ мыслей, даже представления о жизни. Мы настолько

различны – даже мы, братья и сестры, выросшие в одной семье! – что в пору говорить о двух видах человечества. Мы терпеливее мужчин, нежнее и мягче их, практичнее и... плаксивее.

– Это правильно, – согласилась Маша. – Я иногда могу реветь просто так. Ну, ни с того ни с сего, понимаешь?

– Я много думала над этим, – не слушая ее, продолжала Варя. – Зачем это подчеркнутое явное различие? Ведь для чего-то оно же нужно, оно же необходимо, ведь высшая идея ничего не творит бессмысленно.

– Какая еще высшая идея?

– Ну, природа, пусть так. Ведь если мужчина и женщина столь различны, то и задачи, стоящие перед ними, тоже должны быть различными, ведь правда? Стало быть, если пара животных решает одну и ту же задачу, то пара людей – мужчина и женщина – должна решать две задачи одновременно. Две задачи, понимаешь? А поскольку изначальная эта задача была единой, то ныне... – Варя вдруг замолчала, нахмурила лоб, точно припоминая, как там следует дальше. – Да, ныне это единство стало ее противоположностью. Они решают как бы одну задачу, но с разными знаками, понимаешь?

– Нет, – честно призналась Маша, начиная краснеть. – Ты затрагиваешь очень рискованную тему. Задача у любой пары живых существ одна и та же: продление своего рода.

– Это функция, а не задача, – с неудовлетворением сказала Варя. – Ты бестолкова, Мария. Функция – воспроизведение рода, совершенно верно, не требует доказательств и размышлений. А я говорю о задаче, понимаешь? О предопределении любой жизни: для чего-то она ведь нужна? Нельзя же признать, что все бессмысленно, этак и жить не для чего. Нет, есть смысл в нашем существовании, есть задача, и задача эта различна для мужчины и для женщины, вот о чем я тебе толкую.

– Не сердись, – примирительно улыбнулась Маша. – Я, наверно, примитивное существо.

– Ты просто мало читаешь умных книг. Конечно, можно прожить и так, но зачем же обкрадывать саму себя!

– Ага, значит, ты все это вычитала из Васиных книжек? – спросила Маша. – Хорошо, я не буду обкрадывать саму себя.

– Так вот, о задаче мужской и женской, об общей их задаче, но – с разными знаками, – невозмутимо и заученно продолжала Варвара. – Каково блаженное состояние любой женщины, то, что она называет счастьем? Это покой. Это стремление во что бы то ни стало сохранить статус-кво при некоторых уже сложившихся благоприятных предпосылках. Дайте женщине любимого, детей, семью, достаток – и именно это она станет называть счастьем, именно это она будет охранять от всех бед и случайностей, именно это она будет желать каждый час и всю жизнь. В каждой женщине заложена жажда гармонии: достижение, защита и продление этой гармонии и есть ее задача. Сейчас много говорят, спорят и пишут о женской эмансипации, а мне смешно и грустно. Я смеюсь над наивной попыткой пойти наперекор естеству и горюю, представляя себе, чем мы заплатим за это легкомыслие.

– Чем же? – с некоторым вызовом спросила Маша, ибо считала разговоры об эмансипации очень современными и за это любила саму эмансипацию.

– Разрушением семьи, – почти торжественно изрекла Варя. – Нарушится извечное равновесие полов, перепутаются их задачи, мужчина утратит уважение к женщине, а женщина – к мужчине, и за все расплатится семья. И место высокой любви займет чисто животное влечение мужеподобных женщин и женоподобных мужчин.

– Ты вещаешь, а не говоришь, – с неудовольствием отметила Маша. – Настоящая пифия. Расскажи лучше про мужчин, почему они все поголовно талантливы, а мы нет.

– Я этого не утверждала, – сказала Варя. – Однако для состояния покоя требуется куда меньше душевных сил, чем для активных действий, согласишься. А мужчине свойственна активность точно так же, как женщине – гармония. Войны, политика, интриги, борьба за власть – это

все внешние проявления мужской задачи. Мужчины – возмутители спокойствия, они разрушают гармонию от низа до верха, от гармонии семьи до гармонии государства, разрушают то, к чему стремимся мы, или, наоборот, мы создаем то, что стремятся разрушить они. Борьба мужского и женского начала – вот суть и внутренний смысл жизни. И вот почему мужчины талантливее нас, понимаешь?

– Понимаю. – Маша задумчиво покивала. – Ты навеки останешься старой девой, Варвара.

Варя глянула на сестру с кротким ужасом, будто ждала приговора, знала, что он справедлив, но все же надеялась на помилование. И сразу же опустила глаза, раскрыв заложенную счетами книгу.

– Я знаю.

Она знала, что обречена, но знала про себя. Сегодня сестра сказала об этом, сказала в своей обычной полудетской манере, не вдаваясь в причины, а сообщая результат. Варя очень хотелось заплакать, но она пересилила себя и сказала почти безразлично:

– Володя хочет уехать в Смоленск. Говорит, скучно у нас.

– Прости меня, Варя. – Маша подошла, крепко обняла сестру. – Я сделала тебе больно. Я знаю, что больно, я такая дурная. Наверно, мне надо влюбиться.

– Уж не в Аверьяна ли Леонидовича? – улыбнулась Варя. – Что ж, он всем хорош, только не для тебя.

– Не для меня?

– Не для тебя, – строго повторила Варя, уловив подозрительные нотки. – Он слишком прозаичен для романа и слишком легкомыслен для семейной жизни. Муж без положения, образования, состояния, наконец...

– Варя, о чем ты говоришь? – удивленно спросила Маша, отстраняясь.

– Я знаю, что говорю, – с непонятной резкостью сказала Варя. – Забродила хмельная олексинская кровь, барышня? Обливайтесь холодной водой, делайте немецкую спортивную гимнастику и прекратите чтение любовных романов, пока... пока кнопки не полетели.

– Какие кнопки? Какие романы? Что с тобой, Варвара?

– Поедешь в Смоленск. Немедленно, с Владимиром.

– Ты... ты сама в него влюблена! – крикнула вдруг Маша. – Сама, сама, я вижу, я все вижу!

– В Смоленск! – Варвара туго прижала ладони к запыхавшим щекам. – Я... я не услежу за тобой, чувствую, что не услежу.

– Ты... ты гадкая, – сквозь слезы выдавила Маша. – Гадкая старая дева! – И, уже не сдерживаясь, с громким, детски обиженным плачем выбежала из комнаты.

Она проплакала всю ночь и утром не вышла к завтраку. Варя сказала, что у Маши болит голова, и все расспросы прекратились.

После завтрака, как всегда, пришел Беневоленский. Играл с Федором в шахматы, но был рассеян и проигрывал.

После третьей партии поймал Варю на веранде: она шла в сад.

– В вашем доме сегодня что-то очень тихо.

– Это к отъезду. Лето кончилось, Аверьян Леонидович, наступает пора забот.

– Да, скоро осень, – эхом откликнулся он. Разговаривали на ходу. Варя не оглядывалась, Беневоленский шел сзади.

– Федор тоже уезжает?

– Все уезжают, даже дети. Остаюсь только я. – Она неожиданно обернулась. – А вы? Остаетесь или тоже в отъезд?

– В отъезд, – сказал он. – Вы правы: наступает пора забот.

– В Москву или в Петербург?

– Еще не решил. Когда же прощальный вечер?

– Завтра, Аверьян Леонидович. Жду вас к чаю.

Беневоленский поклонился и пошел к воротам. Варя смотрела ему вслед, а когда он скрылся, поспешно вернулась в дом. Федор разбирал удачную партию, что-то спросил, но Варя, не отвечая, пошла к Владимиру.

Владимир забросил охоту, не ездил к Дурасовым и целыми днями валялся на кушетке. Кажется, тайком выпивал: от него попахивало.

– Ты когда едешь?

– Все равно.

– Может, завтра утром? Я распоряджусь.

– Утром так утром, – безразлично сказал он.

– Возьмешь с собою Машу.

– Машу так Машу.

Теперь следовало уговорить сестру. Уговорить или заставить – Варя была готова и на это. И вошла в Машину комнату решительно, без стука.

Комната была заставлена коробками, раскрытыми чемоданами. Маша, полуодетая и растрепанная, складывала вещи.

– Собираешься?

– Чем скорее, тем лучше.

– Умница. – Варя поцеловала ее. – Завтра утром поедешь вместе с Володей, Машенька.

Ты не сердись на меня?

– Нет.

– Ты выросла из всех платьев, сестричка, – ласково сказала Варя. – Надо новые шить, займись этим немедленно. Рекомендую Донского Петра Григорьевича: Благовещенская, собственный дом. У него хорошие мастерицы.

– Ты очень добра, Варя.

– А в октябре в пансион. Я спишусь с тетей, а в Псков поедем вместе. Хорошо?

– Замечательно.

– Ну и отлично. – Варя еще раз поцеловала сестру, снова почувствовала, как сухо она ей отвечает, но сделала вид, что все в порядке, и вышла из комнаты в самом прекрасном настроении.

Почти силой отправляя Машу в Смоленск, Варя вовсе не стремилась избавиться от соперницы. Аверьян Леонидович был ей не совсем безразличен, то до влюбленности тут было еще далеко. Просто Варя в этом видела наипростейший способ уберечь сестру от мирских соблазнов, разрушить ее еще неосознанное и неокрепшее первое влечение, а затем отправить в Псков под крылышко единственной тетушки и под надзор пансиона. Тогда бы она окончательно перестала тревожиться за ее судьбу и могла бы спокойно заняться младшими. Она шла к цели напрямик, нимало не заботясь о тех, кого наставляла и направляла, а то, что ее слушались, льстило самолюбию и укрепляло в представлении о собственной прозорливой непогрешимости. «Надо быть твердой, – убеждала она сама себя. – Твердой и решительной, только так я смогу уберечь их от греха и возмездия. Только так, но, Господи, как это трудно!..»

На следующее утро Маша и Владимир выехали в Смоленск.

3

Владелец парового катера, с виду чрезвычайно добродушный, а на деле прикрывающий добродушием цепкую жадность австриец, которого осторожно показал Олексину Этьен, согласился предоставить судно на прежних условиях. Быстро сторговавшись о цене и сроках, они направились в контору и здесь встретили неподвиженные осложнения.

– Нужно поручительство, господин Олексин. Вы не подданный Австро-Венгрии.

– Я плачу наличными.

– Да, но не стоимость судна, а только его фрахт.

– Хозяин согласен.

– Таков закон, господин Олексин. Ищите поручителя.

Раздосадованный Гавриил ничего не сказал французам: владелец обещал разыскать поручителя. В поисках его Олексин целыми днями мотался по Будапешту, возвращался поздно усталым и раздраженным.

– Гаврила Иванович, гость у нас!

Захар встретил его у дверей номера с чайником в руке: самоваров в гостинице не водилось. Был вечер. Олексин весь день прождал обещанного поручителя, не дождался и пребывал в отвратительном настроении.

– Гони всех в шею.

– Ни-ни, ни под каким видом! – широко заулыбался Захар. – Гость больно дорогой, не пожалееете.

И распахнул дверь, пропуская поручика. В комнате у стола сидел молодой человек. Увидев Гавриила, встал и шагнул навстречу:

– Ну, думал, не дождусь.

– Васька? – совсем как в детстве, в Высоком, крикнул Гавриил. – Васька, чертушка, откуда?

– Проездом в отечество. – Василий Иванович расцеловался с братом. – Знал, понимаешь, определенно знал, что кто-то из наших непременно в Сербию направится: либо ты, либо Федор, либо, не дай бог, Володька, да боялся, что уж проехали, три дня справки наводил, и представь себе, здесь, говорят, Олексин! Здесь торчит, парохода ждет. – Василий Иванович радостно посмеялся. – Что, саботируют австрийцы? Саботируют, еще как саботируют. Сами же заварили кашу, и сами же препоны волонтерам строят: старая, как сама матушка-Европа, европейская политика.

– Захар, мечи все на стол! – весело приказал Гавриил. – Вина тащи – пировать будем.

– Вина можешь не стараться: не пью.

– Ничего, Василий Иванович, мы сами за тебя выпьем, – приговаривал Захар, собирая на стол. – За тебя да за встречу – с полным удовольствием.

Братья сидели поодаль, коленки в коленки, улыбаясь, разглядывали друг друга.

– Ах, до чего же я рад, что нашел тебя, до чего рад! – сиял Василий Иванович.

Было в нем нечто новое, незнакомое: аккуратно подстриженная благолепная бородка, благолепный взгляд, благолепная говорливость – все в обкатку, шариком. Даже радовался благолепно:

– Ах, до чего же рад я, до чего рад!

– Что же Америка? – спросил Гавриил. – Что же идея твоя?

– Идея? – Василий Иванович вздохнул, медленно провел по лицу, по бороде, словно снимая благолепие, и глаза его сразу точно высохли. – До чего же мы любим идеи. Любим страстно, самозабвенно, истово – до самозаклания на алтаре. Да только идеи не любят нас, вот беда. Может, потому, что они чужие? Немецкие, французские, английские. А где же наши собственные идеи? Почему к ним-то, на одной ниве взращенным, мы с насмешечкой да усмешечкой, а к заграничным – с трепетом душевным, с восторгом неистовым, загодя шапку ломая? Сами себе не верим, привычно не верим, исстари, от татаро-монголов. А что, как поверим однажды? С нашей-то азиатской неистовостью, с нашим-то русским размахом, да все вдруг, все человеки российские, – что тогда? Мир вздрогнет, Гаврюша. Мир переменится, если мы все дружно, как церковь, новую идею воздвигнем.

– Какую же?

– Какую? – Василий Иванович усмехнулся. – Вон Захар над рюмкой мается, пойдем к столу.

Только за столом Гавриил решился сказать, что матери больше нет. Василий Иванович замер, долго сидел не шевелясь. Захар придвинул стакан с вином – по-походному пили, из стаканов, – тронул за руку:

– Вечная память ей, Вася.

Братья встали, выпрямив и без того прямые спины. Помолчали, глядя в стол, пригубили вино.

– Садитесь, – вздохнул Захар. – Знать бы, где упасть бы да когда случится. Мне сестра она единственная, а всю жизнь вместо маменьки была. А вам так сама маменька: родила да вспоила.

– Умные люди утверждают, что законом человеческого общества является не борьба за существование, а взаимопомощь, – сказал Василий Иванович, по-прежнему глядя в стол. – Прекрасная и благородная формула, а мы о ней знали с колыбели. Нет, Захар, мама нас не только родила и вспоила, хотя и этого достаточно для благодарности нашей вечной. Мама нас людьми сделала. И в этом сила наша.

Разговор угас, потом приобрел новое направление: о доме, об отце, о братьях и сестрах. Отвечал Захар, и не только потому, что знал лучше, а и потому, что Гавриил часто замолкал, вспоминая сказанное Василием. Перемена в брате была явная, но в чем она заключалась, куда вела его теперь и зачем, этого Гавриил пока не понимал.

– А что же твой социализм, Вася? Неужели разочаровался?

– Социализм не девушка, и я не разочаровался, а понял, – нехотя, даже ворчливо сказал Василий Иванович.

– И что же ты понял? – не унимался Гавриил.

– Что понял? – Василий Иванович достал платок, аккуратно отер усы, бородку. – Видишь ли, социальные идеи – это идеи о всеобщем справедливом распределении благ. Разных благ: экономических, политических, гражданских, культурных. Они толкуют о дележе добычи. Да, справедливом, да, всеобщем, да, равном, но – лишь о дележе, предполагая, что человек сам изменит свою натуру, приведя ее в соответствие с нормами всеобщего равенства и братства.

– Интересно, как ты выкрутишься, – улыбнулся Гавриил.

– Слабость тут в том, Гавриил, что духовная жизнь человека всеми этими идеями мало принимается во внимание. Принимается во внимание скорее его физическое существование. Может быть, все это и хорошо для человека совершенного, но ведь идею-то призваны осуществлять человеки обыкновенные. А они ой как несовершенны. Ой как! А об этом идеи молчат.

– Уж не стал ли ты верить в Бога, Вася?

– В Бога? В общепринятом смысле нет: я не хожу в церковь и не бьюсь лбом о заплеванный пол. Но... – Он помолчал, собираясь с мыслями. – Нет, не экономическая модель счастливого будущего нужна человечеству, Гавриил: оно задыхается в тисках злобы и жестокости, ибо топчется в нравственном тупике. Путь нравственного очищения, путь нравственного примера, тернистый путь первых подвижников христианства – вот модель справедливого и доброго общества будущего. Вопрос не в том, как делить добычу, – вопрос в том, чтобы отдать ее добровольно, без всякого дележа. А чтобы подготовить все это, нужна новая религия. Без вороватых и темных попов, без разврата монастырей, без роскоши высшей церковной иерархии. Нужна вера в идею, святую в своей простоте: чем больше ты отдаешь, тем богаче ты становишься. Вот и все. И в этом смысле я готов принять Бога, если это позволит людям поверить.

– Темна вода во облацех, – улыбнулся Гавриил. – За справедливость надо воевать, вот это и просто и всем понятно, господин проповедник. Когда читаешь, как турки вырезают целые болгарские города, как насилуют женщин и вырубаяют кресты на спинах мужчин, кровь засты-

вает в жилах и хочется стрелять, стрелять и стрелять. И знаешь что? Поехали с нами в Сербию: там на практике и испытаешь свою идею.

– Что же, я бы и поехал, – вздохнул Василий Иванович. – Даже наверное бы поехал с тобой и Захаром.

– Поехали, Василий Иванович! – откликнулся допивавший за столом вино Захар. – Я враз за багажом вашим сбегаю.

– Нет, сейчас уже не могу. Дело в том, что я не один. Со мной тут жена моя Екатерина Павловна и сын Коля.

– И сын, и жена? – ахнул Захар. – Это когда же ты успел-то, Василий Иванович? Ну Америка!

– Поздравляю, – сдержанно сказал Гавриил. – Надеюсь, ты представишь меня своей супруге. У вас, естественно, гражданский брак?

– Естественно. – Василий Иванович улыбнулся. – Она чудная женщина, Гавриил, и я счастлив. Знаете, она спасла меня. Да, спасла. Она появилась как ангел и отвела руку... – Он прошел к дверям, достал из плаща револьвер. – Вот от чего она отвела мою руку. Возьми, Гавриил. Ты едешь на войну, он может пригодиться.

– Спасибо, Вася. – Гавриил с удовольствием прикинул в руке кольт. – Прекрасный подарок. Спасибо.

– И да хранит вас Бог, – вдруг с чувством сказал Василий Иванович.

– Чему быть, того не миновать, – вздохнул Захар.

– Больно, когда убивают, – тихо, словно про себя, сказал Василий Иванович. – Очень больно. Поверьте, я знаю.

Гость посидел еще немного и распрощался. Гавриил и Захар вышли его проводить и провожали долго, почти до центра, до пансиона, где Василий Иванович снимал комнаты. По дороге договорились о завтрашнем визите и поэтому расстались второпях. На обратном пути взяли экипаж, добрались быстро. А когда подходили к уснувшей гостинице, от подъезда шагнула фигура.

– Недаром существует поговорка «опаздывает, как русский», – сказал знакомый голос, и Гавриил узнал Этьена. – Жду вас: на рассвете погрузка.

– Какая погрузка?

– Миллье договорился с капитаном буксира: они волокут баржу в Белград. Капитан оказался боснийцем, и это решило дело. Скорее, господа: нас возьмут в грузовом порту.

– Значит, вы обошлись без моей помощи, – не без горечи отметил Гавриил. – Зачем же вам связываться с нами?

– Нашли время для обид, – улыбнулся Этьен. – Если вам так уж не хочется быть нашим должником, оставайтесь.

– Что он говорит? – нетерпеливо спросил Захар.

– Едем! – сказал поручик. – Нельзя упускать такой случай. А Василию я оставлю записку: не судьба, видно, с супругой его познакомиться...

4

Утром Маша и Владимир уехали в Смоленск, а к вечеру пожаловала тетушка Софья Гавриловна, гостя редкая и дорогая.

– Как же это я с Машенькой и Володей разъехалась? – расстраивалась она. – Ах, какое невезение, какое невезение, обидно!

Тетушка быстро расстраивалась, но и быстро находила в чем-либо утешение. Она была дамой почтенной, доброй и одинокой: единственный сын ее умер во младенчестве, а муж, артиллерийский офицер, погиб в Крымской войне. Однако в отличие от брата она не любила

одиночества, поддерживала широкий круг знакомств, принимала у себя, наносила визиты, но дальних путешествий побаивалась; Варя подозревала, что тетушка не приехала на похороны именно по этой причине.

День был суматошный, как и всякий день приезда неожиданных гостей. Тетушка долго и дотошно осматривала хозяйство, давала указания, пересказывала последние лечебные рецепты и способы выращивания георгинов. Потом пришел Беневоленский, не удивился, что Маша уехала, но тут же отбыл, сославшись на срочные дела. Варя не удерживала его, хотя было немного досадно, что он так демонстрирует. За чаем тетушка расспрашивала детей, но связанной беседы не вышло: Надежда дичилась, Георгий и Николай отвечали односложно, занятые какими-то своими делами. Федор начал было излагать очередную идею, увлекся, но вскоре увял, почувствовав, что слушают его из вежливости.

Один Иван был молодцом. Терпеливо ответил на все тетушкины вопросы, вежливо поинтересовался здоровьем и вежливо выслушал ее длинный отчет. Он вообще как-то повзрослел за последнее время, посерьезнел, много занимался, возился с детьми и стал самой надежной Вариной опорой: она находила, что он очень похож на Василия, а для нее это была высшая похвала.

Но, как выяснилось, все эти разговоры были только разведкой. Серьезная беседа – беседа, ради которой тетушка предприняла это путешествие, – состоялась поздно вечером, когда они остались одни. Начала ее тетушка весьма своеобразно.

– Караул, – объявила она, войдя в Варину комнату и удобно, надолго усаживаясь.

– Что – караул? – не поняла Варя.

– Я кричу «караул», Варвара, – строго сказала почтенная дама. – Семья стоит на краю бездны. Впрочем, я так и предполагала, что она стоит на краю. Да, представь себе, предполагала. И кричу «караул».

– Неужели все так уже скверно? – улыбнулась Варя, хотя тетушкино вступление несколько зацепило ее самолюбие. – Что же вас беспокоит?

– Ты, – сказала тетушка. – В первую голову ты. Почему здесь нет управляющего?

– Он уехал после похорон.

– Он был честен?

– Он мамин брат.

Варя всегда определяла Захара как брата мамы, но никогда – даже в мыслях – не считала его своим дядей. Так уж повелось в семье, так сложилось, и не только она – все ее братья и сестры считали Захара лишь родным братом матери.

– Захар? Знаю его. Мужик разумный и хозяйственный. Почему уехал?

Варя пожала плечами:

– Он человек вольный.

– Вольный? Надо было лишить воли: дать землю, женить.

– Захар хотел жениться, да невесты маме не нравились.

– Ах, Анна, Анна! – Тетушка неодобрительно покачала головой. – И что же, слушался? И женщины у него не было?

– Была. Солдатка, вдова, ребенок у нее от него. А все равно ушел. Сказал, дело заведет в Москве.

– Значит, обидели, – убежденно сказала Софья Гавриловна. – Узнаю братца Ивана: меня не шадил под горячую руку – такое бывало. Ну да ладно, сама этим займусь. Найду и верну.

– Считаете, что я не справлюсь с хозяйством?

– Отчего же? Справишься, девица разумная. И характером в папеньку. С хозяйством ты справишься, Варя. С собой не справишься.

– То есть?

– Муж нужен. Пора уж, пора, засиделась. А нам, женщинам, нельзя на родительских ветвях засиживаться: червивеем. Кошечек заводим, собачек, приживалочек или, того паче, любовников. Не красней, голубушка, не красней: мы обе женщины.

– Очень вас прошу, тетушка, оставить этот разговор.

– Нет, не могу, не взыщи. – Софья Гавриловна развела руками. – Это не разговор, Варенька, это предназначение твое, судьба. Либо в линию она пойдет, либо в тупик упрется, серединки нет. Анна Тимофеевна, матушка твоя, царствие ей небесное, мужа тебе не приглядывала?

– Она считала меня взрослым человеком, тетя.

– Она считала тебя ребенком, – отрезала Софья Гавриловна. – Ну ладно, будем искать.

– Что искать? – испугалась Варя.

– Супруга, сударыня, супруга тебе достойного искать будем. Здесь, в глуши, на тебя разве что медведь выскочит.

– Тетя, мне очень неприятна эта тема, – сухо сказала Варя. – Давайте прекратим ее и...

– А уж и прекратили, – сказала тетя. – Уже прекратили, и нет никакой темы. А есть я, твоя тетя. Единственная твоя тетушка. Ты ведь любишь меня, Варенька?

– Тетушка! – Варя нежно поцеловала почтенную даму. – Разве я дала повод сомневаться?

– А раз любишь, значит зимой переедешь ко мне.

– Нет, дорогая моя тетя, не перееду. Очень бы хотела, поверьте, да не смогу. Вот Машу я к вам отправлю.

– И Машу отправишь, и Наденьку, и сама приедешь.

Варя с грустью покачала головой:

– Это было бы прекрасно, только на кого же я детей оставлю? Ване год в гимназии остался, а еще Георгий и Коленька. Не на Федю же их оставлять, он и сам-то ребенок бородастый. А больше никого нет. Никого, милая тетя, я одна.

– А батюшка?

– Батюшка в Москве.

– Ничего, в Смоленск перевезем, а упрется, так к нему детей отправим, пусть там учатся.

– Боюсь, что вы плохо знаете своего брата, – улыбнулась Варя.

– Это ты меня плохо знаешь, – ворчливо сказала Софья Гавриловна. – Всю жизнь ему потакали, всю жизнь с ним возились – хватит, пусть теперь он возится, пусть теперь он потакает. Если мы с тобой, Варенька, чего захотим, то того и добьемся. Я ведь еще дома догадалась, что ты сиротой себя вообразишь, горе как Божью кару воспримешь и сама себя на алтарь семьи поведешь как жертву искупительную. Так пустое все это, выкинь из головы! В зеркало посмотришь, молодость ощути – и живи как жила!

– Как жила, не получится.

– Точно не получится, так похоже получится. Получится, сударыня моя, все получится! А со старым ворчуном, с батюшкой твоим, я сама все решу, ты и знать ничего не будешь. Анна Тимофеевна, царствие ей небесное, любила его без памяти, разбаловала. Слишком любила и слишком разбаловала, ну да Бог с ним, справимся. А вам общество нужно, милые вы мои дети, а особо тебе и Машеньке. И не спорь, пожалуйста, не спорь со мной, я все равно сделаю по-своему!

Варя спорила не по существу, а по инерции и прекрасно понимала, что спорит лишь по инерции, из-за какого-то осторожного упрямства; в душу ее с каждым тетушкиным аргументом вселялся давно утраченный ею покой, все дальше и дальше отгесняя и страх перед будущим, и даже сумрачные мысли о принесении себя в жертву семейному благополучию. То, что предлагала Софья Гавриловна, было не просто разумнее, нет: ее планы предусматривали и личное Варино счастье. Обыкновенное девичье счастье, не требующее ни теоретических оправданий, ни роковых предопределений. И все то, что много ночей и дней копилось в ее сердце, все то,

что лишь изредка выплескивалось в форме сложных философских построений, в которые и сама-то Варя верила лишь постольку, поскольку они оправдывали ее гордое одиночество, – все это прорвалось вдруг неудержимыми, облегчающими душу слезами.

– Ну вот и славно, вот и прекрасно, – сказала тетушка невозмутимо, не тронувшись с места. – Поплачь, Варенька, поплачь: девичьи слезки ледышку плавят.

5

Буксир ошвартовался у причала белградской грузовой пристани тихим августовским утром. На пристани было пустынно, лишь несколько грузчиков ожидали прибытия транспорта.

– Желая не попасть в плен, – сказал капитан-босниец, пожимая руки. – Лучше так. – Он выразительно щелкнул пальцами у виска.

Олексин ожидал увидеть чиновников таможи, но к ним никто не спешил. Грузчики разглядывали их, но издали, не приближаясь. Гавриил хотел спросить, куда направляют волонтеров, но Миллье остановил его:

– Сначала разойдемся.

– Разве мы не вместе?

– Вы офицер, а мы рядовые, – пояснил Этьен, улыбаясь. – Вы защищаете славян от турок, а мы – свободу от тирании.

Олексин не стал более расспрашивать. Расстались друзьями возле ворот порта, но направились в разные стороны.

– Может, они к турку подались? – предположил Захар.

– Может, и к турку, – усмехнулся поручик. – Свобода, Захар, понятие относительное. Особенно для господ инсургентов.

Сам он, впрочем, испытывал к «господам инсургентам» чисто дружеское расположение, но не в связи с Парижской коммуной – он мало знал о ней, да она его и не интересовала, – а скорее интуитивно, угадывая в них людей честных, мужественных и преданных своему долгу.

Они окликнули первого встречного, представились, спросили, куда им следует идти.

– Русские? – Серб крепко жал руки, улыбаясь, заглядывал в глаза. – Русские и сербы – братья!

Он взвалил на плечи их багаж и по дороге с воодушевлением оповещал, кого именно он сопровождает, и вскоре за русскими шла уже порядочная толпа.

– Русские офицеры! Они прорвали австрийский кордон! Один из них говорит по-сербски!

Гавриил по-сербски говорил плохо, но достаточно, чтобы спросить, чем вызван этот переполох.

– Давно не было русских волонтеров, – сказал провожатый. – Прошел слух, что австрийцы выставили кордоны, чтобы лишить сербов помощи.

Русские не знали, куда их ведут; сербы говорили все разом, перебивая друг друга, отделив Олексина от Захара, забрасывая их вопросами и не ожидая ответов на эти вопросы. Прием был почти восторженным, но Гавриил хотел не восторгов, а дела.

– Говорят, трудно приходится, а мужиков молодых – хоть отбавляй, – недовольно сказал Захар, пробившись к поручику. – На войну надо идти, братушка! Турка бить!

– Турка, турка! – закричали восторженные провожатые, вновь оттесняя его от Гавриила.

Наконец навстречу попался священник с красным крестом на рукаве, и шествие остановилось.

– Добро пожаловать на несчастную сербскую землю. – Священник хорошо говорил по-русски. – Давно не было пароходов с русскими волонтерами, этим и объясняется восторг моих

сограждан. Если не возражаете, можем сразу направиться в министерство: ваш багаж отнесут в «Сербскую корону».

Он распорядился, толпа направилась к гостинице, унося их поклажу (Захар смотрел на это с некоторым подозрением, но молчал), и они наконец-то остались одни.

– Направо, – сказал священник. – За багаж не беспокойтесь: нас столько веков грабили османы, что мы научились ценить чужую собственность.

– Что слышно о боях под Алексинацем? – спросил поручик. – Есть известия от Черняева?

– Белград предпочитает ничего не слышать, – с уловимой горечью сказал священник. – У нас очень сложное положение, господа: султан бросил против несчастной Сербии свои лучшие силы и даже части собственной гвардии. А мы заседаем и спорим, спорим и заседаем. И надеемся на чудо.

Министерство помещалось в ничем не примечательном одноэтажном здании, вход в которое был свободен для всех желающих. Здесь священник передал их приветливым чиновникам и распрощался; они быстро получили назначение в действующую армию, документы на оружие и подорожную.

– К сожалению, лошадей пока нет, – сказал улыбчивый сотрудник. – Полковник Медведовский формирует конную группу, все передано в его распоряжение. Завтра постараемся раздобыть вам транспорт и проводника.

– Не знаете, могу я рассчитывать на роту?

– Это в компетенции штаба Черняева. Мы всего лишь чиновники. Денщика я вписал в вашу подорожную, господин поручик.

– Благодарю. Значит, завтра мы можем надеяться...

– Максимум через два дня: все зависит от проводников. С фронта они сопровождают транспорты с ранеными, а отсюда – волонтеров и порох.

До вечера они успели побывать в цейхгаузе, где получили оружие, продукты и форменную одежду. Оружие Гавриилу не понравилось, но он предполагал раздобыть что-нибудь более современное у турок; Захар же с удовольствием нацепил тяжелую австрийскую саблю.

Багаж оказался в отведенном для них номере. Не успели они распаковать его, как раздался вежливый стук в дверь. Захар открыл: на пороге стоял коренастый немолодой мужчина с ленточкой неизвестного ордена в петлице сюртука.

– Здравствуйтесь, господа соотечественники! – по-русски сказал он. – Вы поручик Олексин? Помню. И тост ваш помню.

– Полковник Измайлов? – удивился Гавриил.

– Бывший полковник, бывший начальник штаба генерала Черняева, бывший идеалист. Бывший, бывший, бывший, – со вздохом сказал посетитель. – Узнал, что прибыли очередные идеалисты, и позволил себе прийти без приглашения.

– Очень рад, – сказал Олексин, несколько озадаченный картинной горечью, с которой Измайлов вошел в номер. – Это мой денщик.

– Все волонтеры имеют одинаковые права. – Полковник несколько демонстративно подал руку Захару и со вздохом опустился на стул. – Права на первое приветствие и права на последнее прощание. Однако все же я злоупотребляю. Давно ли из любимого отечества?

– Вторая неделя.

– И что же там у нас?

– Солнышко то же, а дождик разный, – сказал Захар.

– Остроумно, остроумно. – Измайлов вежливо изобразил улыбку. – И все же?

– А что вас, собственно, интересует? – спросил Олексин. – Ведь что-то же, наверное, интересует, не погода же в Москве, не так ли?

– Интересует? – Полковник помолчал. – Все меня интересует там и ничего здесь, поручик. Желая не дожить до такой односторонней любознательности. Шумели много, куда как

излишне шумели. Победы, лавры, литавры... Не то вывозим из отечества нашего любезного! – вдруг резко и громко сказал гость. – Не то, не то и не то! Шумиху вывозим, показливость свою, трижды клятую, вывозим, идеи и восторги – массово, массово, поручик! А служение идее – где? Где, господа, безропотное, каждодневное, трепетное служение оставляем? В Будапеште, в Вене, на таможах?

– Следует ли понимать, что вы недовольны русскими волонтерами, полковник?

– Доволен: мрут героически. С энтузиазмом подставляют свой русский лоб всякой турецкой пуле. Вперед, ура, в штыки их, ребята! – это все так, без претензий, как и положено русскому человеку, когда он решился. Когда русский человек решился, его ничто не остановит. Ничто, поручик, знаю, видел, верю! Но кто решился-то? Кто, я вас спрашиваю?

– И кто же?

– Ваш брат – обер-офицер. Его брат – рядовые и унтеры. Молодежь решила: военная, купеческая, студенческая, крестьянская – всякая. А штаб-офицерство решилось? Решилось оно умереть за идею здесь, на чужих полях, за чужой народ? Нет, поручик, оно не просто не решилось: оно решилось не умирать за эту идею. Оно решилось лавры пожинать, славу черпать и – других гнать умирать. Прибывают сотни людей, тысячи! Думаете, одни русские? Нет-с – болгары, румыны, чехи, поляки, итальянцы, немцы, американцы даже! Все жаждут боя, все горят отвагой, все – молодо и искренне, молодо и искренне, поручик! – хотят помочь несчастной Сербии. Хотят, если надо, оплатить своей кровью цену ее свободы. Но воевать-то, воевать-то они не умеют, господа! И сербы воевать не умеют – что же поделаешь, не приходилось. Армия создана, но армия неопытная, молодая, более склонная к прекрасным порывам, чем к терпеливому исполнению приказов. А против нее турецкий низам, вымуштрованные боевые части. Значит, штабу и командующему необходимо именно это иметь в соображении, именно это ставить в основу операций, будь то блистательное наступление или тяжкая оборона.

– Вы недовольны штабом или командующим?

– Штаб? – Полковник печально улыбнулся. – Штаба больше нет. Командующий пока есть, поскольку ему еще верят и Сербия, и князь Милан, а штаба больше нет.

– С той поры, полковник, как вы перестали быть его начальником?

– Обойдемся без колкостей, поручик. Воевать за чужую победу нужно не только чистыми руками, но и с чистым сердцем. Да, с чистым сердцем, поручик, я понял это и потому ушел с поста. А что касается штаба, то спросите у Монтеверде, где его бригады. Я готов держать беспроегрешное пари: он вам не ответит. Это же гверилья, это же Фигнеры с Давыдовыми, а не армия! Управление утрачено или почти утрачено...

– Зачем вы нам все это говорите, полковник? – спросил Олексин. – С какой целью вы обрушили на нас ушат холодной воды? Ведь должна же быть у вас какая-то цель, кроме обиженного брюзжания?

– Поручик, вы забываетесь! – Измайлов медленно багровел. – Я, кажется, не давал повода. Да! Я имею заслуги! Этот Таковский крест, – он ткнул пальцем в ленточку в петличке, – этот орден я получил одним из первых из рук князя Милана!

– Я не сомневаюсь в ваших заслугах, господин полковник. Я лишь спросил о цели вашего визита.

– А цель вашего приезда в Сербию? – Полковник встал, прошелся по номеру. – Боже вас упаси от изложения славянофильских идей, поручик, боже вас упаси: у меня уже болят уши. Мне жаль вас, юных идеалистов, цвет России: вами играют. Играют на вашем энтузиазме, на вашей молодости, на вашей отваге. Знайте же об этом, ибо ничего нет горше разочарования. Ничего нет горше!

Он пошел к выходу, но в дверях остановился, хотя никто не останавливал его. Потеребил шляпу, словно не решаясь, стоит ли говорить то, что хотелось. И – решился:

– Вы услышите много разговоров обо мне, поручик. Не торопитесь с выводами, пока не поговорите с генералом Черняевым.

– Вряд ли он примет меня.

– Добейтесь, это в ваших интересах. И если зайдет разговор обо мне... Впрочем, не надо.

– Нет, отчего же, полковник. Все может быть.

– Скажите ему, что я жду его письма. Здесь, в Белграде.

Измайлов поклонился и вышел. Захар усмехнулся:

– Обижен барин. А говорил красно.

Гавриилу больше не хотелось ни говорить, ни слушать. Он устал плыть на вонючем буксире, где негде было даже присесть по-людски. А в ресторане, шум которого проникал в номер, наверняка начались бы утомительные и пустые разговоры: он послал туда Захара, велел раздобыть ужин и отбиться от визитеров. Захар пропадавал долго: поручик уже начал терять терпение. Наконец ввалился с корзинкой:

– Ваша правда, Гаврила Иванович, народу – тьмища! И эти, из газет, тоже. Окружили меня: ла-ла-ла! ла-ла-ла! Ну, я им сразу: по-вашему, мол, ни бум-бум, а барин отдыхает и беспокоить не велел. И сам на кухню, там нагрузили. Сейчас перекусим...

Перекусить не удалось: в дверь опять постучали.

– Гони всех, – раздраженно сказал поручик.

– Спит барин, – сказал Захар, чуть приоткрыв дверь. – Не велено...

Его молча и весьма бесцеремонно отгеснили, и в комнату скользнул господин в американском клетчатом пиджаке и в мягкой, сбитой на затылок шляпе.

– Тысяча извинений, господа, тысяча извинений! – еще с порога прокричал он по-французски, быстрыми глазами вмиг обшарив номер. – Французская пресса, господа, а с прессой кто же станет ссориться, не правда ли? Пресса – всесильная богиня нашего времени...

– Я не принимаю, – сухо сказал Гавриил.

– И не надо! – весело отозвался француз. – К чему церемонии? Три вопроса на ходу для парижской публики, всего-навсего три вопроса.

– Ровно три, – сказал Олексин. – Итак, первый.

– Итак, первый! – Корреспондент достал блокнот. – Ваше имя и звание?

– Русский офицер. Этого достаточно для Франции.

– Допустим. Что же заставило вас, русского офицера, оставить родину и приехать сюда, в Сербию?

– Зов братского народа.

– Прекрасный ответ! Вы стремились на этот зов, преодолевая многочисленные препятствия, как случайные, так и не случайные. Мы знаем, что вы были не один, что с вами вместе на этот зов стремились и наши соотечественники-французы. Это чрезвычайно благородный порыв, а Франция, как никто, ценит благородство. И вы, конечно, понимаете, как интересно французской читающей публике будет узнать о своих согражданах, обнаживших шпагу против османского ига. Кто же они, ваши французские друзья? Нам бы очень хотелось узнать их имена, намерения, планы...

Французы расстались с Олексиним, едва сойдя с парохода, и избежали шумной встречи белградцев. Гавриил сразу вспомнил и об этом, и о том, как они боялись слезки еще там, в Будапеште, как стремились уехать любым путем. Они доверились только ему, и, кто бы ни были эти французы, он не имел права предавать их доверие.

– Вы ошибаетесь, сударь, – сказал он. – Я прибыл в Белград со своим денщиком и не имею ни малейшего понятия о ваших соотечественниках.

– Однако вместе с вами с буксира сошли...

– Это четвертый вопрос, господин корреспондент, а мы договорились о трех.

– Но позвольте маленькое уточнение! – Визитер в американском пиджаке вдруг засуетился, забыв про улыбки. – Матрос буксира утверждает...

– Честь имею, – перебил Гавриил, встав. – Прощайте, сударь, наш разговор окончен.

Корреспондент потоптался, спрятал блокнот и вышел, забыв поклониться. Захар закрыл дверь, накинул крючок.

– Что он спрашивал?

– Он интересовался французами, – сказал поручик. – Ты нигде не болтал о них?

– Да что вы, Гаврила Иванович! Я ведь понимаю.

– Ну и прекрасно, – сказал Гавриил, садясь к столу. – А этого клетчатого господина никогда и ни под каким видом не пускай ко мне. Он слишком любопытен. Садись к столу, вдвоем ведь, можно без церемоний...

6

Беневоленский больше в Высоком не появлялся. Варя старательно не замечала его отсутствия, была ровна и даже весела, но самолюбие ее было уязвлено. Ею пренебрегали явно и демонстративно, и это кололо больнее, чем само отсутствие Аверьяна Леонидовича.

Тетушка уехала, забрав с собою Ивана и младших, в Высоком остались только Федор и Варя. Яблоки звучно падали в саду, было тепло, тихо и грустно, но грусть была легкой и приятной. Правда, она мешала с прежним рвением заниматься хозяйством, но после разговора с тетей Варя как-то охладела к хозяйству, все чаще поручая дела приказчику – мужику немолодому, серьезному и работающему. Возилась в саду, много читала, а с Федором почти не разговаривала: он целыми днями сидел безвылазно в своей комнате, обложившись книгами. То ли готовился в университет, то ли вырабатывал очередную сверхновую идею. Встречались в столовой за обедом да за ужином, даже завтракали отдельно.

От Дурасовых неожиданно прискакал нарочный с запиской: Елизавета Антоновна заболела, очень скучала, просила не забывать. Записка никому не адресовалась, Варя прочитала ее, подумала и за обедом показала Федору.

– Надо бы съездить, Федя.

Федор прочитал записку, повздыхал и ничего не ответил.

– Я понимаю, как тебе не хочется, – продолжала Варя. – Может быть, вместе с Беневоленским прокатитесь? Кстати, он что-то совсем пропал, не заболел ли тоже? Ты бы навестил и записку бы показал: хороший предлог для визита.

Федору очень не хотелось никуда ходить, он обленился за лето. Но Варя настояла, и пришлось, вздыхая, оставить привычный диван.

– Здоров как бык, – сказал Беневоленский, когда Федор, появившись, справился о здоровье. – Хотите водки? Нормальная российская сивуха вкупе с малосольным огурцом обладает сказочной способностью приземлять мысли витийствующей интеллигенции.

Он достал початую бутылку, налил в стакан, придвинул миску с огурцами и сел напротив.

– Отчего ж никуда не поехали?

– Не знаю, – сказал Федор. – Я отвык учиться. Право, отвык.

– А к лени привыкли быстро, – усмехнулся хозяин. – Хотите совет? Поезжайте к этой дамочке. Она мается томлением духа и тела: авось желания появятся.

Федор хлебнул из стакана, сморщился, полез за огурцом. Аверьян Леонидович насмешливо следил за его вялыми движениями.

– В вашей семье жизнеспособна только женская линия, Олексин, замечаете? Это первый признак угасания рода.

– При чем тут угасание? – вздохнул Федор. – Просто все: мать у меня крестьянка. Вы ничего не знаете, Беневоленский, а беретесь судить, это нехорошо и на вас не похоже.

- Чего же я не знаю?
- Ничего, – упрямо повторил Федор. – Вот напиюсь сейчас и все вам расскажу.
- Ну так напивайтесь поскорее.
- Вы спешите?
- Очень, – сказал Аверьян Леонидович. – Я уезжаю.
- Куда?
- В отличие от вас – учиться. Надо закончить в университете.
- А зачем?
- Ну хотя бы затем, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. У меня нет имения, Олексин.

Ни имения, ни состояния – только руки да голова.

– Вы лжете, Беневоленский, да, да, лжете. Вы не из тех, кто будет делать что-либо ради своей выгоды. Это пошло, ужас как пошло – делать что-либо ради своей выгоды. Ради идеи – да! Это прекрасно, это возвышенно и благородно. А ради выгоды... Нет, вы идейный. Вы скрываете от меня, потому что идея ваша, – Федор вдруг выпучил глаза и весь подался вперед, – казнить государя!

– Бог мой, какой бред посещает иногда вашу бедную голову, – усмехнулся Аверьян Леонидович. – И все от безделья. Бредни – от безделья, идеики – от безделья, даже разговор этот – тоже от безделья. Ох ты, милое ты мое русское безделье! Есть ли что в мире добродушнее, безвреднее и... бесполезнее тебя!

– Вот, – обиженно отметил Олексин и снова хлебнул. – Опять вы насмешничаете.

– Нет, друг мой, на сей раз я не насмешничаю, – вздохнул Беневоленский. – На сей раз предмет слишком дорог, чтобы обращать его в шутку. Дорог не для меня – дорог для отечества нашего в самом вульгарном экономическом смысле. Миллионы золотых рублей летят на воздух ежедневно и ежечасно, летят опять-таки в прямом смысле, лишь сотрясая его, но не производя никакой полезной работы. Когда же вы опомнитесь, добрые, милые, безвредные и – увы! – бесполезные господа соотечественники? Когда же вы наконец поймете, что идеи не сочиняют, а творят, творят на почве знаний, боли, тоски, неосуществленных порывов и, главное, труда. Адского труда, Олексин! А вы... Да вбили ли вы хоть один гвоздь в своей жизни, пропололи хоть одну грядку?

– Прополол, – кивнул Федор. – Маменька велела, я и прополол. Это был лук.

– Лук! – усмехнулся Аверьян Леонидович. – Проповедуете народу собственное представление о Евангелии, а что вы знаете о самом народе? Каков он, о чем думает, о чем мечтает, о чем говорит меж собой, подальше от барских ушей? О куске хлеба или о справедливости? О Боге или уряднике? Если вы уж так стремитесь служить ему – а вы стремитесь, я верю, что стремитесь, – так сначала узнайте, какой службы он ждет от вас. Залезьте в его шкуру, пропотейте его потом, покормите его тюрей с квасом, а уж тогда и решайте, в каком именно качестве вы послужите и ему на пользу, и себе в умиление.

– Но разве... Разве знания обязательно должны быть практическими? Разве нельзя постичь истину путем углубленного изучения?

– Для вас – нет, – отрезал Беневоленский. – Вы не способны к углубленному изучению, а посему изучайте с натуры. Впрочем, можете и не изучать: натура от этого не пострадает. Что вы смотрите на меня, как на чудотворную? Я лишь предполагал, только и всего. Решать все равно придется вам. Если сможете.

– Если смогу, – задумчиво повторил Федор. – Странно, ах как все странно переплетается в жизни! Вася тоже говорил о неоплатном долге перед народом, о служении истине и справедливости. И вот вы теперь...

– Я ничего этого не говорил, – резко перебил Аверьян Леонидович. – Ваш братец Василий Иванович, знаком с ним по Швейцарии, – восторженный адепт Лаврова, такой же говорун и идеалист. Нет, не просвещение народа должно предшествовать революции, а революция –

просвещению, господа Лавровы! Не долг перед народом, а обязанность действовать во имя и во спасение этого народа – вот реализм русской действительности, если желаете знать правду. Понять народ, полюбить народ и, если надо, погибнуть во имя его свободы и счастья – вот цель жизни. Самая благородная из всех целей, какие только ставило перед собой человечество!

– А это... это прекрасно! – воскликнул Федор. – Прекрасно то, что вы сказали! Позвольте поцеловать вас, милый Аверьян Леонидович. Позвольте. Вам – в дорогу, и это замечательно. Дорога – это замечательно!

С серьезнейшим, даже многозначительным видом он расцеловал хохотавшего в голос Беневоленского и вернулся домой, не поехав к больной Лизоньке. И не потому, что забыл о ней, – он помнил и даже хотел поехать, – а потому, что не мог уже, не имел права откладывать того, что решил вдруг, внезапно за голым холостяцким столом Аверьяна Леонидовича. А поскольку решение это нашло на него как озарение, он и воспринимал его как озарение свыше, как зов, не откликнуться на который уже не имел права.

Он ничего не стал рассказывать Варе, буркнул проходя, что Беневоленский здоров, и ушел к себе. Варе долго не спалось в эту ночь, она слушала, как Федор бродит по дому, хотела даже встать и спросить, что это он бродит, но поленилась. А потом уснула.

К завтраку Федор не явился. С ним часто это случалось, и Варя не обратила внимания. Но когда он не вышел и к обеду, забеспокоилась, послала узнать.

– Федора Ивановича нету, – сказала горничная, воротясь. – Постель нетронутая.

Заволновавшись, Варя пошла сама. Осмотрела пустую комнату, нетронутую кровать, успела уж испугаться, но нашла записку:

«Я не утонул и не пропал: я ушел. Не ищите меня, а лучше всего – забудьте. Идеи нельзя сочинять – их надо выстрадать, и я готов страдать. Я хочу быть честным и нужным. И буду честным и нужным. А вас всех – целую. Будьте счастливы и простите своего брата-бездельника Федора».

Варя три раза прочитала записку и, так ничего и не поняв, в бессилии и отчаянии опустилась на стул.

7

Длинная, запряженная отощавшей парой повозка уныло скрипела несмазанными осями. Возница, молодой серб, пел бесконечные песни, в терпеливом одиночестве трясясь на передке; остальные предпочитали идти пешком по пыльной обочине.

– Дегтю у них нет, что ли? – удивлялся Захар. – Бранко, долго еще пыль-то глотать?

– Гайд, гайд! – погонял приморенных коней Бранко, весело сверкая зубами.

– Турецкие кони, что ли?

– Добрые кони! Сербские кони!

Группа волонтеров – трое русских и молчаливый поляк – выехала на позиции с первой же оказией. Все произошло внезапно, второпях, и знакомиться пришлось уже в пути.

С русским – субтильным, болезненным до желтизны штабс-капитаном Истоминым – Гавриил был знаком: штабс-капитан служил адъютантом при московском генерал-губернаторе. Слабый физически, чрезвычайно интеллигентный Истомин еще в июне прибыл в Сербию, участвовал в победоносном черняевском наступлении, а теперь маялся иссушающей желудочной болезнью. В Москве у него оставалась жена, старуха-мать и три девочки, но штабс-капитан сетовал не на судьбу и не на больной желудок, а на равнодушные штабов, несогласованность действий и запутанную многоступенчатость начальства.

– Слишком много указаний, Олексин, слишком много! Боюсь, что самолюбие отдельных господ погубит великую идею.

В идею всеславянского единения он верил истово и несокрушимо. Ни авантюрный марш плохо подготовленной черняевской армии, ни последующий ее разгром, ни даже честолюбивые интриги многочисленного начальства, присосавшегося к народному восстанию и теперь торопливо выкраивающего выгоды для личного пользования, – ничто не могло поколебать тихого и мягкого штабс-капитана. За внешним обликом книжно-салонного дворянина скрывалась фанатическая преданность однажды понятому и принятому на себя долгу.

– Прекрасный, достойный свободы народ, прекрасная, достойная счастья страна! О, если бы немножечко честности, немножечко искренности, немножечко долга, господа!

– Да сядьте же вы на телегу, Истомин. На вас лица нет.

– Нет, нет, ни в коем случае. Мои недуги – это мои несчастья, Олексин. И я желаю бороться с ними, а не выставлять их напоказ. Равенство трудностей рождает равенство усилий, поэтому никаких исключений ни для кого, кроме раненных на поле боя. Равенство трудностей: ах, если бы когда-нибудь эту простую истину поняли бы те, кто управляет энтузиазмом людей, поверивших в благородную идею! Ах, как это было бы прекрасно, Олексин, ибо нет боли мучительнее, чем разочарование. Пирогов сказал, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных. Знаете почему? Потому что их идея осуществилась, их труд не погиб втуне, и они не обманулись в вождях своих.

– Вы слушали Пирогова?

– Я много и бестолково учился, как большинство русских, – улыбнулся штабс-капитан. – Увы, если бы мы к тому же умели бы с пользой применять свои знания! Но нам этого не дано: мы просвещенные дилетанты, не более.

Кони шли неспешным ломовым шагом, не меняя скорости ни на спусках, ни на подъемах. В полдень волонтеры останавливались в придорожной корчме, часа через три трогались дальше, до следующей корчмы, где и ночевали в узких, как пеналы, номерах, заботливо сохранивших запахи всех предыдущих постояльцев.

– К концу кампании попадем, ей-богу, к концу, – ворчал Захар.

Гавриил и сам беспокоился, что они непременно куда-либо опоздают, но нетерпение скрывал: и бывалый – очень трудно было отнести это слово к утонченному штабс-капитану – Истомин, и неоднократно проделывавший этот путь Бранко относились к лошадиной медлительности как к явлению естественному; явно тяготился путешествием лишь высокий поляк.

– Прошу пана, но нельзя ли быстрее?

Русских при этом он сторонился: шел всегда рядом с Бранко, ел с ним за одним столом. Утром и вечером любил мыться до пояса: Бранко окатывал его холодной водой, поляк громко, радостно вскрикивал. Истомин пригляделся, сказал поручику:

– Обратите внимание на его шрам.

Шрам был на левой руке, чуть ниже локтя. Недавний, еще багровый, узкий, будто от удара хлыстом.

– Сабля, и скорее всего казачья, – определил Олексин.

Вскоре их обогнала пароконная коляска. С грохотом пронеслась мимо: был уклон, лошади неслись вскачь. В клубах пыли Гавриил разглядел только широкую спину кучера, но Захар был внимательнее:

– Клетчатый ваш проехал. Ему, видно, лошадушек не пожалели.

В следующей корчме корреспондентской коляски не оказалось, но к вечеру они нагнали ее на постоялом дворе. Коляска стояла под навесом, лошади у коновязи, а широкоплечий кучер одиноко ужинал за столом: клетчатого господина в зале не было.

В этот низкий, полутемный зальчик Олексин вошел один: Захар устраивался в номере, попутчики отлучились по своим делам. Выбрав относительно чистый стол, поручик сел в расчете заказать ужин на троих. Но не успел: вошел поляк и, оглядевшись, направился к нему.

– Вас просят выйти до конюшни, – негромко по-русски сказал он.

– Кто просит?

Поляк отошел, разглядывая прокопченные стены и демонстративно не желая отвечать. Олексин недоуменно пожал плечами, но вышел.

Двор был пустынен. Поручик пересек его, вошел в темную конюшню. Здесь был Бранко: задавал корм лошадям. Гавриил хотел окликнуть его, но не успел.

– Здравствуйте, сударь.

Он оглянулся: у стены стоял Этьен.

– Не ожидали?

– Признаться, нет. – Гавриил пожал руку. – И очень рад, что нам по пути.

– По пути, но не вместе, – улыбнулся Этьен. – Маленькая неприятность и маленькая просьба, месье Олексин. Видели во дворе коляску?

– Кажется, на ней прикатил ваш соотечественник?

– Это не важно. Важно, чтобы эта коляска не выехала вслед за нами. А мы уедем, как только стемнеет.

– Что вы предлагаете: пристрелить лошадей или, может быть, кучера?

– Зачем же столько ужасов? Насколько нам известно, кучер не дурак выпить. Угостите его с русской щедростью, и он не сможет держать вожжи.

– Извините, Этьен, но я – офицер, и попойки с ямщиками мне как-то не с руки.

– Дело идет о нашей жизни, сударь, – все так же улыбаясь, сказал Этьен. – В ваших руках возможность сохранить эти жизни. Для общего дела, сударь, для борьбы за свободу Сербии. Решайтесь, а мне пора исчезать: наш соотечественник любит появляться там, где его меньше всего хотят видеть.

Сказав это, француз тут же шмыгнул в густую тьму конюшни. Через мгновение во тьме еле слышно скрипнула дверь, и Олексин остался один.

Он вернулся в низкий зальчик, где добродушный толстый хозяин уже расставлял на столах глиняные миски с вареной кукурузой и кусками обжаренного мяса. Спутники были на месте, клетчатый не появлялся; кучер его в одиночестве приканчивал ужин и бутылку местного вина. Он безразлично глянул на Олексина и с удовольствием потянулся к кружке.

– Прошу извинить, господа, – сказал поручик, подходя. – Захар, тебе придется отужинать сегодня в другой компании.

Отозвав денщика, Олексин коротко проинструктировал его и снабдил деньгами.

– Чтобы из-за стола не вылез, понял?

– Вот это приказ! – заулыбался Захар. – Не извольте беспокоиться, ваше благородие, исполним в лучшем виде.

Гавриил сел ужинать, а Захар, равнодушно позевывая, направился к хозяину, от которого вышел с тремя бутылками ракии. Неторопливо, вперевалочку, будто не зная, куда приткнуться, поплутал по залу и решительно уселся за столик кучера, красноречиво стукнув бутылками.

– Решили дать денщику увольнение? – улыбнулся Истомин. – Очень демократично, Олексин. Только не рекомендую такое попустительство в зоне военных действий.

– Пусть гульнет в последний раз.

Ужинали неспешно и долго, развлекаясь разговорами и слабеньким местным вином. Поляк сидел отдельно и не столько слушал их беседу, сколько поглядывал на дальний столик в углу. И иногда – с острым любопытством – на поручика.

Гавриил тоже посматривал на дальний столик: там крепчали голоса, явно не понимавшие друг друга, но звучащие вполне дружелюбно. Дважды туда направлялся хозяин: раз с огромной сковородой яичницы на сале, второй – с двумя бутылками. Захар знал толк в застолье и приказ исполнял любовно и трепетно.

– Не напьется? – с брезливой миной спросил штабс-капитан.

– Напьется, – улыбнулся поручик. – Непременно напьется как скотина!

Олексина чрезвычайно забавляла и сама ситуация, и полнокровный восторг Захара. Он знал Захара с детства и не сомневался, что все сойдет благополучно.

– Все же позволю себе удивиться вашим действиям, – непримиримо ворчал Истомин. – Пьянство вообще гнусь великая, и прискорбная к тому же. И мне, признаться, странно наблюдать в офицере такое... ммм... безразличие к чести нации.

– Да перестаньте вы брюзжать, капитан. Моему Захару нужна бочка...

Он замолчал, потому что в зальчике появился клетчатый господин. Задержался в дверях, мгновенно окинул быстрыми глазками помещение, лишь на миг задержавшись на Гаврииле, и решительно направился к дальнему столику. Олексин уже привстал, еще не решив, что делать, но понимая, что клетчатого необходимо задержать, отвлечь, заговорить. Но его опередили.

Путь клетчатого лежал мимо дальнего конца их стола, за спиной поляка. Поляк тоже заметил корреспондента, тоже понял, куда он направляется, но сидел ближе к нему, и действовать ему было удобнее. Не подавая виду, он повернулся спиной, а когда клетчатый почти поравнялся с ним, чуть отставил локоть. Это было сделано так вовремя, что корреспондент с ходу наткнулся на него.

– О, пардон!

– Сударь! – гневно сказал поляк, отряхивая капли вина. – Ваша неучтивость стоит мне ужина и одежды.

– Тысяча извинений...

– Даже из миллиона извинений мне не сшить новой рубашки, – громко перебил поляк и воинственно подкрутил усы. – Вам придется поискать другой способ, господин невежа.

Поляк напролом шел к глупейшему трактирному скандалу. Истомин болезненно сморщился:

– Вот ярчайший пример нашей славянской распущенности...

Он сделал попытку встать, но Гавриил удержал его:

– Мы – русские офицеры, Истомин, нам не к лицу ввязываться в кабацкие ссоры.

– Не понимаю, чего вы требуете от меня, – горячился француз. – Я нанес вам материальный ущерб? Извольте, готов компенсировать.

Он вынул из кармана несколько монет, положил их на край стола, шагнул, но поляк схватил его за полу клетчатого пиджака.

– Сначала вы испачкали мое платье, а теперь пытаетесь замарать мою честь? Я не лакей, сударь, я волонтер.

– Но помилуйте... Господа! – вскричал встревоженный корреспондент, на сей раз узнавая Гавриила. – Господин Олексин, умоляю вас объяснить вашему спутнику...

– Нет уж позвольте! – гремел поляк, вставая и по-прежнему удерживая клетчатого за лацкан пиджака. – Я готов был свести все к недоразумению, но теперь, когда мне швырнули деньги...

– Господа, стыдно! – болезненно морщась, взывал Истомин. – Господа, прекратите. Что подумают сербы?

Поляк грозно топорщил усы, кричал, но при этом часто взглядывал на Олексина. Гавриил догадался, глянул в дальний угол и увидел пустой, заставленный бутылками стол: Захар уже увел захмелевшего кучера подальше от господского скандала. Поручик улыбнулся и не очень умело подмигнул обидчивому шляхтичу.

– Черт с вами, согласен на мировую, – сразу перестав кричать, сказал поляк. – Ставьте две бутылки клико, и мы квиты. Эй, хозяин, тащи шампанское, Франция угощает доблестных волонтеров!

Пили долго. Поляк шутил, рассказывал анекдоты, провозглашал тосты. Штабс-капитан вскоре ушел, сославшись на недомогание, клетчатый нервничал, с трудом прикрываясь вежливостью. Однажды, не выдержав, воззвал к Олексину:

– Помогите мне уйти: у меня пропал кучер.

– А у меня денщик, – сказал поручик. – В России есть поговорка: рыбак рыбака видит издалека.

– Это замечательная поговорка! – развеселился поляк. – Вы уловили ее смысл, газетная душа?

Наконец он уgomонился и отпустил корреспондента. Проводил его насмешливым взглядом, повернулся к Олексину, вдруг посерьезнев.

– Разрешите представиться: Збигнев Отвиновский. Жму вашу руку, поручик, с особым удовольствием: вы не из тех, кто вешал нас на фонарных столбах в шестьдесят третьем году.

– Вас вешали жандармы, – сказал Гавриил. – Следует ли из-за этого ненавидеть целый народ?

– Это сложный вопрос, поручик, – вздохнул Отвиновский. – Очень сложный вопрос, решать который приходится пока путем личных контактов. Судьбе угодно было свести нас в одном лагере, и я предлагаю вам дружбу. Но если она вновь разведет нас – не взыщите, Олексин. А сегодня мы с вами устроили неплохой спектакль!

Они еще раз крепко пожали друг другу руки и разошлись по номерам. Захара не было. Гавриил постелил, осмотрел подозрительно серые простыни, повздыхал и лег. Голова приятно кружилась, и он с удовольствием перебирал весь сегодняшний вечер, странный и немного таинственный. Где-то копошилась мысль, что поступки его вряд ли были бы одобрены на родине, что поступает он вопреки официальному долгу, но по совести, и это раздвоение между долгом и совестью совсем не терзало его. Он был в чужой стране, считал себя свободным от служебных обязательств и хотел лишь поступать согласно внутренним законам чести. И выполнил сегодня основное требование этого закона: помог друзьям избежать полицейской слежки. И на душе у него было легко. С этим приятным чувством он задремал и проснулся от грохота: Захар, шепотом ругаясь, поднимался с пола.

– Хорош, нечего сказать!

– Сами велели. – Язык у Захара заплетался, но соображения он не терял. – Так что разрешите доложить, приказ исполнил.

– А где кучер?

– В сене, – засмеялся Захар. – Я его так упрятал, что ни в жисть не найдут, пока сам не выползет! Вот ведь с виду бычина чистый, а жила у него слаба.

– Не опоил до смерти?

– Меру знаем, Гаврила Иванович, меру знаем и блюдем. – Захар, покачиваясь, стелил себе в углу. – Ежели еще будут такие же приятные ваши распоряжения, то мы рады стараться.

– Ладно, спи, поздно уже. И не храпи, сделай милость.

– Храп, он от Бога, – резонно заметил Захар. – Накажет Господь сном тяжким, так и захрапишь. Ты не спишь, Гаврила Иванович?

Захар обращался запросто в очень редких случаях. И сейчас непохоже было, что говорил совсем уж с пьяных глаз. Олексин помолчал немного и спросил:

– Ну что тебе?

– Мы в конюшне-то втроем пили: Бранко я поднес. Для разговору: он по-нашему маленько балакает, а с этой немчурой...

– Разве кучер не серб?

– Немец, – решительно сказал Захар. – Или кто-то вроде. А Бранко свой брат, правда, пьет мало. Он к вам просится, Бранко-то этот. Надоело, говорит, на извозе: туда целых, обратно калеченых.

– Как – ко мне? Куда – ко мне?

– Так вам же, поди, отряд под начало дадут? Вот он и просится: скажи, говорит, своему офицеру – это вам, значит, – что желаю проводником. Места, мол, хорошо знаю, вырос тут.

– Там видно будет, – сказал Гавриил. – Куда самих направят, тоже неизвестно. Спи.

– Сплю, – вздохнул Захар. – Вот мы и в Европе, значит. Чудно! А парень он, Бранкто, хороший. Как есть славный парень, Гаврила Иванович... А закуска у них, прямо сказать, хреновая. Ни тебе соленого огурчика, ни тебе квашеной капусты. Может, поэтому и пить тут не умеют, а, Гаврила Иванович?..

С раннего утра клетчатый с заметно опухшей физиономией долго суетился, звал кучера, приставал к Захару.

– Знать не знаю, ведать не ведаю, – твердил Захар, хмурый с похмелья. – Пили вместе, а ночевали поврозь.

Выезжали, когда сыскался кучер. Вылез весь в сене, мыча что-то несурзное. Корреспондент кричал, бил его пухлым кулачком в гулкую спину – кучер ничего не соображал. Бранкто весело хохотал, выводя коней из узких ворот.

Ехали, а точнее – брели за телегой уже вместе, поддерживая общий разговор. Правда, Отвиновский обращался только к Гавриилу, но делал это вполне корректно; штабс-капитан все еще расстраивался по поводу вчерашней гульбы и попрекал Олексина:

– Недопустимое легкомыслие, поручик, недопустимое!

Клетчатый догнал их только в обед, когда они уже сидели за столом. Подошел, сухо поклонился, сказал Гавриилу:

– Я ценю ваши шутки, но в известных пределах. Ваш денщик вчера обокрал моего кучера. Его показания у меня: они будут представлены лично генералу Черняеву с соответствующими разъяснениями.

– Я не верю ни единому слову вашего кучера, – сказал Олексин. – А своего денщика знаю ровно столько, сколько живу на свете, и ручаюсь за него своей честью.

– Ваш денщик будет предан военно-полевому суду, – отрезал корреспондент и, не отобедав, спешно выехал вперед.

– Я вас предупреждал! – шипел штабс-капитан. – Иностранцы корреспонденты – большая сила при штабе.

– Чего клетчатый-то сказал? – допытывался Захар.

Гавриил не стал ничего объяснять, но настроение было испорчено.

– Не расстраивайтесь, – утешал Отвиновский. – Кто поверит в эту дикую чушь?

На вечернем постое они вновь встретились с клетчатым и его кучером: оба мелькнули в трактире, заказывая ужин в номер. Перекусив, быстро разошлись, а на рассвете Гавриил был разбужен испуганным воплем хозяина. Накинув сюртук, торопливо сбежал вниз, в трактир, где уже звенели встревоженные голоса.

Корреспондент лежал поперек стола лицом вниз. Под левой лопаткой торчал складной нож, по клетчатому американскому пиджаку расплзлось большое темное пятно.

– Убийство! – кричал хозяин. – Угнали коней и коляску!

Ломая руки, он бестолково метался по трактиру, то выбегая во двор, где гомонились кучера, то возвращаясь.

– Убийство! Надо сообщить полиции!

В трактире были поляк и Захар, штабс-капитан еще не спускался. Они негромко переговаривались, Гавриил их не слушал.

Он смотрел на нож: итальянец красноречиво играл им при первой встрече еще в Будапеште.

Хозяин снова выбежал во двор. Олексин огляделся и, еще ничего не обдумав, вырвал нож из тяжело вздрогнувшего тела, вытер его, сложил и сунул в карман.

– Ножа не было, – негромко по-русски сказал он. – Никакого ножа не было. Убийца унес нож с собой, понятно?

И вышел из трактира.

Глава пятая

1

Почтенная Софья Гавриловна была женщиной не только рассудительной, но и упрямой, возмещающая последним качеством природную мягкость и покладистость. Еще покойный муж, для которого ничего не существовало, кроме пушек, предпочитал не связываться с ней, когда дело доходило до решений, однажды ею принятых; впрочем, кардинальные решения принимались Софьей Гавриловной не часто, а во всех прочих случаях она вовремя сдавала позиции.

Однако решение вмешаться в жизнь полусирот – племянников и племянниц – было для Софьи Гавриловны не просто решением: это была ее миссия, ее жизненное предназначение, долг, выше которого уже не существовало ничего. Достаточно хорошо зная брата, она не тешила себя надеждой на победу, но уповала если не на собственное красноречие, то на обстоятельства, чувство долга и остатки разума закосневшего в эгоистическом одиночестве упрямого и своевольного старика. Проявив не свойственную ни ее характеру, ни возрасту, ни привычкам распорядительность, Софья Гавриловна тут же выехала в Москву для очень неприятного – она не сомневалась, – но, увы, необходимого разговора.

– Барин никого не принимает, – глупо улыбаясь, сказал мордатый молодой лакей.

Софья Гавриловна молча ткнула его зонтиком в живот и, не глядя сбросив накидку, пошла прямехонько в стариковский кабинет.

– Не принимает, сказано! – в отчаянии закричал мордатый, не зная, поднимать ли накидку или хватать старую барыню за платье. – Сказано ведь, сказано! Куда вы?

Он все же догнал ее и попытался не пустить в следующие двери, но почтенная дама еще раз прибегла к помощи опасно острого зонтика и, сломив сопротивление, победно прошествовала дальше.

– Дядя Игнат! – в отчаянии завопил лакей.

Из боковых дверей сановито выдвинулся Игнат, второй человек дома, хранитель господских тайн и особо доверенное лицо. Важно повернул голову:

– Чего орешь, бестолочь? – И вдруг изогнулся, заулыбался, заспешил. – Софья Гавриловна? Как же так-с – без депеши, без оповещения? И не встретил я вас как должно...

– Здравствуй, Игнат, – сказала тетушка. – А этого, – она ткнула зонтиком, – этого убрать с глаз моих навсегда. Если встречу...

– Да не встретите, не встретите, – заверил Игнат. – Ступай вон, Петр, в людскую ступай и не вылазь! Пожалуйте, Софья Гавриловна, пожалуйста! Уж как барин-то обрадуется, как обрадуется!

Восприняв победу над лакеем как знамение, Софья Гавриловна вступила в кабинет в настроении радужном и боевом. Брат и впрямь очень обрадовался ей, по-стариковски нелепо засуетился, не смог скрыть радости и насупился вдруг, еще до начала разговора. А тетушка, увлекшись миссией и предстоящей победой, вовремя не заметила недовольного шевеления седых бровей и все говорила и говорила, упиваясь собственными неотразимыми аргументами.

– Фельдфебеля в Вольтеры желаете? – перебил Иван Гаврилович голосом, не обещавшим ничего доброго. – Это можно-с. Да-с. Только век, сударыня, век кончается, не изволили заметить? А смена века есть смена знамен. Знамен, сударыня, знамен! Дворянство уходит, уходит! Торговать начало, барышом заинтересовалось, а вы все как в лесу дремучем? Нет-с, нет-с! Меняйте гувернеров на философов в сюртучках-с. Меняйте – или сами придут, сами и уведут вашу паству. А я – ни в пастыри, ни в фельдфебели, ни в гувернеры.

Он паясничал, испугавшись ее слов, а особо тех выводов, что из них следовали. Он еще не нашел, чем отгородиться от опасности, и защищался, привычно ерничая.

– Иван, твой тон...

– За тон пардон, пардон за тон.

– Опять кривляешься, а зачем? Публики нет, даже собеседника нет: есть сестра. Не надо тратить на меня такие бесценные афоризмы: они нелегко тебе достались. Давай поговорим как два старых человека, на которых судьба возложила святые обязанности. Ты не отрицаешь обязанностей, надеюсь?

– Нет, – угрюмо буркнул старик.

– Прекрасно. А как ты их понимаешь? Неужели только как безотказное содержание? Не верю, Иван, не смею верить! Ты, с таким пылом обличающий дворянство за его интерес к барышам, – кстати, а что делать, друг мой, что делать? Крепостных нет, оброку нет, деньги проедаются. Проедаются!.. Извини, отвлеклась. О чем бишь я?

Иван Гаврилович молчал, болезненно морщась. Он не торопился подсказать сестре утерянную нить разговора, он точно вел беседу с самим собой, упрямо не соглашаясь с какой-то мыслью и понимая в то же время, что не согласиться с ней нельзя, что мысль верная, хоть и неприятная для него.

– Я неуклюжий человек, Софи, – тихо сказал он, покачав головой. – Я прожил неуклюжую, какую-то с натугой сочиненную жизнь. И я очень боюсь, что кто-то из моих детей повторит ее. Вот чего я боюсь, Софи. Я дурной пример, а ведь – пример. Пример! Аня... – Он чуть всхлипнул, но выпрямился и твердо повторил: – Аня воспитала их в слепом почтении перед никудышным отцом, а я далек, невозможно, немислимо далек от них!

– Они прекрасные, послушные дети, Иван. Ты найдешь их вновь, да, да, я верю, я твердо верю, что найдешь и обретишь покой и счастье.

Софья Гавриловна была свято убеждена, что юные Олексины послушны. Да они и сами были убеждены в этом, пройдя полный курс мягкого домашнего воспитания, где все дозволялось, а если и не дозволялось, пряталось, убиралось с глаз, дабы не соблазняло и не смущало. И росли они в послушании безграничном, ибо границы послушания были вынесены из них самих, существуя отдельно, сами по себе, зримо, а потому и понятно. Никто не ставил им препон внутренних, никто не замыкал их души в тесные рамки правил и догм, никто не испытывал их послушания на примерах и опытах. Они росли, как растут крестьянские дети, с той лишь разницей, что их желания исполнялись. Росли свободными, ценили свою свободу и в границах этой свободы были идеально послушны, оставаясь всегда самими собой, чуждые какого бы то ни было притворства и желания пойти на компромисс.

Василий не чувствовал себя непослушным, уехав в Америку устраивать эксперимент с коммуной. Даже попав под надзор III Отделения, он не нарушал ничего, что входило в рамки домашнего кодекса поведения. И оставивший армию Гавриил тоже имел все основания считать себя послушным. И сгинувший невесть куда Федор, и Варя, и Владимир, как раз в это время писавший рапорт с нижайшей просьбой направить его куда-либо:

«Я мог бы применить на деле свои знания и исполнить долг чести и верности отечеству нашему. Нижайше прошу о зачислении меня в какой-либо из кавказских или туркестанских полков, принимающих непосредственное участие в боевых действиях».

Он не просто мечтал поскорее стать взрослым. Он мечтал стать неотразимо взрослым, покрытым шрамами и орденами, поседевшим и грустно-усталым. Не ради карьеры, не ради славы, не ради благосклонности государя: ради горького права насладиться признанием некоей замужней женщины, считавшей его мальчишкой. Насладиться ее мольбой, ее слезами, ее поздним раскаянием – и отвергнуть. Отвергнуть мучительно и гордо.

А послушание... Что ж, он служил послушно, был на отличном счету, и именно это служебное слепое послушание и помогло ему, не закончив курса, заручиться поддержкой началь-

ства и подать рапорт. Через неделю он получил ответ. Юнкеру Владимиру Олексину предоставлялся годичный отпуск с назначением в Ставропольский полк. И юнкер был на седьмом небе...

И даже Маша, любимица Маша, примерная Маша сама передвигала рамки собственного послушания в зависимости от обстоятельств.

Прислуге было приказано никого не пускать в дом до приезда Софьи Гавриловны или хотя бы Вари. А Маше – и не принимать, и не отлучаться, а если случится ехать к портнихе или в магазин, то вместе с горничной: Софья Гавриловна умела воспитывать, только ставя барьеры.

Маша с легкостью исполняла все предписания, не ощущая никаких барьеров, поскольку не было нужды преодолевать их. Портнихи ее заботили мало, а за нотами было рукой подать: на Кирочной, в доме Благородного собрания. Она любила музыку, интересовалась новинками и частенько наведывалась на Кирочную, аккуратно, как и приказано было, прихватывая с собою Дуняшу. В магазинчике ее хорошо знали, и хозяин Семен Алексеевич Крестов спешил навстречу:

– Здравствуйте, Мария Ивановна, добро пожаловать. Есть, есть свеженькое: специально для вас переписчикам заказывал. Извольте видеть: Моцарт, Россини, господина Чайковского романсы.

Маша перебирала за стойкой ноты, когда позади слабо звякнул дверной колокольчик. Хозяин вопросительно подался вперед, но так ничего сказать и не успел: вошедший осторожно кашлянул.

– Вот я и нашел вас, Мария Ивановна.

Маша вспыхнула, сразу узнав этот голос. Не оглядываясь, еще ниже пригнулась к нотам, а Семен Алексеевич уже забежал лукавыми глазками, да и Дуняша, сидевшая на стуле у дверей, встала, решив, что пришла ее пора действовать. Но Беневоленского не смутили ни хозяйские взгляды, ни грозный облик горничной: он просто не замечал их. Подошел со шляпою в руке, остановился за плечом. Маша всем телом чувствовала, где он остановился.

– Ваши церберы в дом не пускают, но я правильно рассчитал, что за нотами вы непременно придете. Да оглянитесь же, право, оглянитесь, я вас не укушу.

Обратно они шли вместе, отправив вперед Дуняшу с нотами. Догадливая Дуняша уже перестала изображать неподкупную дуэнью, шепнув Машеньке на прощанье:

– Я-то ничего, барышня, я-то с понятием. Но коли Агафья вас увидит, ой, разговоров будет! Так что ступайте-ка лучше на Блонье, а как наговоритесь, так я и приду.

Днем в сквере почти никого не было, только дети ковырялись в песке под присмотром нянек. Маша и Аверьян Леонидович прошли к закрытому павильону и сели на скамью.

Несмотря на умение молчать и любовь к молчанию, Беневоленский говорил и говорил, пока они шли. Говорил что-то очень непоследовательное и необязательное, и Маша понимала, что говорит он не то, что хочет сказать, и не слушала, а ждала. Ждала чего-то очень важного, самого главного, самого заветного; она и села-то вся в ожидании, вся готовая – нет, не слушать! – готовая всем сердцем, всей душой воспринять то, ради чего искал ее Беневоленский, ради чего так глупо и мучительно она краснела в нотном магазине, ради чего шла сюда, преступая воздвигнутый тетушкой барьер послушания.

А он замолчал. Как сел рядом, так и замолчал, совершенно незнакомым ей и несвойственным ему нервным жестом растирая руки.

– Мария Ивановна, Машенька, – начал он, но начал так робко, что сердце ее защемило вдруг от жалости к нему. – Я искал вас и, по счастью, нашел быстро, но, верьте мне, я бы прошел всю Россию, чтобы найти вас. Я не шучу, не смеюсь, я знаю, что слова мои избиты и затерты, но они искренни, Машенька, они идут от сердца, а сердце это бьется для вас. Знайте же это, знайте и помните: есть сердце, которое болит и радуется за вас. Я пришел, чтобы сказать вам об этом, сказать и уйти. Если потребуете, навсегда.

– Зачем же навсегда? – тихо-тихо спросила Маша, строго глядя перед собой и боясь шевельнуться.

– Машенька! – Он нашел ее руку; она не давала ее, прятала, но он все же нашел и прижал к губам. – Машенька, я люблю вас. Нет, нет, ничего не говорите! Я знаю, вы еще очень молоды, вам надо еще кончить ученье. А я буду ждать. Слышите, Машенька, я буду ждать вас всю жизнь!

– Молчите, – шепнула она, чуть сжав его руку. – Молчите же, а то я зареву сейчас.

Аверьян Леонидович поспешно закивал и замер, улыбаясь и глядя на нее счастливыми влажными глазами. Машенька почувствовала его взгляд и слышала его молчание, и ей было так хорошо, как не было еще никогда в жизни. То, что надеялась она услышать, было сказано, три заветных слова прозвучали, но не заглохли, не растаяли, не исчезли: отныне они хранились в самом надежном месте – в ее душе.

– Мы будем работать, – сказала она. – Вы слышите? Мы будем работать, мы будем приносить пользу, мы сделаем счастливыми множество людей, ведь правда?

– Правда, Машенька. Святая правда!

– Я все же поступлю на курсы. Ну зачем мне этот противный пансион? Там учат манерам, а не труду на благо народа. А я хочу труда. Я так хочу работать и... – Она запнулась, не зная, следует ли ей признаваться. – И страдать.

– Зачем же страдать, Машенька? Мы будем...

– Страдать во имя какой-нибудь идеи – это прекрасно!

– Да, да, это прекрасно, – тотчас же согласился он. – Я тоже закончу в университете и стану врачом. И мы уедем с вами далеко-далеко, где люди еще не знают, что такое лекарства, врачи, наука.

– Вы будете лечить их, а я учить детей! – с восторгом подхватила Маша. – Учить детей грамоте – это благородно, правда?

– Это прекрасно, Машенька! Это прекрасно!

По дальней аллее к ним неторопливо шла Дуняша.

– Я знаю, что у меня послушные и, главное, великодушные дети, – говорил за чаем Иван Гаврилович. – Да, да, великодушные, Софи! Великодушные, прекрасное и гордое русское великодушные они унаследовали от Ани. Не от меня, нет! Я мелочен, я эгоистичен, я обидчив и желчен. Да, да, я знаю, кто я есть. Знаю, знаю! Таким монстрам место в берлоге. Да-с! В норе, сестра, в норе-с!

– Иван, ты не прав.

– Нет-с, увольте! Не ставьте опытов на живых покойниках, не ставьте! Каждому свое, сударыня, каждому свое!

Софья Гавриловна больше не спорила. Она уже поняла, что старик не просто не хочет, а боится долгого и непосредственного общения с собственными детьми, боится ответственности, забот и хлопот, боится изменить привычный жизненный уклад. Убеждать его было бессмысленно и бестактно, и старая дама не без горького кокетства приняла твердое решение изменить свой собственный жизненный уклад, свою собственную налаженную жизнь и заменить в своем лице и мать и отца вдруг осиротевшим племянникам. Даже самыми послушными детьми необходимо руководить, в этом Софья Гавриловна была твердо убеждена.

2

Теперь скрипела не только их повозка: чем ближе подъезжали они к театру военных действий, тем все чаще встречались беженцы, потерянно бредущие за парой медлительных волов, раненые, на фурах и пешком, стада, которые угоняли подальше от прожорливых войск, оди-

нокие путники. Дорога ожила, но оживление это было оживлением кладбища: горе, слезы и смерть незримо и безгласно тащились им навстречу.

Теперь Бранко уже не вертелся на передке, тыча кнутом в посевы, деревья и дома, и не пел бесконечных песен. Сидел молча, нахохлившись. Изредка оглядываясь на бредущих позади волонтеров, горестно вздыхал:

– Турци!

Теперь шли втроем: штабс-капитан задержался на последнем ночлеге, решив дождаться властей. Убийство он воспринял весьма серьезно и озабоченно: долго расспрашивал хозяина, кучеров, ходил, смотрел, что-то вымерял. Отвиновский понаблюдал за ним, а когда тронулись в путь, сказал Олексину:

– Не говорите капитану о ноже. Он не в меру любопытен.

– Почему вы так дурно думаете о всех русских? – вспыхнул Гавриил. – Ваша подозрительность оскорбительна, милостивый государь.

– Поступайте как знаете. – Поляк пожал плечами. – Это совет, Олексин. Всего-навсего. Но по мне, уж коли что делать, так делать до конца.

Повозка их внезапно остановилась, они чуть не наткнулись на задок. Бранко, бросив вожжи, спрыгнул на землю:

– Милица! Милица, сестра!

Пара тощих волов лениво двигалась навстречу. На возу громоздились узлы, поломанная мебель, корзинка с гусыней, две неумело, кое-как разделанные свиные туши и две черненькие детские головки, торчащие как подсолнухи. Сбоку шла женщина в черном изорванном платье, с распущенными нечесаными волосами.

– Милица!

Увидев Бранко, женщина бросила хворостину, которой подгоняла волов, отшатнулась и закрыла лицо руками. Бранко обнимал ее, пытался оторвать эти руки, но женщина упорно сопротивлялась, громко крича:

– Куку мене, куку! Куку мене, Бранко!

Браз заплакали дети, загоготала гусыня, и только волы равнодушно вздыхали, поводя проваленными боками. А женщина кричала, отбиваясь от Бранко, но он все же оторвал ее руки и теперь целовал мокрое от слез лицо.

– Видать, сеструху встретил, – вздохнул Захар. – Ах ты горе-то какое!

Порылся в мешке, что лежал на их повозке, достал три куска сахара, подумал, забрал весь кулек и пошел к детям. Говорил им что-то ласковое, гладил черные взлохмаченные волосы, совал сахар.

Бранко немного успокоил женщину, отвел на обочину, усадил рядом. Судорожно всхлипывая, она что-то быстро говорила ему, старательно отворачивая избитое, в затекших синяках лицо.

– Война, – вздохнул Отвиновский. – Не такой ее представляли, поручик?

– А вы какой представляли?

– А я не представлял, я знал, что она такая, – сквозь зубы сказал поляк.

Оставив женщину на обочине, Бранко поспешно вернулся к повозке. Рылся в передке, вытаскивая съестное, судорожно шарил по карманам.

– Сестра? – спросил Отвиновский.

– Брата жена, – сказал Бранко. – Нету брата, нету больше. Налетели, грабить начали. Он за жену вступился – повесили. А ее опозорили. Говорит, если бы не дети, руки бы на себя наложила. На глазах у детей насиловали, пока не натешились. Дом подожгли, скотину порезали. Куку мене, господине, куку мене!..

Рыдая, он бился головой о телегу. Отвиновский обнял его за плечи:

– Успокойся, друг. Тут ничем не поможешь.

Ссадив детей рядком на обочину, Захар перекладывал вещи. Поладнее, по-мужски. Перевязывал веревками, крепил, подтягивал. Бранко ушел к Милице. Совал ей еду, деньги; она молча отводила его руку. Он рассердился, накричал. Тогда взяла, низко, до земли поклонилась.

– У вас есть деньги, Олексин?

Поляк уже вывернул карманы и теперь смотрел на Гавриила. Смотрел как-то с недоверием, почти зло. Поручик достал все, что у него было, отдал Отвиновскому. Поляк прошел к обочине, чуть не насильно сунул женщине их волонтерское жалованье. Потом вернулся.

– Турки прорвались, что ли? – спросил Гавриил.

– То не турки, то башибузуки. Иррегулярный сброд, сволочь всякая.

Через час расстались. Женщина по-прежнему шла рядом с волами, шагала босыми, до крови сбитыми ногами по пыли, так ни разу и не оглянувшись. Скрип медленно замирал вдали, а навстречу тянулся новый обоз, шли другие волы, другие женщины, другие дети. И только тот же скрип, словно стон, висел над пыльными сербскими дорогами.

К полудню их нагнал штабс-капитан. Прискакал на сытой паре с казенным – в форме – кучером.

– Спасибо властям, а то бы потерялись!

Пристроился позади повозки, пылил наравне со всеми. Когда поляк отошел, спросил негромко:

– Там все толковали о каком-то ноже. Вы не видели ножа, Олексин?

– Нет, – помедлив, сказал Гавриил; ему нелегко было солгать: нож лежал в кармане.

– Жаль, – вздохнул Истомин. – Это затруднит действия полиции.

– Разве у них есть полиция?

– Полиция всегда есть, – важно сказал Истомин. – Раз есть государство, есть и полиция. Да, весьма жаль, что вы ничего не заметили, – я говорю о ноже. Это ведь не простое убийство, Олексин, не простое! Это политическое убийство.

– Политическое?

– Убит агент французской тайной полиции, – понизив голос, сказал штабс-капитан. – Я знал, что он идет по хорошему следу, знал! И – такая неосторожность!

– Неосторожность?

– Дичь была опасной, поручик. Вы, конечно, слышали о Парижской коммуне? Остатки инсургентов разбрелись по Европе и, естественно, проникли сюда. Учтите это, поручик.

– Мне-то зачем учитывать?

– Вы мне симпатичны, Олексин, поэтому учтите. На будущее. Глупость только тогда является глупостью, когда совершается вторично.

– Я вас не понимаю, Истомин.

– Понимаете, поручик, не хитрите. Хитрость не ваша стихия.

Через сутки близость фронта стала еще заметнее. Беженцы почти исчезли, зато появилось множество сербских солдат – в одиночку и командами. У мостов и на перекрестках стояли часовые, в кустарниках виднелись палатки, всадники в форме то и дело проскакивали мимо с видом важным и озабоченным.

Переехали через охраняемый мост, и в зелени садов открылся Делиград. Над большим домом виднелся флаг Красного Креста.

– Вот и добрались, – сказал штабс-капитан. – Переночуете, а завтра представитесь начальству.

– Самому Черняеву? – спросил Гавриил.

– За Черняева не ручаюсь: и он, и его начальник штаба полковник Комаров очень заняты. А Монтеверде примет вас непременно. Сворачивай к штабу, Бранко.

Они проехали по мощеной улице среди военного и полувоенного люда, арб, фургонов и свернули к белому одноэтажному зданию, окруженному забором. У ворот стояли часовые-сербы, но Бранко крикнул им, и они тут же распахнули створки.

В большом дворе горели костры, на которых сербская охрана готовила ужин: чувствовался пряный запах паприкаша. У забора тянулись ряды палаток и шалашей, у коновязи фыркали расседланные лошади.

На веранде, окружавшей дом, стояли несколько молодых офицеров. Они без особого интереса глянули на въехавшую повозку, один из них, с Таковским крестом на груди, крикнул:

– Это вы, Истомин? Ну, как ваша печень?

– У меня не печень, а желудок, – ворчливо поправил штабс-капитан. – Надеюсь, мой шатер не занят? – Не дожидаясь ответа, пояснил: – Это Мусин-Пушкин, ординарец Черняева. Олексин, вы переночуете у меня, а вас, господа, устроит Бранко. Завтра к семи утра прошу быть здесь.

Бранко поехал дальше, огибая дом; Отвиновский и Захар прошли следом, а Гавриил остался. Штабс-капитан кивнул, и они вместе подошли к офицерам, курившим на веранде.

– Господа, рекомендую нового товарища, – сказал Истомин. – Поручик Олексин.

Офицеры церемонно откланялись, Мусин-Пушкин – совсем еще юный, с легкомысленно-блудливыми глазами – спросил скорее из вежливости, чем из любопытства:

– Где желаете послужить угнетенному славянству, поручик? При штабе, при интендантстве, а может быть, при Красном Кресте? Со своей стороны рекомендую Красный Крест: есть очаровательные сестрички. С ними не соскучитесь, а сербки на меня нагоняют тоску. Нет, право же, господа, они говорят о несчастной родине даже в объятях!

– Возможно, ваши объятия недостаточно крепки? – насмешливо спросил офицер с цыганской, черной, вольной бородой.

– Мысль о крепости объятий вас посещает после контузии? – осведомился Мусин-Пушкин. – Ничего, у некоторых, говорят, это проходит.

– Фи, Серж! – недовольно сказал штабс-капитан. – Это недозволенный прием.

– Беру назад, – тотчас же согласился ординарец. – Итак, Олексин, куда же прикажете вас пристроить?

– Благодарю, не утруждайтесь, – сухо сказал Гавриил. – Я пристроюсь в строй.

– Строй! – неприятно рассмеялся Мусин-Пушкин. – Это ведь не плац-парад на Марсовом поле, поручик.

– Представьте, я догадался об этом еще в Москве.

– Полагаю, что знакомство состоялось, – сказал Истомин. – Проводи меня к Черняеву, Серж.

– Не знаю, примет ли он...

– Не важничай, я знаю тебе цену. Я ненадолго оставлю вас, поручик.

Штабс-капитан и ординарец прошли в дом. Следом потянулись еще два офицера, и с Олексиным остался чернобородый.

– Кажется, здесь не очень-то радуются соотечественникам, – сказал Гавриил.

– Вы не узнаете меня, Олексин? Мы вместе учились в Корпусе. Я Совримович.

– Боже мой, Совримович! – Гавриил радостно сжал протянутую руку. – Во всем виновата ваша борода.

– Во всем виновата контузия: мне попортило лицо. Рад встрече, очень рад. Ужинали? Идемте в кафану: там неплохое вино.

– А Истомин?

– Истомин найдет вас даже тогда, когда вы этого не захотите. – Они шли через двор к воротам. – Кстати, вы давно знакомы с ним?

– Немного по Москве и три дня здесь: вместе ехали из Белграда. Он лечил там желудок.

– Его желудок здоровее вашего, – вздохнул Совримович. – Он пытается лечить не свои язвы, Олексин. Впрочем, здесь все интересуются чужими болячками и тайком прописывают друг другу рецепты. Иногда сильнодействующие, как, например, Измайлову.

– Должен сказать, что он произвел на меня странное впечатление.

Они миновали ворота, пересекли дорогу и вошли в наспех сколоченное легкое помещение, где горел открытый очаг и стояло несколько столов. Сели в дальнем углу, молчаливый хозяин быстро подал глиняные кружки, кувшин с вином и пресный кукурузный хлеб.

– Измайлов стоял у истоков волонтерского движения, – сказал Совримович, наливая вино. – А после первых неудач поспешно обвинен в некомпетентности и практически изгнан. Вы прибыли с рекомендательными письмами?

– Нет.

– С искренними приветствиями от великих князей, генерал-адъютантов или иных сильных мира сего?

– Господь с вами, Совримович, я сам по себе.

– Тогда ни Черняев, ни Комаров, ни даже Монтеверде вас не примут, Олексин. Вы получите назначение через меня или через того же болтуна Мусина и отбудете с глаз долой, освобождая место тем, кто придет не с пустыми руками, – усмехнулся Совримович. – Это грустно, дружище, очень грустно, но это так. Не подумайте, что я изменил свое отношение к Черняеву: это было бы отступничеством. Я по-прежнему считаю его личностью выдающейся, прекрасным организатором и отважным вождем. Но... но он настолько растерялся после турецкого афронта, что начал обеспечивать собственное почетное отступление прямехонько в Санкт-Петербурге. И безмерно возлюбил молодых людей, имеющих мощную руку в милом отечестве. Вся столичная шушера ринулась в его штаб за крестами и карьерой, и дельные работники были вынуждены потесниться, дабы очистить им безопасные местечки.

– А Истомин?

– О действительной службе Истомина можно только догадываться, Олексин. Он регулярно уезжает в Белград, жалуясь на желудок, но лечится не у врачей, а у полугласного русского представителя. О чем он с ним беседует, я не знаю, но советую не пускаться в откровенности.

– Я приехал сражаться, а не разговаривать.

– Эту возможность вам предоставят с радостью. Сербы – неплохие солдаты, дерутся отважно и стойко, но офицеров катастрофически не хватает. А может быть, и хватает, только штаб не подозревает об этом.

– Как – не подозревает? Разве не существует учета?

– Учет существует, управления не существует, Олексин. Практически штаб выпустил из рук всю кампанию, и партизанская система постепенно вытесняет планируемые операции. Где кавалерийский отряд Медведовского? Где-то ведет бои на свой страх и риск. Где корпус Хорватовича? Связь перерезана турками, и мы даже не знаем, дошла ли до него недавно прибывшая русская батарея или захвачена противником.

Олексин молчал, подавленный новостями, что свалились на него вдруг, посыпавшись, как из дырявого мешка. Странное поведение полковника Измайлова он тогда приписал личным обидам бывшего начальника штаба, но Совримович говорил о том же, причем говорил не просто с болью, но и с чувством горького разочарования, которое уже ощущал, но еще боялся в него поверить, принять и признать как реальность.

– Вы мне не верите, – усмехнулся Совримович, точно прочтя его мысли. – Я понимаю вас, Олексин. Боже правый, как я рвался сюда! Какие трубы пели в душе моей в тот день, когда я впервые вступил на эту землю! Это самонадеянно, я понимаю, самонадеянно и нескромно, но я ощущал себя спасителем несчастных братьев моих по крови и вере. Я с радостью готов был отдать свою жизнь за свободу и счастье всех людей, я...

– Теперь уж не отдадите? – неприязненно спросил Гавриил. – Поумнели или... постарели, может быть?

Совримович грустно улыбнулся, покивал головой. Налил вина, отхлебнул.

– Здесь все странно, Олексин. Здесь как в жизни, понимаете? То, что мы знали, – это как в книгах, а здесь – как на самом деле.

– И что же на самом деле?

– Пожалуйста, не перебивайте меня. Я и сам еще ничего не понял, я просто увидел, сопоставил, почувствовал, но выводов у меня нет. Восстание готовилось скверно, точнее, вообще не готовилось, но пока мы наступали, сербскому мужику было что приобретать, и он шел вперед. А когда турки, подтянув армию, начали нас бить, тому же мужику нашлось что терять. У него есть что терять, и он призадумался. Он интуитивно, без всякой логики понял, что восстание обречено, что не только весь мир, но даже Россия не очень-то спешит к нему на выручку, вынужденная из политических соображений отделяться волонтерским энтузиазмом. И воевать ему расхотелось, Олексин, расхотелось. Он внутренне уже стремится к миру, он уже не хочет войны, и турки сразу это поняли. Вы не поверите, но они вдруг стали относиться к сербам вполне добродушно, вплоть до того, что отпускают пленных по домам. Конечно, я говорю о регулярной армии: башибузуки грабят, убивают и насилуют, пользуясь беззаконием, но это бандиты и мародеры, и не о них речь. А политика турок очень продуманна, и это понятно: в тылу у них Болгария, пороховой погреб, уже взорвавшийся в апреле. И создается впечатление, что турки готовы уступить здесь, готовы поиграть в демократию, лишь бы только сохранить за собою Болгарию: слишком уж близко она от Константинополя...

– Так и думал, что вы здесь, – устало сказал Истомин, подходя. – Что, Совримович, как всегда, пугаете неофитов? Не скучно ли вам при штабе? О, простите, у вас же контузия, я запомнил. Я за вами, поручик. Завтра вас примет Монтеверде, а сегодня, пожалуй, пора и соснуть. Не возражаете, Совримович?

Совримович молча поклонился.

3

– Одежка-от худа у тебя, барин. Худа-а. Задожжит-от, студено станет, так и помрешь. Ай, худа одежка, худа-а...

Маленький, шустрый, розовый от седины старичок привычно раздувал костер, прилаживал котелок, аккуратно подгребал угли, отмеривал соль, осторожно с ладони сыпал пшено в кипящую воду. Он непрерывно двигался, но не напрасно, не ради движения, а что-то делая при этом: готовя пищу, приглядывая за костром, подбирая сучья или штопая одежду. И беспрерывно говорил ровным, тихим старческим тенорком:

– Вот ты, барин, от дома-от ушел, а зачем-почему – молчишь-от. А все свой корень имеет. Я, к примеру, чего ушел-от? А того я ушел, что смерть почувал. Да, да! Помирать да не оглядевшись – какая корысть? Не-ет, ты оглядись сперва-от: на Страшном суде спросят, поди. Спросят, а? Мир-от божий видал, спросят? Или так и прожил, в землю уставясь? Да-а. Спросят-от, спросят! Вот я и ушел. От дочки ушел, от сына ушел, от внуков ушел: оглядываюсь. Шестой-от годок все оглядываюсь и оглядываюсь: хорош божий мир, барин! Ой хорош, ай пригож, ай помирать-от обидно, как хорош!

Федор лежал поодаль, смотрел на огонь, на закопченный котелок, в котором булькала похлебка, на крупные августовские звезды, что высыпали на еще светящее у горизонта небо. Слушал плавный говорок деда, звон кузнечиков в порыжевшей траве, мерный колокол далекого села и ни о чем не думал. Это было удивительное состояние покойного бездумья, когда все видишь и все слышишь так, как есть на самом деле, когда окружающий мир точно вливается в душу – и душа распахивается навстречу, принимая мир таким, каков он есть издревле,

и сама сливается с ним. И уже нет ни тревог, ни забот, а есть лишь тихая, умиротворенная грусть созерцания. От армяка, которым накрыл его дед, пахло пылью дорог, дымом и чуть, еле уловимо, – избяной прелью, и это было тоже частью мира, жизнью, прошлым и будущим одновременно, как представлял себе сейчас мир, жизнь и будущее дворянский сын Федор Олексин.

Ему казалось, что он уже давным-давно бродит по бесконечным дорогам, ночует у костров, ест что придется, пьет, что зачерпнет, и слушает, слыша все и ни во что не вслушиваясь. Вначале он пристал к мужикам-погорельцам, но они пропивали вечером то, что выклянчивали за день, горланили, дрались, скотски ругались, и он ушел.

Бродил один, голодал, потому что не умел и не хотел просить, мерз ночами и почти не спал, пугаясь темноты и одиночества, а потом встретил шустрого румяного старичка Митяича.

– В Киев-от пойдем, барин? Святым угодникам печерским поклонимся. Сильные угодники в Киеве, Богородица любит их.

Старик собирал в деревнях подаяние, чем они и кормились. Федору нравилось, как он собирал: он не клянчил, как погорельцы, а – рассказывал. Про угодников, которых сама Богородица потчует чаем, про чудеса, про красоту земли, про птиц и зверей, про людей, которых встречал, и про истории с ними, которые складно выдумывал. Начинал он свои разговоры еще на улице, но под окнами никогда не брал, а лишь благодарил душевно и ждал, когда позовут в избу. А там ел, что давали, и брал про запас, щедро расплачиваясь бесконечными разговорами. А города обходил, да и в деревнях богатых изб сторонился.

– Мошна-от – забор меж людьми, барин. Ту же мошна – выше забор. И нет на всем божьем свете щедрее бедного человека.

Федор жил нахлебником и тяготился этим: пожалуй, это было единственное, что омрачало его теперешнюю жизнь. Попробовал есть поменьше, отказываться, но долго не смог: он был очень молод и не готов к такому искусству. Тогда сказал, что хочет сам добывать пропитание, что готов работать, или рассказывать, или...

– От ума говоришь, барин, от ума, не от сердца-от, – улыбнулся Митяич в реденькую – волосики на счет – бородку. – Значит, гордыня в тебе покуда живет, гордыня. Так ведь гордыню-от твою и услышат, коль рассказывать почнешь. Гордыню, а не душу твою. А за гордыню хлебушко не дают. Так-от, барин, так-от. А что меня объешь, не тужи. Не объешь-от, сам-от понимаешь. Хлебушком не поделиться – самый тяжелый грех, барин. За него на том свете в кипящий мед окунают: пей, жадная душа, сколько вместишь.

Встречались попутчики: богомольцы, страждущие узреть монастырского старца или приложиться к чудотворной; странники, гонимые то ли голодом, то ли страстью; бродяги без роду без племени, идущие куда глаза глядят. Дед Митяич любил попутчиков, но бродячий люд льнул к найденным дорогам, к почтовым трактам, а старик предпочитал проселки, а то и просто тропочки, по которым брел от деревни к деревне, кружа и плутая, но чутьем выдерживая верное направление.

– Вот и напитались, вот и славно. – Митяич неторопливо, с толком перекрестился. – Сыт ли, барин?

– Сыт. Спасибо, дедушка.

– А не мне, не мне благодарствие. Царю Небесному благодарствие, Царице Небесной – заступнице нашей, да людям добрым. Так-от, барин, так-от. Бог в душе, так и добро в душе, а коль Бог в церкви, так-от и добро на весах да в словесах. Сейчас чайку попьем: малинки сушеной девочка дала – дай ей Бог деток хороших, – с малинкой-от и попьем. Утробу грешную пореем...

– Свет да тепло, православные! – басом сказали из темноты.

– Милости прошу, милости прошу, – оживился старик. – Кого Бог-от послал?

– Странников Божьих. Здравствуйте, люди добрые!

В освещенный круг вступила корявая деревяшка и нога, обутая в огромный разлапистый сапог. Все это неторопливо опустилось на колени, и Федор увидел заросшего по брови дюжего мужика в порядке изношенной солдатской форме и армейском кепи с большим козырьком.

– Отставной фейерверкер ракетной батареи Киндерлинского отряда его высокоблагородия полковника Ломакина Антип Сомов, – представился косматый. – Ранен в деле при взятии Хивы, а со мною товарищ из чиновников Белоногов.

– Отставной губернский секретарь Белоногов Иван Фомич. – К костру мягко скользнула тщедушная фигурка в порыжелой крылатке. – Сбились с пути да, слава Господу, на ваш огонек.

– Милости просим, милости просим, – ласково суетился Митяич. – Кипяточку-от, кипяточку не желаете ль? Есть и хлебушко, коли голодны, есть-от хлебушек да сольца.

– Благодарствуем, – басом сказал солдат. – Есть свой припас. А кипяточку выпьем. Выпьем кипяточку, Иван Фомич?

– Беспременно, Антип, беспременно. – Чиновник достал жестяные кружки и колотый сахар в тряпочке. – Угощайтесь. Куда путь держите?

– В Киев, – нехотя сказал Федор.

– Мать городов русских, – с уважением отметил Белоногов. – А сами кто будете? Ежели по обличию – студент?

– Студент.

– Ученость, значит. Из каких же сами-с? Из дворян, поди?

– Из дворян, – с неудовольствием сказал Федор. – Место ли здесь любопытствовать, сударь?

– Нет, позвольте, позвольте, такая редкость – благородный человек среди природы дикой. Небывалость! Наблюдаете жизнь? Да, да, приятно-с, приятно-с. Весьма!

Чиновник Федору не понравился: был болтлив, привычно гибок, все время вытирал потные руки и восторгался. Солдат, усмехаясь, молча пил чай, громко, со вкусом круша сахар крепкими белыми зубами. Поймав взгляд, улыбнулся, сказал добродушно:

– Угощайся, барин. Не краденое.

– Спасибо, спасибо, – поспешно отказался Федор. – Мне, знаете, с малинкой.

– Простыл-от, – сокрушенно покачал головой Митяич. – Одежка худа больно.

После чая улеглись, с головой завернувшись в армяки и накидки: ночи были росные, хоть и теплые. Солдат сразу же захрапел, дед Митяич тоненько подсвистывал ему, а чиновник все жужжал и жужжал Федору в ухо:

– Истощился я по образованности, милостивый государь мой. Да-с. Помилуйте-с, третий год уже среди сермяги и дегтя-с брожу, третий годок! Да-с, чиновник есмь, до двенадцатого класса дослужился, до чина губернского секретаря-с. Двадцать семь лет верой и правдой, верой и правдой, а пенсия лишен-с. Уволен несправедливо и обидно для седин своих, выброшен-с, выброшен-с, ваше благородие.

– Оставьте звать меня благородием, – глухо вздохнул Федор под армяком.

– Как можно-с, как можно-с, мы понимаем! Да-с, чиновник, крапивное семя. Ни состояния, ни мастерства. Конечно, гордый человек в чиновники не пойдет, потому как полный произвол, полный произвол-с! Гибчайшую спину надо иметь, чтоб удержаться, гибчайшую-с. Потому, извольте ли видеть, что одно жалованье! Лижи руку дающую, лижи, даже если бьет она. Собачья жизнь-с, собачья, ваше благородие.

– Да оставьте...

– Нет, как можно-с, как можно-с. Вот среди подлого народа вынужден коротать дни своей старости. Не потрафил, да, не потрафил-с своевременно кому следует-с – и выброшен, аки пес, рык растерявший. Но я горд, горд, я благородный человек, подавания от подлейших сил не прошу. Я, извольте ли видеть, слог имею и почерк. Тем и кормлю брэнность свою.

Федор вертелся под армяком, затыкал уши: гнусавое жужжанье доводило до отчаяния. Чиновник то жаловался на судьбу, то ругал мужиков, снова жаловался и снова ругал, и Федор уснул под это нытье с головной болью. А проснулся от мощного веселого рева:

– Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!

Инвалид трубил в кулак воинские сигналы, хохотал, бодро прыгал на деревяшке, собирая хворост. Он был жизнелюбив и громогласен, жил в полной гармонии со всем миром, принимая каждый день радостно и буйно.

– Сиди, дед, грей косточки, а я попрыгаю. Ух ты, солнышко мое, здорово! Батарея, по порядку р-рассчитайсь!

Чиновник куксился, кутаясь в древнюю крылатку, кряхтел, кашлял, жаловался:

– Прежде-то, изволите ли видеть, кофей по утрам пил.

– Лик сполосни, господин Белоногов, да солнцу возрадуйся! – гремел солдат. – Фейерверкеры, не зевать! Наводи по лаве, к огню готовьсь!..

– Ай веселого человека Бог послал, – радовался Митяич. – Ай славно-от, ай хорошо!

В полдень вышли к большому селу. Солдат остановился, оправил потрепанную форму, подтянул ремень, вынул из-за пазухи завернутый в тряпицу солдатский Георгиевский крест и важно приколот его к груди.

– Мы, господа хорошие, милостыню не собираем, – сказал он, пытаясь пятерней расчесать свалывшуюся бороду. – Я мужикам о сражениях рассказываю, а Белоногов письма да прошения пишет. Потому вчетвером нам не с руки: поодиночке надо. А опосля тут соберемся.

– Добро, – сказал Митяич.

– Вы, барин, может, со мной желаете? – спросил солдат.

– А не помешаю?

– Никоим разом, барин.

Федор с удовольствием пошел с инвалидом. Он нравился ему звонкой веселостью, да назидательные легенды старика уже приелись: Митяич часто повторялся, путал, и Федора все время подмывало поправить его. Кроме того, было любопытно, что рассказывает солдат о лихих схватках с далекими хивинцами.

Слушателей нашли они на удивленье быстро: солдат постоял у колодца, попил водицы, пошутил с молодежью, выяснил, у кого сын на действительной, и ходко захромал в указанные избы. Заходил, кланялся, желал здоровья, расспрашивал о сыне-солдате, отказывался от угощения и шел дальше. За ним уже хвостом тянулись ребятишки, а он ходил из избы в избу, намекал, что готов рассказывать, а сам приглядывался, выбирая не только дом, но и хозяев, учитывая не только зажиточность, но и интерес, с которым встречали его. Он искал и театр, и публику намеками и обещаниями. А когда нашел, что искал, когда уселся прочно в красном углу – во всех окнах торчали любопытные лица, и то и дело хлопала дверь, пропуская все новых и новых слушателей.

– Потерял я свою ноженьку при кровавом штурме города Хивы, – неторопливо и словно бы нехотя начал фейерверкер, сворачивая сигарку из хозяйской махорки. – А город этот есть столица самого Хивинского ханства, и стоит он посреди страшенной пустыни, где, окромя песков да русских косточек, и нет ничего.

Слушали его, затаив дыхание и раскрыв рот. Цыкали на опоздавших, и те, сняв шапку, молча крестились на образа и усаживались на лавках, а то и просто на полу.

– Вышли мы в поход на Василия Капельника, а жара стояла, как в русской печи. А на тебе амуниция полная, патронов сорок штук, сухарей на три дня, ружье да тесак, котелок да скатка, да еще верблюда ведешь: вода на нем в турсуках приторочена. А песок под ногами осыпается, ровно назад тащит: шаг шагнешь и другой шагнешь – ан только песок месишь, а сам где стоял, там и стоишь. Пушки по оси вязнут, ни кони, ни верблюды не берут. «А ну, ребяташки, навались! Раз-два, взяли!..» – скомандует офицер, и сам с коня долой, и сам за

колесо хватается, потому как надобно вытащить, а солдатушек мало. Облепим пушечку – ну, милая, ну, соколики, ну разом, ребяташки! Аршин протащим и в песок падаем: мочи нет. Пот глаза ест, рубахи – хоть выжми, а во рту ровно засуха, и язык что лист сухой, аж шуршит, когда говоришь. А пить нельзя, упаси Бог глоточек сделать по жару: враз фельдфебель кулаком по роже, а то и казак какой с седла нагайкой огреет, да с потягом, да со злостью: самому-то пить тоже не велено, тоже мается, сердешный.

– Пить-то неужто не давали? – поразилась какая-то молодка. – За что же муки-то такие, господи!

На нее было зашикали, но бравый фейерверкер милостиво улыбнулся.

– Пить вечером да утром, да и не досыта, а по кружечке. Воды нету там, и дождей не бывает ни капли. А колодец от колодца – день пути, а то и два дня. Двадцать седьмого да двадцать восьмого апреля воды и капелечки не было, и как уж мы до колодца Коль-Кинир добрели, Бог один знает. Ползли уж, а не шли, ползли, а пушки ползком тянули. Верблюды полегли, лошади подкосились, а мы, солдатушки, ползком пушечки свои да батарейку ракетную волоком. Приползли, а туркмены колодезь тот падалью забили. Ну, думаем, вот она, смертынька наша, посреди пустыни, знать, нашла нас!

Солдат замолчал, сосредоточенно скручивая сигарку. Среди слушателей шорохом пронесся вздох, бабы утирали глаза кончиками платков, мужики нахмурились. Федор слушал рассказчика и следил за аудиторией с живейшим интересом: здесь не было равнодушных, здесь близко к сердцу принимали чужую боль и чужие страдания, хотя и эта боль, и эти страдания были бог весть когда и бог весть где. Он почему-то вдруг вспомнил свое последнее свидание с Беневоленским, но вспомнил походя, весь в ожидании, когда солдат продолжит свой рассказ.

– Спасибо, офицеров нам Бог послал и сердешных и боевых, – продолжал Антип. – В походе вровень с нами страдали, вровень с нами орудия волокли, вровень пили и ели, да не вровень отчаивались. Был у нас полковник Скобелев Михаил Дмитриевич – молодой, собой что богатырь: косая сажень. Ус аржаной, а глаза синие-синие и веселые – ну Бова-королевич, да и только! «Не верю, – говорит, – что помирать нам здесь, ребята! Не верю, что воды нет, быть того не может. Лежите, – говорит, – здесь, отдыхайте, а я пойду колодцы искать. Либо всех спасу, либо сам в пустыне погибну, не поминайте лихом, братцы!» Взял он с собой десяток казаков да проводника-киргиза – хороший был товарищ, хоть и басурман, – и в пески ушел. Лежим мы на песке вповалку, кто где упал, усталь такая, что косточка косточке слезно жалуется, и сил нет, чтоб шинелью укрыться. Стволы ружейные да орудийные лижем: роса на них мелкая, как пыль. Лижем, значит, и смерти ждем. А полковник Ломакин, командир наш, ходит середь нас и говорит. «Ничего, – говорит, – ребяташки, русские никогда не сдавались. Быть, – говорит, – того не может, чтоб Михаил Скобелев слова своего не сдержал».

Как-то незаметно, будто сам собой появился перед инвалидом полуштоф и кружка, миска с огурцами и ломти свежего хлеба. Но он не замечал ничего, не меньше слушателей увлеченный собственным рассказом.

– Двое суток лежмя лежали мы в песках. И кони наши легли, и верблюды уж не ревели, и только вороны кружили, скорую поживу ожидая. Ан не допустил Господь солдатской гибели. Прискакал киргиз-переводчик: есть вода, говорит, много воды. Полковник Скобелев с казаками у колодца от туркмен-иомудов отстреливаются. «Сдавайся!» – кричат ему. «Убирайтесь к черту, – отвечает он, – мне солдат своих напоить надо». – «Скачите за мной на помощь да турсуки для воды берите!» И откуда силы взялись: как один все встали. Казаки коней подняли, трубач тревогу заиграл: вперед, молодцы! На вырубку!

Голос солдата прервался. Он смахнул слезу, прикурил от услужливо протянутой лучины. Ему было водку пододвинули, но он отстранил ее.

– Вот за то геройство, за спасение наше и присудили мы, георгиевские кавалеры, чтоб лихому полковнику нашему его высокоблагородию Михаиле Дмитриевичу Скобелеву беспре-

менно пожалован был солдатский Георгий. Верите ли, братцы, прослезился полковник, принимая его. Не знаю, говорит, где буйну голову сложу, не знаю, сколько еще наград государь мне пожалует, а только ваш крест, солдаты, товарищи мои боевые, всегда буду носить на самом переду как главнейшую из наград своих...

Возвращались обласканные, напоенные и накормленные. Солдат был взволнован успехом и собственным выступлением и с гордостью нес к вечернему костру жбан водки, купленной всем миром герою в дорогу. В заплечной торбе лежали сухари и хлеб, пшено и сало, огурцы и бутылка конопляного масла: слушатели не поскупились.

– Хорошо ты рассказывал, Антип.

– Сказки да песни – солдатская утеха, барин. Соберемся, бывало, у костра, ну и пошло. И бывальщины и небывальщины – все одно, было бы складно.

– А про Скобелева правда?

– Святой истинный крест! Это не изволь сомневаться. Глаз синий, а усы аржаные: увидишь где, сразу узнаешь. Вот и спроси тогда, за что у него солдатский Георгий.

– Да где я его увижу?

– Господские дороги пересекаются, барин.

Было еще светло, тепло и тихо. Звонко стрекотали кузнечики в траве, в низинах сгушался туман, с востока полнеба охватила тяжелая марь; под нею слабо светился костерок деда Митяича, возле которого копошились четыре фигуры.

– Видать, гости у нас! – удивился фейерверкер.

Кроме Митяича и чиновника, у костра сидели толстая баба и девочка лет десяти. У бабы было румяное лицо с тугими, будто надутыми, щеками, среди которых робко прятался маленький, сильно вздернутый носик; девочка, напротив, выглядела болезненной то ли от худобы, то ли от землистого цвета кожи. Быстрыми глазенками при полной неподвижности она напоминала мышку.

– Тебя как звать-то? – спросил Федор, давая девочке яблоко.

– Паня, – еле слышно ответила девочка.

– А меня Ульяной, – кланяясь, певуче сказала баба. – Прощения просим, барин, что без вашего позволения в гости пожаловали, да места не просидим, уголька не украдем, а с бабыным голосом спится крепче.

Бабенка была развязна и словоохотлива. Белоногов суетился возле нее, вскидывая козлиную бороденку. Сонные и всегда скорбные глазки его заострились и замаслились, скользя вокруг пышных бугров Ульяны.

– Гость к обеду лучше к соседу, а гость ко сну – милости прошу, – сказал солдат, заметно оживившись. – Эй, баба Ульяна, не ходи полупьяна, а ложись на печь, да и мне дай лечь!

При этом он ласково огрел бабенку по крутому, как у кобылицы, заду и закрутил ус. Ульяна кокетливо взвизгнула и захохотала, чиновник оторопел, а дед Митяич довольно отметил:

– Солдат хват: не ужом ползет, а соколом бьет.

– Расстилай, дед, скатерть-самобранку, – сказал фейерверкер, развязывая торбу. – Потрудились мы сегодня знатно, не грех и отдохнуть приятно.

Федор от водки отказался: выпил немного в селе, где их угощали после рассказов. Посадил девочку рядом, кормил ее; девочка молча и с жадностью ела.

А напротив хохотала и взвизгивала баба, которую то и дело хлопал и щипал солдат, завистливо и плаксиво шипел Белоногов и ласково пьянел старик.

– Эх, Ульяна-баба! Пей до дна, не гуляй одна!

– Так ее, солдатик, так ее, сердешный, – приговаривал Митяич, любовно оглядывая всех ласковыми захмелевшими глазками. – Ай, жизнь больно славна, да обидно – прошла!

Белоногов ерзал с другого бока толстухи. Лез с поцелуями, тискал, пытался обнять. Ульяна локтем отталкивала его, отворачивалась, явно предпочитая солдата. Федору был одинаково противен и ее визг, и сопенье чиновника, и самодовольные солдатские шлепки по мясистому бабьему телу. Он старался не смотреть, разговаривал с девочкой, но непонятная сила, которой он уже мучительно стыдился, заставляла его изредка, будто подглядывая, вскидывать глаза и сразу с пронзительной ясностью отмечать, что делалось напротив. Он тут же отворачивался, но увиденная картина не исчезала; он краснел и стеснялся, с удивлением ощущая нарастающий стук собственного сердца.

– С дочкой бы занялась, – с раздражением сказал он. – Спать ей пора.

– А пусть ее! – крикнула раскрасневшаяся баба. – Не дочка она вовсе, а найденка. Я ее в городе Туле на базаре нашла да и с собой взяла: с ней подают больше.

– Своих-то, поди, свекрови подкинула? Баба ты в соку.

– Своих Бог прибрал. Всех прибрал: и мужа, и деток, и свекровь со свекром. Лихоманка у нас полсела скосила.

Все это Ульяна прокричала без всякой печали, а даже с удовольствием, словно смерть близких была благодеянием, осчастливившим ее. А прокричав и хватив полкружечки за упокой, вскочила вдруг и завертелась, притоптывая и прихлопывая:

Ай, куку, куку, куку,
Я сидела на суку,
Меня маменька звала,
А я вишенки рвала.
Ух! Ух! Ух! Ух!

Она закружилась, раздувая юбками пригасшее пламя, закачалась, вывалилась из освещенного круга и с маху села на землю. Солдат хотел было вскочить, но помешала деревянная нога, и чиновник успел цепко схватить его за руку.

– Антип, не смей! Слышишь, Антип? Моя! Себе вел, сговорено с ней. Не обижай, Антип, слышь, не обижай!

– Куда тебе, возгря!

Солдат сбросил его руку, вскочил, вприпрыжку поскакал к Ульяне.

– Становому пожалуюсь, хам! – визгливо закричал Белоногов. – Мое, не трожь! Мое это!

Он на четвереньках пополз за солдатом. В темноте послышалась возня, хриплый солдатский рык и два хлестких удара.

– Тебе спать пора, спать, – сказал Федор девочке.

Не вставая, хотя ему очень хотелось встать и посмотреть, что творится за светлой чертой, Олексин подтянул к себе армяк, закутал в него Паню. Дед Митяич уже спал, с головой укрывшись драным тулупчиком. Федор посидел рядом с девочкой, напряженно прислушиваясь к громкому пыхтению, визгливым всплескам женского смеха, тоненькому жалобному всхлипыванию чиновника и гулким ударами собственного сердца. Потом встал и пошел от костра.

Он понимал, что совершает нечто постыдное, но удержаться уже не мог. Он не знал ни одной женщины в своей жизни, имел самые сумбурные понятия о практической стороне любви, а тело было молодо, и силы, уже неподвластные рассудку, тащили его в темноту. Он сделал большой круг и зашел так, чтобы солдат и Ульяна находились между ним и костром. Шел осторожно, напряженно вслушиваясь и с трудом сдерживая собственное тяжелое дыхание.

Он почти наткнулся на них; увидел вдруг под ногами что-то шевелящееся, неестественно белое, обмер, перестав дышать, взгляделся и понял: белыми были ноги, толстые женские ноги, широко разбросанные на стороны. Между этими белыми ногами лежал солдат, а рядом... Рядом стоял Белоногов. Жар обрушился на Федора внезапно, как обвал; он весь покрылся

липким омерзительным потом. Закрыв лицо руками, бросился в темноту, долго ходил там, постанывая от мучительного гнусного стыда перед самим собой.

Успокоившись, пошел к костру. Огонь почти погас, тени вокруг сгустились, и Федор, подойдя, сначала ничего не понял: армяк, которым он укутал девочку, шевелился. Он рванул его: под армяком, всем телом прижавшись к спине то ли спавшей, то ли просто притихшей Пани, лежал Белоногов. Шарил трясущимися руками по телу и шептал, задыхаясь и трудно глотая слюну:

– Ну, повернись, лапушка. Повернись, цыпочка...

– Как смеешь, мразь! – закричал Олексин. – Как смеешь?!

Не помня себя, он бил чиновника ногами в лицо, топтал руки, плевал на него. Чиновник молча извивался, стараясь отползти.

– Подлец! Подлец! Подлец!

Белоногову все же удалось извернуться и выкатиться в темноту. Федор не стал преследовать: его била дрожь. Присел у костра, скорчился, обняв руками плечи. Почувствовал взгляд, повернул голову: девочка молча смотрела на него немигающими взрослыми глазами.

– Спи, Паня, спи.

Он погладил девочку: лоб был мокрый, видно, вспотела от страха. Укутал ее в армяк, вновь скорчился у костра, замер.

Дед Митяич невозмутимо посапывал во сне. Да и пыхтенья за костром больше не слышалось: доносился лишь тихий смешок женщины да устало басил солдат.

Страшный удар вдруг обрушился на Федора. Он скорее услышал его, чем почувствовал. Услышал тяжкий тупой грохот в голове, увидел нестерпимо яркие искры перед глазами и мягко опустился на бок, сразу потеряв сознание.

4

– Поручик Олексин, честь имею прибыть! – представился Гавриил, вслед за Истоминым входя в кабинет помощника начальника штаба.

Стройный, подтянутый блондин, выпятив грудь, молча кивнул, в упор глядя на Олексина бесцветными остзейскими глазами. Штабс-капитан сел, закинув ногу на ногу, а поручик все еще стоял в дверях под немигающим взглядом полковника. Потом Монтеверде указал на стул, а сам остался стоять, слегка барабаня пальцами по столу.

– Уволены из армии? Дуэль? Долг чести? Растрата? – вдруг быстро спросил он.

– Отнюдь, – несколько удивленный началом разговора и потому помедлив, сказал Гавриил. – Числюсь в годичном отпуску по семейным обстоятельствам.

– В Сербию за крестом? Славой? Карьерой? Из любви или ненависти?

– Хочу помочь сербам в их правой борьбе, только и всего.

– Только и всего? – Монтеверде неприятно усмехнулся. – Вы оригинал, поручик? Препреждаю, таковых не понимаю. Все слова, слова, а суть в ином.

– В чем же суть, по-вашему? – как можно спокойнее спросил Олексин.

– Суть всегда в личных идеях, а не в общественных. Так называемые общественные идеи всего лишь ширма, скрывающая действительные цели.

– Вам придется мириться с этой ширмой, полковник. Другой в запасе у меня нет.

– Интересно, каким вы отсюда уедете. Если уедете вообще. Впрочем, бог с вами, оставим это. Итак, вы хотите в дело? В штаб? В санитарные отряды? Выбирайте: я обещал нашему другу, – он кивком указал на штабс-капитана, – что исполню ваше желание.

– Я приехал драться с турками.

– Вам случалось бывать в делах до этого?

– Нет.

- Хотите испытать храбрость?
- Хочу принести пользу.
- Нет, он положительно оригинал! – почти весело сказал Монтеверде Истомину.
- Поручик знает язык, – сказал Истомин, точно напоминая о чем-то уже оговоренном.
- Немного, – уточнил Олексин. – Мало практики.
- С практикой мы вам поможем. – Монтеверде опять неприятно усмехнулся и расстелил на столе большую, выполненную от руки схему. – Извольте смотреть. Делиград. – Карандаш изящно скользнул по схеме. – Турецкие позиции. Как видите, они пока еще на том берегу Моравы, но – пока. В районе Рагавицы – Суповац позиции удерживает отдельный корпус Хорватовича. Третьего дня туда, к Хорватовичу, ушла русская батарея, но у нас нет уверенности, что она добралась до него: сербские беженцы уверяют, что турки где-то переправились через Мораву и таким образом отрезали Хорватовича. Хотите попытаться внести ясность в этот вопрос, поручик?
- Каким образом?
- Болгарские волонтеры вызвались добраться до Хорватовича.
- Отчаянные головорезы эти болгары, – сказал с дивана Истомин. – Они из отряда воеводы Цеко Петкова.
- Петков в Сербии? – удивился Олексин, еще в Москве немало слышавший о легендарном гайдуке.
- Нет, он где-то в Болгарии, а сюда прислал молодежь. Самых нетерпеливых.
- Нетерпеливому коню нужна хорошая узда, поручик, – сказал Монтеверде. – Возьметесь возглавить этот отряд? Задача: добраться до Хорватовича, ознакомить его с нашим планом единого удара в районе Алексинаца, узнать о судьбе русской батареи. В дальнейшем действовать по его указаниям.
- Могу я взять с собой своего друга?
- Отвиновского? – спросил Истомин. – Странная дружба между русским офицером и польским инсургентом, вы не находите?
- Да пусть себе берет, – сказал Монтеверде. – Если согласны, ступайте знакомиться с отрядом, получайте оружие, ищите проводника – капитан вам поможет. Вечером прошу ко мне.
- Слушаюсь. – Гавриил щелкнул каблуками. – И благодарю.
- Вышли вместе с Истоминным. На веранде, как всегда, курили офицеры.
- Были на аудиенции? – спросил Совримович. – Как вам наш Монтеверде?
- Послан на связь с Хорватовичем, – похвастался Олексин.
- Вот как? Когда выступаете?
- Завтра утром.
- Совримович бросил окурок и, ни слова не говоря, быстро направился в дом.
- Кажется, вы довольны поручением? – спросил штабс-капитан, когда они шли через двор к воротам.
- Доволен? Этого мало, Истомин. Я горд и счастлив.
- Значит, с вас шампанское. Если вернетесь.
- Последние слова он сказал хоть и с улыбкой, но как-то уж очень многозначительно. Впрочем, Гавриилу некогда было заниматься анализом истоминских интонаций: у ворот они встретили Захара и Отвиновского. Наскоро объяснив, в чем дело, Олексин отправил их готовиться и вслед за штабс-капитаном вышел на улицу.
- Болгары стояли во дворе кафаны, где вчера ужинал Гавриил. Их было одиннадцать – молодых, сильных парней в белой, щедро расшитой шнурами одежде. За широкими турецкими поясами торчали рукояти ятаганов.

– Здравствуйте, господа, – сказал Истомир. – Вот ваш командир поручик Олексин Гавриил Иванович.

– Добре дошли, – сказал старший отряда; молодое лицо его было обезображено широким шрамом. – Меня зовут Стоян Пондев. С остальными потом познакомитесь, а это мой ординарец Любчо.

Он кивнул на худенького паренька с большими девичьими глазами. Паренек сразу отвернулся, а болгары заулыбались.

– Я оставляю вас, – сказал штабс-капитан. – Надо проводника искать.

Он поклонился и ушел. Гавриил сел на доски, сложенные у забора, болгары расположились вокруг, а застенчивый Любчо устроился за их спинами. Рассказывая о задании, Олексин все время ловил на себе его быстрый изучающий взгляд, и взгляд этот почему-то смущал его.

– Как видите, задача наша проста: дойти и доложить.

Болгары переглянулись. Стоящий ближе всех широкоплечий парень с оспинками на лице что-то быстро сказал по-турецки. Войники рассмеялись, только Любчо сердито нахмурился.

– Митко говорит, хороша у волка шкура, да зубы мешают, – сказал Стоян. – Мы знаем турок, командир. Там, где нет дорог, они высылают черкесов.

– Черкесов боитесь, молодцы?

– Боялась баба в лес за дровами сходить, так в дому и замерзла, – уже по-болгарски сказал Митко.

– Нужен проводник, командир, – уточнил Стоян. – Нужен хороший проводник, чтобы идти без дорог и там, где не может напасть кавалерия.

– Нужны магазинки, – сказал черный, как цыган, парень. – Если будут магазинки и много патронов, черкесы не страшны. Они не любят огня.

– Кирчо правильно говорит, надо просить магазинки, – подтвердил Стоян. – При штабе есть оружейный склад.

– Оружие обещали, – сказал Гавриил.

– Надо брать самим: они для кого-то берегут хорошие винтовки.

– Для турок, – усмехнулся Митко.

Болгары опять засмеялись. Они вообще смеялись часто и охотно, и это тревожило Олексина. Он и сам был молод, но считал смешливость чертой невоенной и старался почаще хмуриться.

– Смех в то время, когда гибнут ни в чем не повинные люди, когда позорят женщин и вешают их мужей, считаю неприличным, – сказал он.

Болгары растерянно замолчали. Стоян нахмурился, а Любчо вдруг вскочил и, не оглядываясь, пошел со двора.

– Любчо! – крикнул Стоян. – Любчо, вернись!

Ординарец не остановился, и Стоян торопливо направился за ним. Митко сокрушенно цокнул языком, а черный Кирчо сказал неодобрительно:

– Не надо об этом говорить. Никогда.

– Прошу извинить, – сухо сказал поручик. – Однако такая чувствительность, как у вашего Любчо, больше подходит девице, чем воину.

Парни неожиданно расхохотались. Они смеялись так искренне, что Олексин не выдержал и тоже заулыбался.

– Ну и глаз у тебя, командир! – весело кричал Кирчо.

Вернулись Стоян и Любчо. Ординарец был красен как маков цвет и прятал глаза.

– Любчо, командир интересуется, почему ты без усов! – крикнул Митко.

– Хватит, – строго оборвал Стоян. – Кажется, к нам идут.

К ним приближались Совримович и Бранко. Подойдя к Олексину, Совримович щелкнул каблуками:

– Честь имею явиться, поручик. Назначен вашим помощником. А это наш проводник.

Обе новости чрезвычайно обрадовали Гавриила: он привык к Бранко, а то, что серб добровольно вызвался идти с ними, Олексину было понятно – он помнил дорожную встречу. А Совримович уже побывал в деле, в прямом смысле понюхал порошу, и поручик очень надеялся на его боевой опыт. Конечно, болгары тоже были боевыми ребятами, но опыту кадрового офицера Олексин все же доверял больше, чем партизанским навыкам повстанцев.

Они отправились получать оружие, и Совримович, используя знакомства и недавнюю службу в штабе, сумел добиться новеньких магазинных винтовок «пиподи-мартини». Болгары брали их в руки с почти благоговейным восторгом.

– Мне бы эту магазинку в апреле! – вздыхал Кирчо. – Поплясали бы у меня турки.

Поручив продовольственные дела Стояну и отрядив ему в помощь Захара, Олексин с Совримовичем и Бранко до вечера обсуждали предстоящий маршрут, искали укрытые от внезапных кавалерийских налетов ночевки. Совримович тоже опасался черкесских клинков, тоже советовал быть осторожнее:

– Тактика у них старая, Олексин: набег. Любят атаковать из укрытий, внезапно. Стреляют, как правило, неважно, но пашками владеют отменно. Если не удержимся – сомнут и вырежут. Узнайте у Монтеверде, что слышно о черкесах.

Вечером Гавриил спросил об этом у помощника начальника штаба. Монтеверде очень удивился:

– Какие черкесы, поручик? Черкесы, абреки – это у вас от кавказских рассказов. Лермонтовым зачитывались?

– Однако болгары уверяют...

– Болгары путают, – перебил полковник. – Да, башибузуки кое-где, возможно, просочились, но черкесы... Слышите, Истоминон?

– Это нонсенс, Олексин, – пожал плечами штабс-капитан. – У ваших приятелей болгар черкесская паника, уверяю вас.

Получив подробное разъяснение предполагаемой операции, поручик распрощался с Монтеверде и Истоминым. Штабс-капитан придержал руку:

– У турок, по нашим сведениям, нет кавалерии вообще. Так что с Богом, Олексин.

Несколько успокоенный этими заверениями, поручик не стал заходить к Совримовичу. Было уже поздно, на рассвете предстояло выступление, и он прямо пошел к себе. Ночь была тихой и звездной. Выйдя из душной комнаты, поручик с наслаждением вдохнул полной грудью и подумал, что пока ему – тьфу, тьфу! – везет и, кто знает, может быть, по возвращении на родину и на его груди сверкнет Таковский крест... Он тут же постарался изгнать из головы тщеславные мысли, ибо ехал сюда не за крестами и не лгал утром Монтеверде. Спустившись с веранды, он обогнул штаб и направился к шалашу, где ночевали Захар и Отвиновский. Еще издали он заметил небольшой костер, возле которого сидели трое: Совримович не ушел спать. Гавриил коротко рассказал о последнем свидании с начальством, особо упирая на «черкесские страсти».

– Не понял: вы нас убеждаете, что никаких черкесов в тылу нет, или они вас в этом убеждали? – спросил Совримович.

– Во всяком случае, я в этом почти уверен. Черкесы – типичная тыловая паника.

– А брат Бранко – тоже паника? – хмуро поинтересовался Отвиновский.

– Я получил приказ как можно скорее доложить Хорватовичу. А если мы будем ползти по кустам в страхе господнем, то сведения просто-напросто устареют. Штаб заверяет нас, что черкесов нет, значит их нет, мы обязаны верить штабу.

– Возможно, возможно, – вздохнул Совримович. – И все же что-то мне здесь не нравится... Скажите, Олексин, вы действительно в добрых отношениях с Истоминым?

– Надеюсь, что мы друзья.

- Преуменьшать опасность – плохая дружеская услуга.
– А преувеличивать ее?
– Преувеличивать естественно, но ведь он же не преувеличивает? Ну да бог с ними. – Совримович встал. – Будем полагаться на себя. Спокойной ночи, господа.
– Знаете, Олексин, а я не верю ни единому слову вашего приятеля Истомина, – сказал Отвиновский, когда Совримович ушел. – Он лиса.
– С какой целью ему хитрить, скажите на милость?
– Вот этого я не знаю.
– Господи, до чего же вы недоверчивы, Отвиновский.
– Доверчивость растрачивают, поручик, и, очевидно, мои запасы подходят к концу. Хорошо это или дурно – не мне судить, а только путешествие наше будет совсем не таким простым, как это нам пытаются предсказать.
– Я не отрицаю опасностей, Отвиновский.
– А если опасно, то зачем же девчонку брать? – вдруг сердито спросил Захар. – Не бабское это дело, ваши благородия.
– Какую девчонку?
– Да болгарку, какую же еще? Послали вы меня за продуктом, а болгарский старшой в помощь ординарца своего отрядил.
– Любчо? – спросил Олексин.
– Любка она, а не Любчо, – хмуро поправил Захар. – Я как глянул, сразу в сомнение: больно уж тонок паренек-то, больно уж нежен, да и ходит как баба, нога за ногу цепляется. Что-то, думаю, не того, что-то, думаю, проверить надо.
– Проверил? – улыбнулся Отвиновский.
– А как же! В складе за грудки ординарца этого цап! А там что положено. А она мне вжиг по одной щеке, вжиг по другой. Аж искры из глаз. И в слезы. Ладно, говорю, девонька, виноват, ежели так вышло.
– Девушка? – растерянно спросил Гавриил. – Нет, этого я не потерплю. Завтра же в тыл, к маме!
– Ясно, – кивал Захар. – Не бабское дело.
– Молодец, Захар! – весело хохотал Отвиновский. – Значит, все что положено, говоришь? Вот это разведка! Учитесь, поручик!

5

Василий Иванович не поехал ни в Смоленск, ни в Москву, ни в Псков: он хотел бы повидать родных, но неизбежные разговоры о прежних идеалах, о жизни в Америке и, главное, о его семье были настолько неприятны, что он предпочел переписку. Мамы больше не было, а остальных он слушать не желал, подозревая, что все они резко восстанут против их брака, не освященного церковью, а значит безнравственного и незаконного в глазах общества. Уже в письме Вари он уловил неудовольствие по этому поводу и с той поры обязательно отговаривался от приезда крайней занятостью.

А занят он не был ничем. Поселились они в Туле, где у Екатерины Павловны были дальние родственники, сняли квартиру с хозяйскими дровами и пробавлялись случайными заработками: Василий Иванович бегал по урокам, а Екатерина Павловна, имея диплом повивальной бабки, довольствовалась случайной практикой в домах бедных, часто поэтому стесняясь брать деньги за услуги.

– Знаешь, Вася, такая голь неприкрытая, такая бедность, что...

Она замолкала, не решаясь признаваться в собственной непрактичности. А Василий Иванович неизменно отвечал:

– Доброе дело дороже денег.

Жили бедно, часто отказывая себе в самом насущном и беспокоясь только о ребенке. Бедность заставляла изворачиваться, и Василий Иванович вскоре научился многое делать сам: чинил обувь, столярничал, вызвался покрыть крышу соседке, пытался красить холсты, по собственным рецептам составлял краски. Клиентура была невелика, но давала некоторый заработок.

Жизнь текла тихо. Родственники Екатерины Павловны – выходцы из села, пробавлявшиеся ремеслом и мелкой торговлишкой, – были людьми богобоязненными и ограниченными, пациентки и редкие заказчики – им под стать; в гости Олексины не ходили и у себя не принимали. Кроме акушерки Марии Ивановны, с которой Екатерина Павловна познакомилась на общем поприще.

Мария Ивановна заходила на чай, к которому непременно приносила то пряники особой выпечки, то пирог собственного изготовления, то конфеты, присланные из Петербурга. Расспрашивала об американском житье, о семье, о взглядах на религию и церковь, хорошо слушала. Вначале Василий Иванович стеснялся, разговор обычно вела Екатерина Павловна, а потом осмелел, стал рассказывать сам. Как-то зашла речь о графе Льве Николаевиче. Василий Иванович читал почти все, что было опубликовано, высоко отзывался о Толстом как о писателе, но не верил ему как человеку. Усмехался скептически:

– Граф мастерски потрошит человека, Мария Ивановна. Мастерски, но – постороннего. А вот господин Достоевский ставит опыты на себе. Себя потрошит, и ему больно. Больно ему, а его сиятельству не больно. Один – блистательный патологоанатом, а второй сам у себя вырезает аппендикс. Или того страшнее – язву из сердца.

– Полно, Василий Иванович. Сомневаться в огромном таланте Льва Николаевича даже не модно.

– А я и не сомневаюсь в его таланте, а может быть, и в гениальности. Но зло у графа теоретическое. А у нас практического зла – девать некуда. Практического – и во фраках, и в мундирах, и в армяках. Как с ним прикажете бороться?

– Но ведь вы тоже, Василий Иванович, отрицаете борьбу как непереносимое условие развития общества.

– Отрицаю как самоцель: борьба, борьба и борьба. Нельзя безболезненно переносить законы природы на человеческое общество хотя бы потому, что природа не знает нравственности, а человек отрицает отсутствие этой нравственности. Сумеем ли мы соединить эти крайности, если будем слепо проецировать аксиомы диалектики с природы на человека?

Мария Ивановна спорила осторожно, только намечая тему и давая Василию Ивановичу высказываться, как он хочет. Не пыталась защищать свою точку зрения, а просто слушала, лишь изредка направляя разговор. Екатерину Павловну беспокоила эта манера:

– Она словно выпытывает.

– Нет, Катенька. Просто у нее нет позиции, и она ощупывает мою. Все естественно. Мария Ивановна – добрый человек. Добрый и страдающий.

– Почему ты решил, что она страдает?

– А разве можно быть добрым, думающим и не страдать?

Обычно Мария Ивановна приходила в субботу, если не было вызовов. Олексины привыкли ждать ее в этот день и очень удивились, когда она появилась в четверг.

– Мария Ивановна, вы ли это? – громко спросила Екатерина Павловна, открыв дверь. – Признаться, не ожидали и очень, очень рады.

Василий Иванович услышал и успел юркнуть в комнатку Коли: был одет по-домашнему, распустил. Старательно привел себя в порядок, вышел:

– Мария Ивановна! Какими судьбами в будний день?

– Среди ваших братьев есть Федор? Федор Иванович Олексин?

– Есть. – Василий Иванович несколько оторопел. – Федя. Студент. А почему вы спросили, Мария Ивановна?

– В городской больнице лежит какой-то Федор Олексин. Доставил его неизвестный бродяга-солдат, сказал, что подобрал на дороге.

– А... что с ним?

– Было сотрясение мозга, как мне сказали. Но вы не волнуйтесь, Василий Иванович, он уже в полном сознании, все позади.

– Идем! – Василий Иванович заметался. – Катенька, извозчика!

– Извозчик у дома, я не отпускала, – сказала Мария Ивановна. – Только оденьтесь же: на улице дождь.

В благотворительном корпусе пахло промозглой плесенью, карболкой, плохо выстиранным бельем. На выщербленном каменном полу стояли лужи, железные койки проржавели, и даже сестры, в отличие от общих отделений одетые в серые халаты странноприимниц, казались убогими и нездоровыми.

Федор лежал у стены в низкой сводчатой палате. Он не удивился и не обрадовался, увидев брата: он вообще уже ничему не удивлялся и не радовался. Глянул отсутствующе, и этот взгляд больше, чем все остальное, резанул Василия Ивановича.

– Феденька, узнаешь меня?

– Узнаю, – тусклым голосом сказал Федор. – Васька-американец.

Впопыхах забыли об одежде, а своей у Федора не оказалось. Завернули в казенное одеяло. Серая сестра шла сзади, напоминая:

– Верните, господа, не позабудьте. Уж пожалуйста, верните: больным не хватает.

Всю дорогу Федор молчал, не отвечая на вопросы и ничем не интересуясь: куда везут, зачем, почему. Ему было все безразлично, все существовало точно в ином измерении, а в том, в котором находился он сам, были только воспоминания. И больно ему было не от толчков пролетки, а от этих воспоминаний. Только на квартире он несколько оживился. С видимым удовольствием вымылся, надел чистое белье, безропотно лег в постель.

– Кто эта женщина?

– Моя жена. Екатерина Павловна.

– Милая женщина какая.

– Ах, Федя, Федя! – Василий Иванович смахнул слезу. – За что же тебя-то, а? Тебя-то за что?

– Сейте разумное, доброе, вечное. – Федор медленно улыбнулся. – Сейте, только спасибо вам никто не скажет, не уповайте. Это ошибка, Вася. Поэтическая ошибка.

– Не думай сейчас ни о чем, не думай. Ешь, спи, набирайся сил. Силы – это главное.

– Мысли, как черные мухи, всю ночь не дают мне покою... – Федор помолчал, спросил вдруг: – Я постарел, брат? Да, да, постарел. На сто лет постарел.

– Федя, Господь с тобой, – пугаясь, сказал Василий Иванович. – Ты поспи лучше, Федя, поспи. Завтра поговорим. Вот проснешься утром, а рядом на полу – мальчуган. Коля. Он с тобой спать будет в этой комнате.

– Думаешь, брежу? Или, того чище, с ума тронулся? – улыбнулся Федор. – Нет, брат, здоров я. В твердом уме и ясной памяти. Знаешь, когда старость наступает? Сейчас скажешь, с возрастом, мол, тело изнашивается, обмен веществ и прочее. Нет, Василий, это еще не старость, это износ. Физическое одряхление. А старость – это познание тайны, только и всего. Одним на это познание жизни не хватает, и умирают они дряхлыми младенцами. А иным открывается она, тайна эта. Простая, как ухват. Вот тогда и наступает прыжок в старость, даже если тебе двадцать лет от роду: что, молодых стариков не встречал? Встречал, брат, встречал. И сейчас встретил: меня. Я эту тайну знаю теперь, хорошо знаю. Я ее головой почувствовал, самым темечком, детским местом. Помнишь, макушки в детстве считали, у кого сколько? У тебя две,

я помню. Двухмакушечный ты, счастливец, значит. А у меня одна-единственная. И мне по моей единственной макушечке – колом...

– Федя, прошу тебя, успокойся.

– Я спокоен, Вася, спокоен. Я теперь так спокоен, как тебе и во сне не приснится. На всю жизнь спокоен, потому что искать более нечего. Вбили в меня тайну великую, и я – прозрел. Подл человек, Вася, подл изначально, по натуре своей – вот и вся тайна. Вы идеи сочиняете, сеете разумное, доброе, себя на заклатие обществу готовите, об отечестве помышляете, жизнью своих не щадите, а человек – подл. И какое бы вы открытие ни сделали, какой бы рай земной ни построили, как бы ни витийствовали, все равно человек – подл. Не подлец, заметь, подлец – это крайность, а просто подл. Тихо подл, подспудно подл...

– Не буду говорить с тобой, Федя, ты болен.

– Я не болен, я прозрел, Василий, прозрел. Созидайте, стройте, упивайтесь идеями – к концу жизни, даст Бог, прозреете и вы. Не все, конечно: большинство-то как раз и не прозреет, так и помрет дряхлыми младенцами. Но ты пораньше прозревай, Вася, ты постарайся, Вася. А сейчас запомни, как «Отче наш»: человек подл. Каждый человек подл и все без исключения. И я, и ты, и жена твоя, и...

– Мама тоже?

– Что? – растерянно переспросил Федор.

– Я спрашиваю, мама тоже была подла?

Федор надолго замолчал. Лежал, уставясь в потолок синими глазами, смешно и беспомощно выпятив тощую бородку. Потом сказал:

– А это нечестно.

– А лгать на людей честно?

– Это не ложь! – Федор дернулся на кровати. – Я заплатил за это, заплатил, слышишь?

И ты не смеешь! Ты, двухмакушечник, баловень судьбы.

– Тебя вешали, Федя? – вдруг тихо спросил Василий Иванович, нагнувшись к заросшему лицу. – Вешали тебя? Потным арканом за шею? – Непроизвольным жестом он судорожно потер ладонью под тощей, как у брата, но аккуратно подстриженной бородкой. – Больно, когда убивают, правда? Больно. Лежи. Заснуть постарайся.

Он вышел в другую комнату, где за самоваром сидели женщины и глазастый напуганный Коля. Выпил стакан чаю, сдержанно отвечал на расспросы, думая о своем. Потом отставил стакан, побарабанил пальцами и сказал:

– Мария Ивановна, мне бы место какое ни есть. Извините, что прошу, это неприлично, понимаю, но деньги нужны. Твердый заработок: Федора поднимать надо. А у своих просить не хочу. Не хочу!

– Какое место вы бы желали, Василий Иванович? Может быть, домашним учителем?

– Учителем – это замечательно, Мария Ивановна. Замечательно.

– Долгом почту помочь вам, дорогой Василий Иванович, – с чувством сказала Мария Ивановна. – Я наведу справки, надеюсь в субботу обрадовать.

– Я закончил математический факультет в Петербургском университете, – говорил Василий Иванович, провожая гостью. – Могу готовить по точным наукам – математике, физике. Впрочем, по любым, по любым в пределах гимназии. Я проштудирую курс, я готов ночами...

Федор хорошо выспался, с аппетитом позавтракал. Екатерина Павловна разыскала самого знаменитого врача, объяснила обстоятельства. Заинтересованное светило приехало незамедлительно: случай был любопытным. Он тщательно осмотрел больного, успокоил, выписал лекарства. Потом пил чай в большой комнате, шепотом рассказывая:

– Сильный ушиб головы с сотрясением мозга. Не исключаю кровоизлияния в теменную область. Однако особой опасности не нахожу: организм молодой, здоровый.

– Психическая травма возможна? – осторожно спросил Василий Иванович.

– Не исключена, не исключена, милостивый государь: потрясение было сильным. Покой, прежде всего покой. Постельный режим, легкая пища, портвейн по утрам. Никаких излишеств, никаких душевных напряжений. Читайте ему что-нибудь простенькое. Журнальчики, Понсон дю Террайля. А как он попал в общество бродяг, на дорогу?

– Кажется, в Киев шел, в Лавру, – нехотя сказал Василий Иванович.

– Ваш брат религиозен?

– Нет. Просто увлечение молодости.

– Да, хотим все познать, – сказал доктор, вздохнув. – Все, даже непознаваемое. Неугомонное существо человек! И знаете, это прекрасно. Любознательность утоляет только опыт, и, пока человек не утратит этого святого чувства, он остается человеком. А коль заменит однажды любознательность любопытством, то будет преспокойненько сидеть у себя дома и пробавляться слухами. И уже перестанет быть человеком разумным.

Федор выдержал строгий режим неделю и запротестовал. После долгих увещаний столковались, что один раз – к вечернему чаю – он будет сидеть за столом ровно час.

В субботу с нетерпением ждали Марию Ивановну. Прислушивались к каждому стуку, два раза ставили самовар – и напрасно. Василий Иванович не унывал, но был озабочен:

– Биография моя подкачала, Катенька. Кому нужен нигилист в учителя детей своих?

Мария Ивановна приехала в воскресенье. Вошла, таинственно улыбаясь:

– Здравствуйте, господа. О, и Федор Иванович поднялся? А можно ли вам, Федор Иванович?

– Через сорок минут будет нельзя, – серьезно сказал Федор.

– А я с приятным известием, – сказала Мария Ивановна, садясь к столу. – Извините, что вчера не пришла: не поспела обернуться.

– Откуда не поспели? – насторожился Василий Иванович.

– Угадали, Василий Иванович, угадали! – заулыбалась Мария Ивановна. – В Ясной Поляне была, так что угадали. Узнала, что Толстые учителя своего уволили. Рождественского. Представляете, в классной комнате попойку учинил, и его же ученик Сережа, сын Льва Николаевича, нашел его там мертвецки пьяного! Ну-с, место свободно. Я переговорила. Ждут.

Василий Иванович молчал, сосредоточенно изучая стакан. Екатерина Павловна глянула на него, торопливо заулыбалась:

– Мария Ивановна, голубушка, уж и не знаю, как вас благодарить.

– Сережа хороший, добрый и способный мальчик, – продолжала акушерка, посматривая на молчавших братьев. – Вам будет легко с ним, Василий Иванович.

– А с графом-писателем? – спросил Федор.

– Не скрою, граф – человек сложный, но я убеждена, что Василий Иванович уживется с кем угодно.

– Извините, уживаться не привык, – сухо сказал Василий Иванович. – Да, не привык! И к тому, чтобы лакеи в белых перчатках обеды подавали, тоже не привык.

– Помилуйте, Василий Иванович, какие белые перчатки?

– Благодарствую за хлопоты, уважаемая Мария Ивановна, но это место не для меня. Да, да, не для меня. Катя! Вспомни наши разговоры, наши клятвы на корабле, наши мечты.

– Василий Иванович, голубчик, что вы говорите! Граф чрезвычайно демократичен...

– Ха-ха! – громко сказал Федор. – Демократичный граф – это прекрасно!

– Извините, Мария Ивановна, ради бога, извините, – строго повторил Василий Иванович. – Это предложение я не могу принять... Да, не могу! Не могу изменить своим идеалам, хотя это, возможно, и смешно. Не могу! И поэтому оставим этот разговор.

Над столом повисла неприятная тишина. Только чуть звякали ложечки.

– А у нас доктор Браудэ был, – сказала Екатерина Павловна. – Федора Ивановича смотрел...

И, заплакав вдруг, быстро вышла из комнаты.

Глава шестая

1

Заместителем командира 74-го пехотного Ставропольского полка был полковник Евгений Вильгельмович Бордель фон Борделиус. Эта звучная фамилия служила предметом постоянных офицерских острот, однако острить дозволялось лишь однополчанам, да и то не напрямую, а с намеком: тонкостью этого намека и оценивалась глубина остроумия. Офицеры изощрялись как только могли, ревниво следя за исполнением договорных условий; нарушителей одергивали неукоснительно и строго.

Сам Евгений Вильгельмович – человек отменного хладнокровия и уравновешенности, не позволявший себе повышать голос даже на солдат, – относился к шуткам в собственный адрес с живейшим любопытством, а наиболее удачные остроты записывал для памяти. И если они повторялись, говорил: «Вчера, поручик, вы изволили использовать остроумие трехмесячной давности: впервые на эту тему проехался капитан Дмитрий Афанасьевич Сашальский. Либо изобретите что-либо новенькое, либо смените цель. У нас в полку есть капитан Арендт, поручик Кандиляри, подпоручик Макроплио или младший врач Опеньховский. Попробуйте поговорить касательно „арендтной“ платы, прикажите как-нибудь зажечь „кандиляри“ или назовите подпоручика Микроплио: может быть, это поднимет ваш престиж острослова». Говорил он ровным скрипучим голосом, всегда длинно и нудно, и проштрафившийся надолго запомнил выволочку. Если же острота оказывалась свежей, полковник заносил ее в книжечку, ставил дату и с чувством жал руку автору.

Об этом рассказал портупей-юнкеру Владимиру Олексину подпоручик Герман Станиславович фон Геллер-Ровенбург – нервозно-живой, скорее крикливый, чем звонкий, имеющий неприятную привычку хрустеть длинными костлявыми пальцами. Он был оставлен с дежурной частью при главной квартире в станице Крымской; сам же полк вот уже месяц как выступил в Майкоп на ежегодные дивизионные учения.

– Так что острите осторожно, юнкер. Осторожно и умно, если не хотите получить внушение.

Подпоручик старательно грассировал, но иногда забывался и говорил вполне правильно, поскольку картавил только для шика.

– Я не собираюсь острить.

– Напрасно, юнкер, напрасно. Остроумие у нас ценится весьма и весьма. Признаться, скучновато, юнкер, скучновато. Днем служба, служба, служба, «неукоснительно и непременно», как говорит подполковник Ковалевский. Полагаете, вдалбливаем словесность? Черта с два-с, юнкер, черта с два-с! А по холмам на брюхе не желаете ли? А от стрельбы оглохнуть не стремитесь, нет? Странно, мы стремимся. Полк, изволите ли видеть, кавказский, большинство офицеров – старые вояки. «Вперед, молодцы, ура, ура-ура!» – вот что им снится. И в соответствии с этим – сами понимаете. Из кожи вон лезем.

С уходом полка в Крымской стало тихо: остались лишь тыловые службы, лазареты, обозы да дежурная часть. Подпоручик изнемогал от скуки и до смерти рад был вцепиться в только что прибывшего неофита.

– А вечером, думаете, отдых? Какое там! Ни Лизет, ни Анет, ни даже цыганочек здесь не сыщете. А дочери офицеров на выданье – это же клюква в лампадном масле, юнкер, клюква в лампадном масле! Ну, играем по маленькой. Вы играете? Ага, отлично! Почему по маленькой, спросите? А потому, друг мой, что по большой начальство не велит. Да, да, представьте себе!

Полковник лично меж столов ходит и на ставки поглядывает: каков антураж? Иметь долги здесь считается неприличным, чуть ли не оскорблением чести полка. Представляете, поручик Ростом Чекаидзе в прах проигрался в Тифлисе! Приехал герой героем, а Бордель дознался, тут же выплатил весь его долг и теперь изымает у Ростом из жалованья. А уж разговору-то было, разговору! И Чекаидзе из героя превратился чуть ли не в посмешище. В отставку просился, ей-богу, в отставку! Допекли, вот как-с, юнкер, вот как-с.

Старшим начальником в Крымской оказался подполковник Ковалевский – старый кавказский служака с орденами, одышкой и многочисленной семьей. Служил он старательно и исправно, новшества не любил и, получив два сабельных да одно огнестрельное ранение в стычках с немирными горцами, войны откровенно не хотел, за что и считался в полку чудачком. Когда Владимир по всей форме представился ему, спросил озабоченно:

– Война будет ай нет? Что в Москве-то говорят, голубчик?

– Ждут, господин полковник. С нетерпением и надеждой, уповая...

– Уповая, – вздохнул подполковник, покачав большой, бритой на кавказский манер головой. – Уповать на милость надо, юноша. На милость да на благо, неукоснительно и непременно.

– Однако, господин полковник, известные турецкие зверства заставляют нас вспомнить об оружии, – рискнул поспорить юнкер. – Если изволили читать о резне...

– Писать да читать – самое пустое занятие, – добродушно сказал подполковник. – Чего ради денег не сочинишь! А воевать – значит убивать. Этак вот штыком душу выпустить. Каков бы ни был злодей – черкесец там, турка или чечня, – душа-то у него есть? Есть. А вы ее – наружу. Ох-хо-хо, нехорошо все это, голубчик. Сам грешен, знаю: нехорошо. Поверите ли, по сей день сплю плохо. То есть так скверно сплю, не приведи бог никому. Уж и молюсь до пота, и говею, и пощусь, а сон нейдет. Нейдет сон, и все тут. Отчего нейдет, а? От греха. От убийства, которое производил согласно должности и присяге. И сна за то лишен, так полагаю, что Богом. Ох-хо-хо! – Подполковник еще раз вздохнул и сокрушенно покачал головой. – Однако как же вы, юноша, один-то, а? Господа офицеры в Майкопе, собрание закрыто – затоскуете, поди?

– Ничего. Как-нибудь.

– Как-нибудь – это где-нибудь, а не в Семьдесят четвертом Ставропольском. Пожалуйте ко мне вместе с подпоручиком Геллером, прошу покорнейше ему приглашение передать. Да, да. Жена пирог испечет, посидим, потолкуем. О Москве расскажете, жена и дочери рады будут. Не откажите, голубчик. Очень обяжете, очень...

– Зазвал-таки? – рассмеялся подпоручик фон Геллер-Ровенбург, когда Владимир поведал ему о результатах официального представления. – Ну, не завидую. Дочери у него – монстры. Три монстры, представляете? Ужас! Стихи заставят читать, вот увидите. зубрите заранее.

– Давайте вместе зубрить, Герман Станиславович. Не покидайте в тяжелую минуту, и это зачтется вам.

– Я? Туда? – Подпоручик был искренне поражен. – Окститесь, юнкер: там наши не бывают. Там же этакие, знаете ли... – он похрустел пальцами, – селяне. Да, да, самые натуральные: подполковник родом из сельских попиков – тех, знаете ли, что сами пашут, сами сеют. Дослужился верой и правдой, честь ему и хвала, дослужился – и не закрепил. Женился на казачке, этакой Ганке. Добро бы с приданым, ан нет: по любви. По горячей страсти на полуграмотной казачке, хоть и дворянке по отцу: знаете это казачье дворянство за удаль? Нет, это немыслимо, юнкер, немыслимо!

Вероятно, это было действительно немыслимо, но Олексин все же уговорил подпоручика. То ли фон Геллеру было тоскливо в опустевшей станице, то ли долг хозяина он ставил выше личных симпатий, то ли, несмотря ни на что, ему очень хотелось познакомиться поближе с кем-либо из «трех монстров», а только сопротивлялся он лениво и недолго. Сговорившись, молодые люди надели первосрочные мундиры и прибыли на скромный домашний чай, точно на высочайший смотр.

Гостей было немного. Полковой священник отец Андрей Варашкевич; приземистый и длиннорукий, похожий на сельского коваля прапорщик Терехин; вислоусый, тоже по кавказской моде бритый наголо чернобородый капитан Гедулянов да коллежский секретарь Иван Герасимович Ефимов. Батюшка и чиновник пришли с женами, но жены пока сидели в задних комнатах, у девочек, а гостей принимала круглолицая чернобровая хозяйка Прасковья Сидорвна. Собственно, весь прием заключался в улыбках с ямочками на персиковых щеках да бесконечной беготне на кухню, где вот-вот непременно должен был подгореть пирог. Суетилась она от смущения, а виной тому было появление молодых людей в мундирах и при оружии. Постоянные гости, к которым она давно привыкла, вели себя запросто: сидели в расстегнутых сюртуках, просили кваску похолоднее и по-свойски звали ее Сидоровной.

Молодые люди тоже чувствовали себя не в своей тарелке. И хозяин, и гости были старше их, давно знали друг друга не только по службе, а «монстры» что-то не появлялись, и разговор никак не клеился. Гедулянов вел скучнейшую беседу с Терехиным о преимуществах кабардинских лошадей, хозяин толковал о погоде, чиновник жаловался на поясницу, а отец Андрей, умно улыбаясь в любовно расчесанную бороду, вставлял замечания большей частью загадочного свойства:

– Лошадь – тварь женского рода.

– Позвольте, а если жеребец?

– Все равно женского. Вы о ней как о женщине говорите, как о женщине думаете. Право, господа, проверьте.

– Кабардинки в лаве ушами прядут, – говорил прапорщик, упрямо не соглашаясь признавать выдающихся свойств у местной породы. – Мне казаки рассказывали.

– Прядут те, которые выезжены скверно, – басил чернобородый мрачноватый капитан. – Извольте выехать, а уж потом требуйте с коня. А выносливы-то, батенька, выносливы-то каково! При особом театре военных действий, коим является Кавказ, – незаменимая лошадь. Круч не страшится, жрет что ни попадя...

– Человек – скотина всеядная, – сказал отец Андрей: у него была способность говорить глупости, умно улыбаясь. – Потому и пост введен. Потому и соблюдать их надобно. Не токмо ради исполнения заветов, но и на пользу сущую.

– Для сущей пользы к столу прошу, – сказал хозяин, гостеприимно растопырив руки, точно сгоняя кур. – Прошу, господа, прошу, у хозяйки пироги перестоятся.

Не успели рассесться, как вошли дамы. Матушку и чиновницу Владимир почти и не заметил, потому что во все глаза смотрел на трех сестер Ковалевских.

«Монстры» выплыли, как гусыни: плавно, неторопливо, строго одна за другой. Были они погодками, похожими друг на друга, как патроны: крепенькие, кругленькие, с материнским пушком на крутых щеках. Только средняя, семнадцатилетняя Тая, путала это сходство: пшеничный ус отца перебил в ней материнскую южную жгучесть, породив копну огненно-рыжих кудрей, но оставив колючие черные бровки. Сестры заученно присели, пролепетали что-то, изо всех сил стараясь не глядеть на молодых людей, и с шелковым шелестом уселись на стулья.

– Благословим трапезу и почнем, – сказал отец Андрей, заправляя крест за вырез рясы. – Моги и вместити да вместит.

Владимир оказался напротив рыженькой, но глазел на нее не только потому: сядь она в самый дальний угол, он бы и тогда нашел возможность косить глаза. Просто невысказанно было оторваться от огненной головы, длинных, испуганно вспархивающих ресниц и румянца на пухлых, с ямочками щеках. Да, в такую нельзя было влюбиться: ни полной фигуркой, ни круглым тугим лицом (надавишь – кровь брызнет!) она не отвечала современной изнеженной моде и с этой точки зрения и впрямь была монстром. Но оторвать глаз от этого возмутительно молодого, переполненного жизнью «монстра» было совершенно невозможно.

– Не проглотите визави, – шепнул подпоручик.

– Да что вы! – Владимир очень смутился, забормотал: – Вы правы, поручик, селянский монстр, не более того. Если и смотреть на нее, так только сдерживая смех, ей-богу.

– Не скажите. – Герман Станиславович плотоядно прищурился. – При взгляде на нее я начинаю понимать канибаллов. Право, юнкер, я бы ее съел. Даже без соли.

За столом шло обильное возлияние, подкрепленное солидной закуской. Здесь пили и ели без затей, стол красноречиво доказывал это. Пили большей частью местное вино; оно очень понравилось Владимиру, но по молодости он малодушно отрекся от собственного вкуса:

– Кислятина с претензией.

– Да? – озадаченно спросил подпоручик; после обеда они вышли покурить в сад. – А мне, представьте, нравится. Право, что-то есть. Что-то от земли, настоящее что-то, юнкер. И эта рыжая корона...

– Вы о ком?

– Я? Я о ней, о Тае-Лореляе. Огонь-девица: только и ждет, чтобы взорваться. Вот бы этот фитиль поджечь, а, юнкер? Сгорел бы в объятиях вместе со шпорами.

– Раньше не видели, что ли?

– Где же? На балы папахен с мамахеном старшую вывозят, а она черна, как головешка. А младших, естественно, придерживают: в этих семьях очередь за женишками.

Позвали в дом, где к тому времени подали чай, домашнее печенье, сладости. Мужчин хозяин пригласил к себе, что очень обидело Владимира, которого не пригласили; впрочем, он вскоре утешился, досыта вознагражденный застенчивыми улыбками девочек и заботливой суетой женщин. Отец Андрей, как старший, сидел во главе стола: он не жаловал карточной игры.

– Ну-с, юноша, всяко время отмерено. Сейчас ваше: жаждем рассказа, аки воды в песках. Что же в Москве слышать, кроме звона малинового?

– В Москве? Да что, собственно, в Москве...

Три пары девичьих глаз с живейшим любопытством уставились на него. Владимир по очереди заглянул в них, как в темные колодцы, выбрал те, что светились тем же тяжелым золотом, что и волосы, и не очень уверенно начал говорить о том, чем жила Москва: о Болгарии, Сербии, турецких зверствах. В Москве он как-то не слишком прислушивался к этим разговорам, занятый ученьями и строем, но здесь, под девичьим прицелом, сразу припомнил все, что знал и что слышал, и даже то, чего не знал и не слышал, но вполне мог знать. Он живописал трагедию Батака с такими подробностями, будто сам все видел, рассказывал о несчастном апрельском восстании, будто лично участвовал в нем, описывал башибузуков так, будто сам когда-то отражал их натиск. Женщины плакали, священник удрученно качал головой, но высшей наградой были блестящие от слез глазки, что уже без всякого стеснения смотрели на него.

– Терпелив Господь, – со вздохом сказал отец Андрей. – Много терпелив, но не бесконечно. Нет, не бесконечно!

– Какие страдания! – всхлипывала чувствительная матушка.

– Куда смотрит Европа? – строго спрашивала чиновница, когда-то с грехом пополам кончившая провинциальный пансион. – Турки творят бесчинства на священной земле Европы, а она потворствует им!

– Куда смотрим мы! – вдруг громко сказал Владимир. – Турки зверствуют не просто в Европе: они проливают славянскую кровь. Они подняли меч на славян – и горе им! Мой старший брат уже сражается с ними в Сербии, я добровольно попросился сюда, чтобы тоже сражаться. Чаша славянского терпения переполнилась!

Последнюю фразу он неоднократно читал в газетах, но здесь она прозвучала к месту. Внимательные глазки под рыжей копной вспыхнули таким восторгом, что Владимира кинуло в жар. И он впервые смело улыбнулся прямо в лицо рыжей девочке, вмиг покрасневшей и очень мило опустившей головку.

Приподнятое настроение не оставляло юнкера весь вечер. Он удачно шутил, хорошо поговорил с Прасковеей Сидоровной о родных, получил ее материнский поцелуй, перемолвился с сестрами и даже с Таей и покинул гостеприимный дом с приглашением заходить запросто, когда захочется.

– Влюбились, юнкер? – весьма желчно поинтересовался подпоручик. – Втюрились в казачью клетку?

Отменное настроение сразу покинуло Олексина. Он вдруг вспомнил далекую и недостижимую Лизоньку, утонченных, жеманных и – увы! – тоже недостижимых девиц Москвы, от моды на которых по молодости был несвободен и измену которым считал почти святотатством. Да, в рыжую казачью клетку можно, пожалуй, было бы и влюбиться, но хвастаться таким романом было немислимо. И поэтому он решительно отверг все подозрения:

– Да что вы, поручик! Мне еще пока не изменял вкус.

– Кажется, вы славный товарищ, Олексин. – Фон Геллер ободряюще потрепал юнкера по плечу. – Кстати, ведь у вас нет лошади? Я вам дарю одну из своих. Будем друзьями, Олексин, и... И навестим, пожалуй, завтра же эту потешную семью. По рукам?

– По рукам, поручик!

Они крепко пожали друг другу руки, хотя где-то в самом затаенном уголке сердца Владимир чувствовал непонятную, но пока не тревожащую его горечь.

2

Девушка все же пошла с ними. В ответ на все аргументы Олексина Стоян лишь пожал плечами:

– У нее нет никого, кроме брата. А брат – это я.

– Но посудите сами, господин Пондев, уместно ли девице путешествовать с десятком мужчин? Я уж не говорю об опасностях. Естественно, мы защитим ее, но...

– Заодно защитите ее и от самих себя, поручик. Этого будет достаточно.

И Гавриил отступился. Любчо – а для всех она по-прежнему оставалась Любчо – шла в середине отряда, не жалуясь на переходы, ночевки на сырой земле и тяжесть поклажи. Олексин поначалу поглядывал на нее, но девушка упорно избегала его взгляда, ни с кем не заговаривала и старалась держаться возле брата, а если он уходил вперед, то возле вечно ухмыляющегося Митко. К ней быстро привыкли, только Захар непримиримо ворчал:

– Девка среди мужиков – последнее дело. Не божеское дело, господа офицеры.

Господа офицеры не разделяли его позиции, наперебой оказывая ординарцу знаки особого внимания. А Збигнев Отвиновский, подкрутив усы, отважился и на ухаживания, но получил афронт и на вторую попытку не решился.

– Дикарка, господа. Прелестная амазонка, но, увы, отрекшаяся от земных слабостей.

Несмотря на заверения штаба, что на пути возможны лишь встречи с отдельными отрядами пехоты, шли осторожно, избегая дорог, деревень и открытых пространств. Бранко вел уверенно, свободно ориентируясь в сильно пересеченной местности, где горизонт зачастую был сужен до пределов лощины. С ним постоянно шли двое болгар, и чаще всего на эту опасную работу добровольно вызывался Христо Карагеоргиев, самый молчаливый, сдержанный и, видимо, образованный болгарин. Он словно избегал контактов с русскими, стараясь держаться в отдалении; если случалось вступать в разговор, отвечал кратко, сухо, а порой и неприязненно.

– Насолили мы ему, что ли? – удивлялся Совримович. – Остальные болгары как болгары – веселые, общительные, а этот – бука. И явный русофоб, Олексин, явный. Потолкуйте с Пондевым при случае.

Гавриил потолковал. Стоян усмехнулся:

– Эта троица – Карагеоргиев и его приятели Тодор Ганчев и Хаджи Хаджиев – не наши. Сидели в Бухаресте при Комитете, писали письма да воззвания. Правда, Карагеоргиев уверяет, что ходил с Христо Ботевым, но я ему не верю: чета Ботева вся погибла, а он почему-то спасся.

– Вы не доверяете им, Стоян?

– Отчего же? Только мои люди проверены в боях, а эти – в спорах, стоит ли вести бои. Договорились до того, что некоторые прямо заявляют: не надо было в апреле поднимать восстание. А другие и того хуже: дескать, слава богу, что была батакская резня, этим мы привлекли внимание всей Европы к несчастной Болгарии. Привлекли внимание за счет мученической смерти детей и женщин! Как благородно это звучит, не правда ли, поручик?

– Да, Батак, – вздохнул Олексин. – Я читал о Батаке корреспонденцию Макгахана. И слушал рассказ почти из первых уст. Там ведь, кажется, никто не спасся?

– Спасся, – помолчав, нехотя сказал Пондев. – Этот шрам – оттуда.

– Стойчо Меченый? – с удивлением спросил поручик. – Так вот вы какой... Газеты много писали о вас.

– Все тот же Макгахан?

– Вы знакомы с ним?

– Нет, но хочу познакомиться. Кажется, он действительно любит Болгарию; горькую родину мою.

– Вы получили хорошее образование, Стоян?

– Небольшое: гимназия в Велико Тырново да два курса университета в Бухаресте. Мой отец – чорбаджи, состоятельный человек. Был.

– А вы один из самых знаменитых гайдуков Болгарии. О вас уже песни слагают.

– Песни слагают не обо мне, а о моем воеводе Цеко Петкове. Он более тридцати лет воюет с турками, три года просидел в Диарбекире прикованным к стене, бежал. А я, что я? Я такой же, как Кирчо или Митко.

– Но не такой, как Христо Карагеоргиев.

– Это он не такой, как мы. Многие из эмигрантов боятся России.

– Чем же их так испугала Россия?

– Самодержавием, поручик.

– У русского народа нет иной цели, кроме полного освобождения славян, – убежденно сказал Олексин.

– Вот они и беспокоятся, не придет ли вместе с освобождением и самодержавие.

– Странная мысль. И вы так же считаете?

– Я воин, а не политик. И как воин твердо знаю: без военной помощи Руси нам не обойтись. Воевать за нас никто не станет, а своими силами нам не свергнуть османов. Опыт апрельских восстаний доказал, что для того, чтобы победить, мало одной отваги. Нужны профессиональные офицерские кадры, а откуда их возьмет Болгария? Турки поступают разумно, не призывая наших юношей в свою армию: зачем готовить потенциальных бунтовщиков?.. Смотрите, как сердито озирается моя сестра. Это означает, что ужин готов.

Несмотря на большие переходы, усталость и ощущение опасности, ужин всегда проходил оживленно: сказывалась молодость и, главное, присутствие женщины. Болгары шутили, часто и с удовольствием смеялись, беззлобно задевая друг друга и даже неприступного ординарца. Офицеры не принимали участия в общем разговоре из-за плохого знания языка, но это никого не смущало.

– Наш Любчо опять плакал в похлебку от неразделенной любви! – шумел Митко. – Дайте мне скорее вина: надо же развести эту соль!

– Да ты просто пьяница, Митко, – улыбался мрачноватый Кирчо. – Ты нарочно подсыпашь себе соли, чтобы выпросить лишний глоток.

– Никогда так вкусно не ел. – Бранко причмокивал от удовольствия. – Положи мне еще черпачок, Любчо.

Ему нравилась строгая и тихая девушка, и он не скрывал этого. Да и Любчо, привыкнув, вскоре стала улыбаться ему, как улыбалась только своим.

– Хорошо здесь, чудо как хорошо! – Совримович разглядывал звезды, щедро высыпающие на темном осеннем небе. – Благословенный край, господа. Вот кончится эта война, и я убежден: Сербия никогда не будет воевать. Ведь кто в основном воюет? Воюют те, кто оказался на плохих землях, в дурном климате, то есть мы да немцы. Так сказать, от неуютности жизни.

– А французы? – лениво спросил Отвиновский. – Они не укладываются в вашу схему.

– Французы воюют от легкомысленной любви к подвигам.

Спали под открытым небом, завернувшись в тонкие казенные одеяла; складную палатку ставили только для Любчо. Утренники были росными и холодными; случилось, Захар еще затемно не выдерживал. Поднимался, шепотом ругаясь, раздувал погасший костер, заботливо укутывал сладко спавшего командира. Ежась от холода, зевал подле костра; согревшись, шел за водой. Когда девушка поднималась, кипятик был уже готов.

– Спасибо, – по-русски говорила она Захару.

А Захар вздыхал и сокрушенно качал косматой головой: не дело, когда девка одна середь мужиков, не дело!..

При этом они были добрыми друзьями; их дружбу скрепляла общая тайна: Захарова разведка и две ответные пощечины. Захар часто ловил на себе ее совершенно особый, лукавый, чисто девичий взгляд, улыбался и подмигивал: все в порядке, мол, девка, знай себе помалкивай в тряпочку.

И в это утро он проснулся от знобящей дрожи: все же постарше остальных был, да и полушубочек коротковат достался. Покряхтел спросонок, поругался по привычке – он всегда по утрам ругался, иначе мужиков разбалуешь. Поглядел, как барин спит и остальные господа, поправил на Отвиновском сербскую шинельку, прошел к костру, разворошил угли, раздул. Затем подложил хворосту, скрутил сигарку и уселся греться. Часового в это туманное мглистое утро что-то не видно было. Обычно тоже на огонек приходил, а тут то ли не замерз еще, то ли службу нес исправно, то ли русского стеснялся.

Покуриив и согревшись, Захар взял ведро и пошел к ручью. Для этого следовало осторожно, от ствола к стволу спуститься по крутизне на дно затянутой сплошным туманным облаком расселины, выйти ею до оврага, там в бочажке почерпнуть ведро и на четвереньках вползти наверх. Конечно, для молодых путь, что и говорить, но молодые еще неизвестно когда проснутся, а девушка вставала рано.

В самом начале спуска, в кустах, что окружали поляну, он наткнулся на часового. Парень мирно спал, привалившись спиной к дереву и обняв ружье. Захар хотел было разбудить его, но раздумал: пусть поспит, покуда он с водой не вернется, а ругать всегда успеется. Доложит поручику, а тот уж решит, кому ругать: самому или Стояну. Может, даже Стояну сподручнее: все же свой брат, болгарин.

Размышляя так, Захар скатился по крутому откосу, нырнул в туман и задержался, отдыхая и прислушиваясь. Спускался он ловко, зажав дужку ведра: не брякнул, не громыхнул, но показалось, будто брякнул. Будто проплыл металлический звон, короткий и вроде бы неблизкий. Неудобно замерев меж двух валунов, Захар старательно прислушивался и никак не мог понять, откуда донесся этот ясный железный звон: то ли он сам сплеховал с ведром, то ли звон этот приплыл к нему из туманной расселины. Но ни звона, ни иных каких звуков не слышалось, и Захар с неудовольствием понял, что брякнул сам. А на всякие звуки металлические и Олексин, и Совримович, и Стоян упирали особо: звук в лесу – что костер в чистом поле. Приказывали, упрашивали, предупреждали: только не звенеть. Упаси бог не звенеть ничем.

Вздыхая и сокрушаясь, Захар ощупью лез по ущелью через огромные камни, придерживая ведро. Пробирался он словно в густом молоке, не видя, куда ставит ногу и за что сейчас хватается, но был еще очень силен, ловок – много охотился, умел ходить неслышно и невидно и не испытывал особых неудобств от такого передвижения.

Второй раз он услышал звенящий звук совсем рядом и сразу понял, что звенит небрежно подтянутое стремя. Звенит где-то за плотной завесой тумана чуть впереди него. Замер, вслушиваясь и припоминая, что впереди овраг, что по этому оврагу петляет тропа, расслышал тупой перестук обернутых тряпками копыт, тихий всхрап лошади и сообразил, что по оврагу, обтекая их лагерь, движется конный отряд. И мысленно возблагодарил Бога, что не разбудил часового: он бы топал сейчас наверху, кашлял, брякал, ломал бы сучья. Но, по счастью, спал, и ни единый шорох поэтому не доносился сверху. Набравшись смелости, Захар еще немного прополз вперед, удобно устроился, выглянул и успел разглядеть в сером туманном мареве смутные силуэты лошадей и всадников, что вели их в поводу: двое были в бурках, и Захар сразу догадался, кто тихо, по-волчьи обходил понизу их лагерь.

Забыв о ведре, он змеей пополз назад, к повороту расселины: туман уже редел, ключьями сползая с утесов, и надо было успеть, успеть, во что бы то ни стало добраться до спящих раньше, чем их обнаружат. Миновал выступ и, прикрытый им, полез наверх, к лагерю, торопясь и в кровь обдирая руки о колючие плети ежевики. Добрался до часового, растряс, знаками объяснил, что надо молчать, затоптал разгоревшийся костер и только после этого тронул за плечо поручика:

– Беда, Гаврила Иванович. Черкесы понизу обходят.

3

Василий Иванович переживал период острого душевного разлада. После гордых слов о лакеях в белых перчатках и измене идее, после столь горячего отказа, поддержанного Федором, в глубине души он все же надеялся, что Мария Ивановна начнет его разубеждать, уговаривать, а возможно, даже и просить. Но акушерка лишь недоуменно пожала плечами, повздыхла на слезы Екатерины Павловны и стала говорить о пустяках. Терпеливо высидела вечер, мило распрощалась и исчезла, и Василий Иванович изнемогал от борьбы с самим собой. То он вдруг вспомнил, что семья в долгах, что нет ни денег, ни доходов, ни перспектив, и терзался, что поспешил с отказом: метался по квартире, в отчаянии щипал редкую бородку, называл себя испанским ослом и торжественно клялся Федору, что пойдет чернорабочим на оружейные заводы. То переполнялся невероятной гордостью, значительно покашливал и говорил, что только так и следует утверждать свое «я», что он беден, но не ничтожен, что идея его – служить добру, а не знатности и богатству, что... При этом он опасливо поглядывал на жену, но Екатерина Павловна была женщиной умной и терпеливой, привыкшей плакать наедине и улыбаться сообща.

– Ничего, Васенька, мы и так проживем. Честь дороже всего.

– Напиши Варе, – сказал Федор. – Существует твоя и моя законные доли мамино наследство.

– Ни в коем случае! – категорически отвечал Василий Иванович. – Ты забыл нашу клятву никогда, ни под каким видом не пользоваться несправедливым богатством?

– Клятву я помню. А Катя тут при чем?

– Ничего, ничего, уж как-нибудь. Признаться, мне лишь одного жаль: обидел хорошего человека. Я говорю о Марии Ивановне: видишь, не появляется более.

– Умна – так появится, – проворчал Федор. – А коли не очень, то и бог с нею.

– Все правильно, – бормотал Василий Иванович, думая о своем. – Все замечательно, и все распрекрасно.

А думал он опять-таки о том, что же все-таки ему делать, и думал с отчаянием. Он не склонен был к панике, обычно трезво оценивая обстановку, но сейчас эта обстановка сама становилась панической. Они задолжали хозяину, кредит в лавочке держался лишь на улыбках Екатерины Павловны, Федору предстояло еще лечиться, и денег не было ни гроша.

Так продолжалось дней десять. Василий Иванович днем мыкался по городу в поисках приработка, а вечерами строил планы, которые тут же разрушал. Строил он не столько для себя, сколько для Федора, надеясь, что брат загорится и, как прежде, примется с увлечением кроить шубу из неубитого медведя. Но Федор только скептически усмехался.

– Угас ты, Федя, – озабоченно сказал Василий Иванович, исчерпав весь арсенал фантазий.

– То был бенгальский огонь, Вася, – усмехнулся Федор. – Ни света, ни тепла – один треск во всю ивановскую.

– Да, брат, – вздохнул Василий Иванович. – Много у нас на Руси этого огонька. И Мария Ивановна что-то не едет, не едет, не едет.

Екатерина Павловна не ораторствовала, а бегала в поисках практики, экономя на извозчиках. Приходила, с ног валясь от усталости, и, наскоро переодевшись – шли дожди, мокрый подол хлестал по ногам, – торопилась к печи на хозяйскую половину. А сготовив и накормив младенцев – бородатых и безбородых, – садилась к лампе чинить и штопать, прислушиваясь, не постучат ли внезапные пациенты. Теперь она брала деньги со всех, кому помогала, брала, конфузясь и страдая, и плакала по ночам оттого, что вынуждена была их брать. А по утрам улыбалась:

– Вставайте, лежебоки! Завтракайте, я уже поела. Феде и Коленке по чашечке какао, а вы, сударь мой Василий Иванович, чайком обойдетесь.

И убегала без завтрака. По знакомым и незнакомым, по больницам и ночлежным домам, по рабочим казармам и полицейским участкам. Рожали везде. Рожали много и бестолково, плодя больных, нищих и бесприютных, в лютых муках расплачиваясь за свой, а чаще за чужой грех. И этот чужой грех, искупленный страданием, и был практикой Екатерины Павловны. В богатых домах детей принимали другие.

– Напиши Варваре, Василий.

– Нет. Я стану презирать себя, если сделаю это. Я пойду работать. Я не боюсь никакого труда, я докажу, что не боюсь.

Но пока Василий Иванович говорил, ничего не доказывая. И Федор, назойливо упрасывая его написать Варе, сам такого письма не писал и писать не собирался. То ли боялся, что начнут жалеть, то ли просто пребывал в равнодушии, принимая все как должное и расплачиваясь унылыми советами.

Мария Ивановна приехала внезапно. Екатерины Павловны не было дома, и дверь открыл Василий Иванович.

– Извините, Василий Иванович, но я не одна. Не примете ли гостя?

– Бога ради, Мария Ивановна, бога ради, пожалуйста! – Василий Иванович суетился в некоторой растерянности, ибо как раз в этот вечер они отужинали с последним сахаром. – Прощу, прошу покорно.

Мария Ивановна выскользнула за дверь – братья недоуменно переглянулись – и вновь появилась в сопровождении неизвестного господина.

– Позвольте представить вам, Лев Николаевич, братьев Олексиных: Василия и Федора Ивановичей.

– Очень рад, господа, познакомиться, – сказал Толстой, снимая круглую шляпу. – Увидеть зараз двух нигилистов, да еще родственников, – редкость.

Василий Иванович очень растерялся и все еще по инерции кланялся, потирая руки. А Федор – он занимался с мальчиком за столом – откинулся к спинке стула и нахмурился:

– Если ваше сиятельство вкладывает в слово «нигилист» тот обывательский смысл, которым пестрят наши газеты, то я попросил бы...

– Да полноте, – махнула рукой Мария Ивановна. – Лев Николаевич шутит, а вы – сразу на дыбы. Садитесь, Лев Николаевич, современная молодежь ведь и стула не предложит: сразу в спор.

– Почему же непременно современная? Любая, – улыбнулся Толстой, садясь и продолжая с интересом разглядывать братьев. – Только вот насчет сиятельства вы, Федор Иванович, напрасно. Если не против, называйте Львом Николаевичем, а титулы оставим для господ из губернского правления.

– Блажь, – буркнул Федор.

Мария Ивановна нахмурилась и покосилась на Толстого. Василий Иванович растерялся еще более и засуетился еще более, хотя теряться и суетиться более уже было невозможно. И только Лев Николаевич улыбался добродушно и даже одобрительно.

– А пускай себе и блажь, что же в этом дурного, Федор Иванович?

Федор неопределенно пожал плечами и примолк. Василий Иванович поспешно отправил Колю в другую комнату, покрутился и сел на освободившийся стул, все еще нервно сцепляя и расцепляя руки.

– Господа, я в затруднении... – начал было он и замолчал.

Он имел в виду отсутствие сахара и невозможность предложить чаю. Но гости о сахаре ничего не знали и слова истолковали по-своему.

– Считайте, что гора пришла к Магомету, – улыбнулась Мария Ивановна.

– Признаюсь, обяжете, коль разъясните позицию, – сказал Толстой. – Мне любопытно знать, право, очень любопытно. Я ведь не вспомоществование предлагаю, а работу, а от работы какой же резон отказываться? А коли есть такой резон, то готов выслушать, затем и приехал.

Василий Иванович развел руками, с надеждой посмотрел на сердитого Федора и неожиданно улыбнулся конфузливой и обезоруживающей олексинской улыбкой.

– Право, не знаю, как и начать.

– Позицию изложите, позицию, – проворчал Лев Николаевич. – Ведь есть же у вас позиция? Какая? Не работать? Не верю. Наслышан о вас, об идеях ваших, об американских приключениях – вот Мария Ивановна рассказывала. И вдруг – отказ. Признаюсь, не понял. Что здесь – фанаберия? Не верю, не могу поверить: вы человек страдательный. Страдать умеете и любите – за других, разумеется. Тогда почему же? Объяснитесь, сделайте милость.

Федор хотел что-то сказать – что-то непримиримое, резкое, – но раздумал. Василий Иванович глядел в стол, пальцами старательно разглаживая скатерть.

– Вероятно, все дело в форме вознаграждения за труды, – сказал он и тут же испуганно вскинул глаза. – Нет, не о сумме. Боже упаси, не о сумме! О форме, понимаете? Ощущать ежемесячный конверт в руках, писать расписки... Вероятно, я горожу чушь, Лев Николаевич, даже наверное чушь несусветную, но... Но, боже мой, как мы спорили об этом на пароходе! Как делить доходы? Как измерить труд человеческий – не физический: физический труд зрим, его можно измерить, – а как определить труд неопределяемый? Труд учителя, инженера, агронома?.. Я не то говорю, извините, но мы спорили об этом.

– И к какому же выводу пришли? – заинтересованно спросил Толстой.

– Да ни к какому. Интеллигенция отдает знания, следовательно, ценятся знания как таковые, а не труд. К какому же выводу тут можно прийти?

– Я думаю, что форму мы уладим, – сказала Мария Ивановна: ее по преимуществу интересовали вопросы практические. – Я переговорю с Софьей Андреевной, не беспокойтесь.

– А Василия Ивановича не это беспокоит, – сказал Толстой, помолчав. – Денежная оценка собственных знаний – это всегда что-то не очень приятное, я понимаю вас. Но скажите, разве

мужик не обладает знаниями? Обладает. А ведь он ничего не берет за совет, ему это и в голову не приходит – брать за совет. Отчего это, Василий Иванович?

– Мужик не ценит знаний. Пока, во всяком случае, не ценит.

– Вот-вот, а мы – ценим. Мужик не ценит знаний, потому что считает, что они ему не принадлежат: они принадлежат общине, миру, мужицкие знания – это коллективные знания. И наши знания тоже не нам принадлежат, если вдуматься, тоже переложены в нас из голов воспитателей, учителей, авторов книг, гувернеров, папенок и маменек. Но мы их присваиваем и начинаем торговать как своими собственными. Мы узурпируем чужую собственность и считаем, что это правильно и в высшей степени морально. Это в вас совесть шевельнулась, – неожиданно закончил Толстой и улыбнулся.

– Проповедовать надо за хлеб и воду, – хрипло сказал Федор: он очень волновался, пребывая в странном напряжении и от этого хрипел.

– Господа, господа, мы уклоняемся, – всполошилась Мария Ивановна, с опаской посмотрев на Федора: ждала, что вот-вот выпалит какую-нибудь колкость. – Решайтесь же, Василий Иванович. Сережа чудный мальчик, вам будет легко с ним.

– Вам будет трудно, не верьте Марии Ивановне, – сказал Толстой серьезно. – Вам всегда будет трудно. Есть люди, которым всегда трудно, что бы они ни делали; вы из их числа.

– Советуете ничего не делать? – спросил Федор, опять захрипев.

– Нет, не советую. Да и никакие советы тут не помогут, зачем же советовать? Человек должен прислушиваться только к советам собственной совести, тогда он будет спокоен, а вы, Василий Иванович, извините, очень сейчас беспокойны. *Fais ce que dois, advienne que pourra*¹.

– Ага, все же даете советы! – заметил Федор. – Не удержались.

– Это не совет, Федор Иванович, это просьба, – сказал Толстой и вновь обратился к старшему Олексину, все еще задумчиво поглаживающему скатерть. – Не хочу скрывать, вы мне нравитесь, и, думаю, мы с вами поладим, Василий Иванович. И – поспорим.

– Позвольте мне подумать, – сказал Василий Иванович, не поднимая головы.

Толстой улыбнулся, а Мария Ивановна сердито махнула рукой:

– Господь с вами, о чем же тут думать, голубчик мой?

– Отчего же, подумайте и известите меня. – Толстой встал, взял шляпу, повертел ее в руках. – Извините, один весьма нескромный вопрос. Вы не обвенчаны с Екатериной Павловной?

– И вас это шокирует? – вскинулся Федор.

– Это отличается от моих взглядов, почему я вынужден буду просить вас жить в деревне. Рядом с усадьбой, расстояние вас не затруднит. – Толстой откланялся. – Прощайте, господа. Очень рад был познакомиться с вами. Жду с надеждой еще более укрепить это знакомство.

– Решайтесь, милый Василий Иванович, решайтесь! – сказала Мария Ивановна, выходя вслед за графом.

Братья молча переглянулись, прислушиваясь. Хлопнула входная дверь, зацокали, удаляясь, копыта.

– Ну, что скажешь? – Федор вскочил, в волнении прошелся по комнате.

– Я откажусь, – сказал Василий Иванович, помолчав. – Ты совершенно прав, Федя.

– Что? – озадаченно спросил Федор, останавливаясь. – Мне нравится этот граф. Да, нравится! Он очень умен, что несомненно. И хорошо расположен...

– Да ты же... – Василий Иванович с удивлением смотрел на него. – Ты же все время пикировался с ним.

– А я проверял, – хитро улыбнулся Федор. – Я проверял, только и всего. И тебе непременно надо соглашаться. Завтра же, завтра же, Вася!

¹ Делай то, что должно делать, что бы ни случилось (*фр.*).

Василий Иванович с сомнением покачал головой:

– Катю не признаю`т. На деревне жить. Унизительно это.

– Чушь! – крикнул Федор сердито. – Фанаберия олексинская! Не признаю`т, так признают, дай срок! В конце концов, каждый имеет право на предрассудки. И обижаться на это – детство какое-то, еще худший предрассудок. Да, худший!

– Отчего вы так громко кричите? – спросила Екатерина Павловна, входя. – Что-то случилось?

– Мы переезжаем, – решительно объявил Федор. – Переезжаем в Ясную Поляну. Завтра же. Укладывайтесь. Все, все, все!..

Василий Иванович только беспомощно развел руками:

– А я им и чаю не предложил. Неудобно. Боже, как неудобно!

4

Гавриил лежал за камнем, сжимая винтовку и напряженно прислушиваясь, не раздастся ли в рассветной тишине цокот копыт, лязг оружия или людские голоса. Это был первый бой в его жизни, первое «дело», и он боялся не столько еще невидимого противника, сколько себя самого. Только теперь, в минуту опасности, он понял, что совершенно не знает себя, не знает, как поведет бой, как будет командовать и как будет убивать. Единственно, в чем он был совершенно уверен, так в том, что скорее умрет, чем побежит или спрячется. Но этого было мало для предстоящего дела. Этого было мало, он понимал, что мало, и потому нервничал и сжимал турецкую магазинку без всякой надобности.

Они обошли черкесов поверху, по горе, успели раньше и заперли выход из оврага. Правда, они не знали ни численности врага, ни его вооружения, ни намерений, но позиция представлялась на редкость удобной, и офицеры единогласно решили дать бой.

Рядом укрылись Захар, Отвиновский и мрачноватый Кирчо. Совримович и Стоян с остальными охватывали фланги. Гавриил искоса поглядывал на соседей, но вели они себя тихо и даже спокойно, спокойнее, чем он. Захар лежал недвижно, точно ждал зверя в засаде. Кирчо для удобства раскладывал перед собой патроны, а поляк рассеянно жевал травинку. И, поглядывая на них, Гавриил бессознательно ободрял себя.

На единственном боевом совете, проведенном практически на бегу, договорились, что огонь открывают только по выстрелу Олексина. Ровно один залп, после которого черкесам будет предложено сложить оружие; если не согласятся, каждая группа ведет огонь самостоятельно до полного уничтожения противника. Поначалу Стоян был против того, чтобы предлагать черкесам сдаваться, но его убедили.

– Они все равно в ловушке, – сказал Совримович. – И потом, это не по-рыцарски, Стоян.

– Рыцарски? – Болгарин усмехнулся. – Черкесы и рыцарство – обратные понятия. Ну да ладно, будь по-вашему.

Туман редел, таял на глазах, но в низинах еще держался, сползая все ниже и ниже, и в этом особо плотном мареве уже слышался тупой перестук лошадиных копыт. Где-то слабо звякнуло то ли стремя, то ли плохо подтянутая шашка, и из белого марева перед Гавриилом вдруг выросла мокрая лошадиная морда и бородатое лицо в черной папахе.

– Пли! – крикнул он и, не целясь, нажал на спуск.

Нестройный залп ударил по выходящим из оврага людям, гулко отдавшись в мокрых утесах. И сразу испуганно заржали кони, послышались крики, лязг выхваченных из ножен клинков и зычный раскатистый бас:

– Рассыпайсь! Ложи-ись! Стрелки, вперед!

– Стой! – закричал Олексин, вскакивая.

Из тумана грохнуло несколько выстрелов, пуля прожужжала возле уха. Захар снизу дергал за ногу, но поручик уже ни на что не обращал внимания. Он ясно расслышал команду, отданную на чистейшем русском языке, и теперь, покрывшись вдруг липким противным потом, надсадно кричал:

– Не стреляйте, свои! Не стреляйте, свои! Свои!

– Твою мать! – гаркнули из тумана. – А коли свои, так какого же вы... стреляете?

Единственный и, по счастью, неприцельный залп вывел из строя двух лошадей да ранил казака, шедшего в головном дозоре. Нянча перевязанную руку, кубанец бродил по лагерю, скрипел зубами и страшно ругался:

– Волонтеры, мать-перемать, стрелять ни хрена не умеют. Ты же мне дулом в грудь уперся, ваше благородие, а куды же тебя под левую-то руку занесло? Холера вам в бок, стрелки...

По оврагу пробиралась конная группа Медведовского. Сам полковник хриплым басом нещадно крыл офицеров:

– Куда же без разведки-то поперлись, сукины дети? Все на русский авось, нахрапом воюете? Нельзя же так, господа, вы не на маневрах! Бог ведь упас, не иначе: чудом своих не перестреляли. Кто нас обнаружил?

– Мой денщик, – виновато сказал Гавриил.

– Ты? – Корявый палец уперся в Захарову грудь как пистолет.

– Так точно, ваше высокоблагородие. Аккурат по воду шел...

– Молодец! – рокотал полковник, любясь собственным басом. – А что же своих не разглядел? Поджилки затряслись со страху?

– Никак нет. Бурки увидел, ну и...

– Бурки – видали дурака? Да в бурках пол-России ходит, дубина! Потому что удобно и тепло. А чего же не счел, сколько нас? Ведь нас три сотни с гаком: ежели бы черкесов столько было, они бы из вас котлет нарубили! Ладно, его понимаю, в деле не был. – Полковник пренебрежительно махнул рукой на Олексина и вцепился в Совримовича: – Но вы-то, вы-то не первый год замужем, должны бы, кажется, соображать. К болгарам претензий не имею, братушки действовали правильно, хвалю! А вас, господа соотечественники, драть надо за такую операцию. Драть!

– Слава богу, что обошлось, господин полковник, – вяло сказал Олексин: он чувствовал страшную усталость. – Это моя вина. Я сознаю.

– Вина, – проворчал Медведовский, уже, впрочем, по инерции. – Я черкесов ловлю: крепкая банда просочилась. Хотел обходом взять, а тут вы со своей инициативой. Сорвали все планы, казака покалечили, лошадей. Эх, вояки! Теперь ищи ветра в поле, лови черкесов...

Полковник Медведовский был чрезвычайно расстроен именно последним обстоятельством, а отнюдь не случайной стычкой со своими. Он был старым воякой и к подобным анекдотам относился скорее с юмором, хоть и ругал при этом провинившихся со всей кавалерийской невоздержанностью.

У него был сборный отряд, основу которого составляли донские и кубанские казаки: именно кубанцы, идущие в авангарде, и попутали Захара. Отругавшись, казаки добродушно знакомились с болгарам, гулко хлопали их по спинам, приглашали к своим казанам на походный харч. Стоян держал Любчо при себе, в офицерском кругу, и она счастливо избегла грубоватых казачьих приветствий.

– Что ж вы, господа, не завтракаете? – спросил полковник, со вкусом уничтожая кулеш. – Appetit отшибло или казачьим угощением брезгуете? Ну-ну, веселей, молодежь! На войне и не такие казусы случаются, на то она и война.

– Обидно, что из-за нас вы черкесов упустили, – сказал Совримович, садясь на гостеприимно раскинутую бурку. – Сорвали мы вам операцию.

– Сорвали, – добродушно подтвердил Медведовский. – Главное дело, выследили мы их: разведчики у меня бывалые. Черкесов выследить не просто, господа, очень не просто. Они вояки скрытные, любят нападать внезапно, врасплох. Нападут, порубят – и опять в кусты. Сушие абреки.

– Далеко они? – спросил Гавриил.

– Далеко ли? Эй, корнет, карту!

Безусый, совсем еще юный корнет бегом принес потрепанную карту, услужливо расстелил ее перед полковником и замер подле. Медведовский поглядел, ткнул пальцем:

– Вот тут вчера поутру были обнаружены на марше. Дорога одна, почему я и решил предупредить их сим оврагом. Если бы не вы, они бы сами мне в руки вышли: изволите ли видеть – дефиле и я седлаю единственный проход.

– А если сейчас попытаться?

– Бессмыслица: и светло, и время упущено. Судя по донесению моих пластунов, вот их маршрут. – Полковник еще раз ткнул в карту коричневым прокуренным пальцем. – С вами вроде бы они расходятся, но глядите в оба. Их около двух сотен: провороните – сомнут и изрубят. Запомнили диспозицию?

– Благодарю, полковник. Мы идем лесами и совсем в другую сторону.

– Стороны черкесам не заказаны. – Медведовский легко вскочил на ноги. – Кончай довольствоваться, казаки! Седлай! Корнет, выводите кубанцев.

Шумный казачий бивак свернулся мгновенно: Медведовский любил дисциплину. Вскоре слышался только удаляющийся цокот копыт да игривый всхрап отдохнувших лошадей. Поляна опустела, болгары заливали казачьи костры.

– Не огорчайтесь, Олексин, – сказал Отвиновский. – Первый блин, что же поделаешь.

– Говорите так, будто у вас он не первый.

– Признаться, далеко не первый, поручик.

– Сколько же вам было лет, когда... – Олексин не договорил.

Отвиновский понял и усмехнулся:

– Бойтесь произнести слово «восстание»? Не бойтесь, здесь за это пока не вешают. А лет мне было в ту пору ровнехонько пятнадцать.

– У вас злоба в глазах.

– От воспоминаний млеют только старички, Олексин. Оставим, пожалуй, этот разговор, он не доведет нас до добра. Сытый голодного не понимает. Впрочем, вы не сытый. Вам только кажется, что вы сытый.

– Господа, от ваших иносказаний у меня голова кругом пошла, – сказал, приблизившись, Совримович. – Сытый, несытый, полусытый. Говорите проще, Отвиновский, тут все свои.

– Я уже высказался и теперь буду молчать долго и упорно, – улыбнулся Отвиновский. – Что, пора в дорогу?

В этот день шли особенно осторожно. Стоян сменил в головном дозоре Карагеоргиева на опытного Кирчо. Карагеоргиев очень оскорбился, хмуро поглядывал на Олексина. Когда Стойчо ушел вперед, не выдержал:

– Вам обязан, господин поручик?

– Да не мудрствуйте вы лукаво, Карагеоргиев, – сказал Совримович, вздохнув. – Пороха и крестов на всех хватит, не спешите в рай.

– У русских есть прелестная черта: с мягкой улыбкой навязывать свою волю. С немцами, признаться, как-то проще: всегда знаешь, чего они хотят.

– Как вам не стыдно, господин Карагеоргиев! – вспыхнула Любчо.

– Этот же вопрос уместнее задать вам, мадемуазель. Общество романтических разбойников хорошо смотрится на сцене, в жизни возникают более земные мысли.

– Еще одна острота в эту цель – и я вам снесу полчерепа, – тихо сказал Отвиновский. – Ровнехонько: у меня хороший удар.

Карагеоргиев усмехнулся, пожал плечами, но промолчал. Любчо ушла вперед, к Стояну, офицеры сделали вид, что не слышали этой ссоры.

– Пора бы и о привале подумать, – делано зевнул Совримович. – Пожалуй, я нагоню Бранко, Олексин.

– Пожалуй...

Впереди вразнобой ударили торопливые выстрелы, послышались крики, визг, наметный конский топот. Весь отряд без команды бросился через лес напрямик, на выстрелы, сбрасывая с плеч поклажу. Олексин закричал, чтобы остановились, но его уже никто не слушал, и он тоже побежал туда, где дробно стучали выстрелы, слышался топот, конское ржание и дикие непривычные крики.

– Вот они, черкесы! – прокричал на бегу Совримович.

– А куда бежим?

– А черт его знает! Должно быть, атаквали Медведовского!

Лес кончился, впереди, скрывая дорогу, тянулся кустарник, и они, задыхаясь, остановились. За кустами где-то совсем рядом слышались пальба и крики, ржание коней и звон шашек, но пальба начинала затихать, и Гавриил догадался, что невидимые противники сошлись лоб в лоб, врукопашную, и теперь все решают секунды.

– Вперед! – крикнул он. – Пали им в спину, ребята! Залпами в спину!

Он продрался к дороге вместе с Захаром и невесть откуда появившимся Бранко, увидел краем глаза, что кругом качаются и трещат кусты, что отряд его атакует дружно, и выбежал на открытое место.

Перед ним была узкая дорога, тесно забитая конными упряжками, орудиями на марше, передками, зарядными фурами, повозками и оттесненными к артиллерийскому обозу людьми в знакомой волонтерской форме. А вокруг, замкнув кольцо, вертелись на лошадях юркие всадники, сверкая клинками, с визгом, азартом и исступлением рубя сбитых в кучу артиллеристов. Кое-где еще отстреливались, еще отбивались палашами и банниками, но исход боя был уже решен: смятые конной атакой артиллеристы долго сопротивляться не могли.

– Пли! – срывая голос, крикнул поручик. – Бей их, ребята!

Он спешил, непрерывно передергивая затвор, и почти не видел мелькавших на мушке всадников. Рядом, стреляя на бегу, спешили болгары, неторопливо и хладнокровно бил из магазинки Отвиновский, орал яростную матерщину Захар. Все было безрассудно и стремительно, но черкесы уже разворачивали коней.

Олексин бежал вдоль разгромленного артиллерийского обоза. Патроны в магазинке кончились, он не стал перезаряжать ее и бросил и теперь стрелял из кольта, но стрелял осторожно, считая выстрелы. Бежал, перепрыгивая через раненых и убитых, видя только беспорядочно уходивших черкесов, и кричал:

– Где командир? Командир ваш где?

Наконец он увидел командира. Рослый офицер привалился к орудийному колесу, опустив онемевшую руку с тяжелым артиллерийским палахом. Распахнутый волонтерский мундир был мокрым от пота и крови.

– Вы ранены? – еще издали крикнул поручик.

– Это чужая кровь, – задыхаясь, сказал офицер. – Опоздай вы – и была бы моя.

– Невероятная удача! – радостно воскликнул Олексин, подбегая. – Мы случайно шли...

И замолчал. Перед ним, с трудом переводя дыхание, стоял гвардии подпоручик Тюрберт.

5

– Неисповедимы пути Господни, – разглагольствовал Тюрберт, насмешливо кося бледно-голубыми глазами. – Они взяли нас в шашки на марше, а артиллерия, господа, неповоротлива и, как известно, безмятежна. Изрубили бы в капусту, если бы не ваша любезность.

Подпоручик уже отдышался, и веснушки вновь весело высыпали на щеках. Он сидел на лафете в распахнутом мундире, пил коньяк, угощал волонтеров и говорил не переставая. Гавриил изредка взглядывал на него, но видел почему-то не круглое, с кошачьими усиками лицо, а розовую, поросшую рыжим волосом, еще мокрую от пота грудь и мрачнел.

– Но я особо счастлив, что моим спасителем оказались именно вы, Олексин, – улыбаясь, продолжал Тюрберт. – Я непременно расскажу об этом моей невесте в самых восторженных красках и неоднократно. Можете себе представить, как она будет счастлива.

– Прошу вас на два слова, – сказал Гавриил, встав куда поспешнее, чем того требовала обстановка. – Совримоич, узнайте потери...

– Потерь, слава богу, нет, Олексин. Правда, Стоян еще не вернулся...

– Так узнайте, где он! – с непонятной резкостью перебил поручик. – Прошу, Тюрберт.

– Признаться, я уморился, – говорил Тюрберт, идя за Гавриилом. – Одно дело отмахиваться эскадрой в фехтовальном зале, и совсем иное, оказывается, спасти свою жизнь. У вас какие-то секреты, Олексин? Куда вы меня влечете?

– Вы постоянно оскорбляли меня в Москве, но не рассчитывайте на это в Сербии, Тюрберт. Здесь это не пройдет.

– Бог мой, уж не хотите ли вы со мной драться?

– За вами долг, подпоручик.

– Долг? – Тюрберт вдруг рассмеялся и сел на землю. – Спасти человека лишь для того, чтобы тут же подстрелить его, как вальдшнепа, – знаете, Олексин, это уж слишком. Ну, что вы на меня смотрите? Я сел потому, что устал.

– Лжете, Тюрберт.

– Лгу, – согласился подпоручик без всякого промедления. – Мне как-то расхотелось умирать, если говорить начистоту.

– Вы правы, я не могу пристрелить вас, пока вы сидите. Но я могу дать вам пощечину.

– Оставьте, Олексин, – скривившись, как от зубной боли, вздохнул Тюрберт. – Оставьте вы оперетту, давайте говорить серьезно. Я только-только вышел из боя, я не успел похоронить своих людей, а вы толкуете про страсти роковые и готовы каждую секунду схватиться за револьвер. Нельзя же так, поручик, право, нельзя, не обижайтесь. Мы оба добровольно приехали в Сербию, оба хотим воевать против турок, оба – русские офицеры, облеченные доверием и обремененные долгом перед подчиненными. Перед подчиненными! И вдруг, забыв обо всем – о чести волонтера, о долге и положении, – начнем драку, как опившиеся шампанским юнкера. Естественно, я далек от того, чтобы предложить вам забыть прошлое, но я предлагаю перемирие. Вот уж вернемся в родное отечество – и прямо-таки побежим к барьеру, если вы того желаете. Но не здесь же, Олексин, не здесь, опомнитесь!

Все это Тюрберт выложил без всякой аффектации, тоном усталым и слегка сварливым. И, как ни странно, именно эта сварливость подействовала на Гавриила успокаивающе. Он перестал метать молнии, хотя ус по-прежнему подкручивал, но уже не воинственно, а смущенно.

– Ну как, согласны, спаситель?

– По-моему, вы трус, Тюрберт, – сказал поручик спокойно.

– Трус? – Тюрберт легко вскочил с земли и пошел на Олексина, рыжий, громоздкий, как медведь. – Тут вы перегнули палку, Олексин, тут вы хватили через край...

– А говорили разумные вещи, – усмехнулся поручик. – Передохните, или вас хватит удар.

Тюрберт остановился, медленно провел ладонями по лицу, зевнул знакомым деланным зевком.

– Черт, щетина лезет. Утром поленился побриться – и пожалуйста... Хотите дуэль наоборот?

– Это что значит: кто быстрее застрелится, что ли?

– Чья смерть будет отважнее, тот и победил. Сообразили? И оставшийся в живых должен на могиле публично заявить, что трус – он, а не тот, кто лежит в земле. Публично, Олексин, слово чести!

С дороги ударил выстрел. Один-единственный и потому особо гулкий и особо тревожный. Офицеры дружно бросились сквозь кусты.

– Свалил! – торжествующе кричал Захар. – Одним патроном, ваше благородие! С ходу свалил!

Оказалось, в кустах прятался отставший от своих черкес. Когда все успокоилось, он галопом вылетел на дорогу, надеясь на резвость коня и собственную удачу. Проскакал мимо растерявшихся артиллеристов и почти достиг спасительного поворота, когда хладнокровный охотничий выстрел Захара свалил наземь коня.

– Я тут без вас распорядился, – докладывал Совримович, пока артиллеристы ловили оплошавшего всадника. – Отправил Бранко с Карагеоргиевым за Медведовским, а болгарам пока поручил охранение.

Солдаты привели черкеса. Его нарочно вели мимо еще не убранных убитых, вели с руганью и подзатыльниками. Но черкес внешне был спокоен, только чуть вздрагивали пальцы, перебиравшие узкий наборный ремешок.

– Ваше благородие, велите немедля в расход! – громко сказал рослый унтер, передавая Тюрберту снятую с черкеса шашку. – Ведь сколько душ на тот свет отправили, стервы некрещенные!

– Ступай, – сказал подпоручик, рассматривая шашку. – А клинок-то кавказский. Ваше имя?

Пленный молчал.

– Я спрашиваю, как ваше имя? – строго повторил Тюрберт. – Желаете умереть безымянным?

– Почему вы считаете, что все обязаны понимать русский язык? – с неудовольствием спросил Отвиновский.

Но пленный не хотел объясняться даже по-турецки: Совримович немного знал язык. Он молчал не по незнанию, а просто не желая вступать в переговоры, и не скрывал этого.

– Придется расстрелять, – сказал Тюрберт, искоса глянув на Олексина.

– Подождем Медведовского, – решил Гавриил: мысль о расстреле была для него мучительна. – Он старший по званию, ему и решать.

Пленного поместили в центре батареи под надежной охраной. Артиллеристы уже рыли могилу: у Тюрберта четверо были зарублены сразу и еще столько же умирали от потери крови. Обоз привели в порядок, перепрягли лошадей. Все делалось в спешке: от болгар поступили сведения, что черкесы упорно кружат поблизости.

– Двигаться нельзя, – сказал Тюрберт, ни к кому не обращаясь, но по-прежнему посматривая на Гавриила: он не делил с ним власть, но признавал равновесие положения. – На марше они повторят атаку.

– Подождем Медведовского, – упорно повторил Олексин, не желая принимать никаких совместных решений.

– А если Медведовский не придет до вечера? Прикажете ночевать?

– Приказываете здесь вы, Тюрберт.

– Ночевать, – сказал Совримович: ему была неприятна эта вежливая пикировка. – Загордимся орудиями и обозом, выставим усиленные караулы.

– Воля ваша, но все это до крайности нелепо, – вздохнул Тюрберт.

– Что именно?

– Все! – отрезал подпоручик. – Если такое же согласие царит среди всех офицеров в Сербии, то султан может отдать распоряжение о параде в Стамбуле. Ладно, займемся похоронами. Кто прочитает молитву? Я не помню ничего, кроме «Отче наш».

– Какая разница, что читать? – пожал плечами Отвиновский. – Молитвы нужны живым, а не мертвым.

– Их-то я и имею в виду.

К закату все было готово, но в могилу уже опускали всех восьмерых. Среди артиллеристов нашелся пожилой солдат, знающий обрывки канона по единоумершему, которые он и пробормотал прокуренным басом:

– Мы же от земли тленны созданы быхом и в землю ту же возвратимся...

– Ту же, да не ту, – вздохнул Захар, горестно покачав головой.

Тюрберт сказал несколько слов, офицеры отсалютовали погибшим, солдаты бросили по горсти земли – и погребение было окончено. Засыпали яму, возвели холм, поставили крест, постояли, сняв шапки.

– Хуже нет, когда в чужой земле зарывают, – сказал Захар. – Хуже нет.

Первая смерть на чужбине не так угнетала его, как первые похороны. Он все время возвращался к мысли о земле, хранившей прах отцов и прадедов. И ругательски ругал себя, что не захватил горсти родной земли.

От болгар по-прежнему поступали тревожные сведения: черкесы не уходили, кружась на расстоянии выстрела. А смены у охранения не было, так как артиллеристов использовать для этого не годилось: и ружья у них были старого образца, и стреляли они из них плохо.

– Ничего, – сказал Стойчо; он сам пришел с последним донесением. – Мы привыкли не спать ночами.

По приказу Тюрберта солдаты развели костры, готовили ужин. Захар еще возился с котлом, когда к офицерскому костру подошел унтер.

– Ваше благородие, врет он, нехристь этот. Говорит он по-нашему и понимает!

– Откуда тебе известно?

– Так до ветру сам попросился!

– Своди до ветру и давай его сюда.

Через четверть часа пленный стоял перед Тюрбертом. Руки у него были связаны, конец веревки держал унтер.

– Развяжи и ступай.

– Сбежит, ваше благородие, – с сомнением сказал унтер. – Шустер!

– Побежит – получит пулю, – проворчал Отвиновский.

Унтер неодобрительно покачал головой, но руки пленному развязал. И сразу же ушел: в батарее у Тюрберта был порядок.

– Как приспичило, так и язык вспомнил? – усмехнулся подпоручик. – Как зовут? Как зовут, спрашиваю?

– Ислам-бек! – с вызовом выкрикнул черкес.

Офицеры переглянулись.

– Вот почему они не уходят, – тихо сказал Совримович. – Беспокоятся о своем вожде.

– Садитесь, бек, – сказал, помолчав, Тюрберт. – Ваше место у этого костра. Вместе поужинаем и поговорим.

Помедлив, бек опустил на попону между Олексиным и Совримовичем, по-турецки подвернув ноги. Теперь, когда стало известно, кто он, этот молчаливый пленный, офицеры

совершенно по-иному и смотрели и видели его, оценив и тонкие черты лица, и скромную одежду, и старинное серебро газырей и наборного ремешка. Ислам-бек сидел недвижимо, строго глядя перед собой.

Захар разложил кашу по мискам, подал. Совримович поставил свою порцию перед пленным.

– Первый кусок – гостю.

Черкес склонил голову, коснувшись левой стороны груди, но к еде не притронулся.

– Ешьте, если голодны, – сказал Олексин. – Остынет.

– Я не ломаю хлеб с гяурами! – резко ответил Ислам-бек.

Он говорил с сильным акцентом, не очень правильно произносил слова, но фразу строил легко и быстро.

– Вы предводитель этой шайки? – спросил Тюрберт: слова о гяурах ему откровенно не понравились.

– Шайки? – Ислам-бек гордо вскинул голову. – Мы – народ воинов, а не бандитов.

– И все же вы не ответили на вопрос.

– Сначала вы лишили нас земли, теперь хотите лишить чести?

– Я лишил вас только свободы, бек. И то – по необходимости.

– Я был мальчишкой, когда в одну из осенних ночей русские окружили наш аул. Я помню эту ночь: дул ветер с гор и было так холодно, что собаки жались друг к другу. Солдаты заходили в сакли и всех выгоняли на площадь. Стариков, старух, беременных женщин, малых детей – всех до одного. Всех! Мы мерзли на ветру, а ваши солдаты бродили между нами и срывали кинжалы с мужчин и мониста с наших женщин. А старики не понимали, просили объяснить: ведь мы были мирным аулом. Потом, когда было снято наше оружие, когда дети уже хрипели, а не плакали, когда мы замерзли до дрожи, полковник прокричал, что все наше племя выселяют в Турцию. Все племя, все аулы, все семьи – всех, до последнего человека!

Последние слова Ислам-бек выкрикнул на едином дыхании, хотя начинал спокойно и негромко. Выкрикнул и замолчал, снова строго глядя перед собой.

– Что же вы замолчали? – громко, с вызовом спросил Отвиновский. – И что же было дальше?

– Перестаньте, Отвиновский, – вздохнул Олексин. – Вы что, не знаете, что было дальше?

– Это вы не знаете!

– Господа, прекратите, – зашептал Совримович. – Право, господа, это неприлично.

Тюрберт с любопытством посматривал на Отвиновского: он уже все понял, но в отличие от Гавриила не боялся предстоящего рассказа. Для него правильным всегда было то, что целесообразно, эмоции его не трогали.

– Дальше? – Бек неприятно улыбнулся. – Вы хотите насладиться рассказом о горе и унижении целого народа?

– Не надо, бек. – Олексин положил руку на плечо пленника. – Выпейте хотя бы чаю.

– Надо! – Черкес сбросил руку Гавриила. – Об этом надо кричать на весь мир! Спасаете сербов от турок? Какое благородство! А если спасете, что тогда? Какое еще горе вы принесете этой стране? Выселите турок или албанцев? Введете повсеместно свой язык, свою веру, свои обычаи? Распашете могилы? И все ведь не от жестокости – нет, вы не жестоки! – все во имя высшей целесообразности устройства, все – во имя благородной идеи. Как будто идея может остаться благородной, если ее достигают неблагородными способами.

– Да, идея – это женщина, – улыбнулся Отвиновский. – Ее можно любить, а можно насиловать. Разница в том, что изнасилованная идея мстит во втором колене.

– Вы еще можете шутить, – укоризненно вздохнул Совримович.

– Могу, братья славяне, могу! Потому могу, что сегодня вы полной ложкой хлебаете то, что заварили ваши отцы. И я этому рад.

– Вы откровенны, Отвиновский, – усмехнулся Тюрберт. – Это мне нравится.

– Поляку нечего терять, кроме чести, поручик.

– Начали, бек, так рассказывайте, – вздохнул Гавриил.

– Нам дали два часа на сборы. Что можно собрать за два часа, когда вы уходите навсегда из родного гнезда, когда неизвестно, что дороже: горсть земли с могилы отца или старая бурка? Люди хватали случайные вещи, и над всем аулом висели рыдания. Но ровно через два часа нас вытолкали на улицу и погнали к морю. Ночью, через заснеженные перевалы, с маленькими детьми и дряхлыми стариками. Мы шли и падали, и снова шли, и снова падали. У форта Лазаревского нас ждали парусные фелюги. Нас швыряли сотнями в эти фелюги, не разбирая, кто здоров, кто болен, где мать, а где дети, и через несколько часов мучительного плавания выбросили на пустынный берег. Он был дик и безлюден, и мы еще сутки брели по чужой стране, пока не нашли чиновников, которые хоть что-то могли сделать. Мы долго жили в лагере для переселенцев, ожидая решения своей судьбы, десятками умирая от болезней. Потом пришел фирман: нам жаловалась дикая земля в Болгарии, которая не нужна была ни туркам, ни самим болгарам. Мы поселились там, вдали от навеки утерянной родины, среди врагов. Вы назвали нас бандитами? Нет, поручик, мы – мстители, а не бандиты. Жалею, что не зарубил вас сегодня.

– Да уж больше такой возможности у вас не будет, – усмехнулся Тюрберт. – Не хочу скрывать: вам предстоит неприятности, бек.

Черкес ничего не ответил.

– Вы когда-либо испытывали боль за деяния своей страны? – спросил Отвиновский. – Хоть раз в жизни, хоть по какому-нибудь поводу?

– Я люблю свое отечество и горжусь им, – немного напыщенно сказал Тюрберт. – Догадываюсь, что вам трудно это понять.

– Отчего же трудно? Вы эгоист, поручик, и любовь ваша к отечеству тоже эгоистична: она мирится с тем порядком вещей, который удобен вам лично. Вы не сострадаете своей отчизне, вы пользуетесь ею, как любовницей.

– Кажется, вы переходите границы, Отвиновский, – вздохнул Совримович. – В ваших словах заключено нечто, касающееся не только подпоручика Тюрберта. Соболаговолите объясниться.

– Объясниться? – Поляк поковырял угли костра, на миг вспыхнуло пламя. – Каждый народ считает себя избранным. Это пошло с тех времен, когда чувство особливости было инстинктом сохранения рода: ребенок тоже считает себя особым и, лишь взрослея, начинает понимать, что он ничем не лучше остальных. Не в этом ли понимании заложено то, что мы считаем чувством справедливости, господина? С этим чувством не рождаются: его постигают, учась сравнивать. Сравнить! Сравнить, то есть заранее считать всех равными...

– Хотите сказать, что мы народ пока еще младенческий?

– Дайте же человеку высказаться, Тюрберт, – с раздражением заметил Гавриил. – Он как раз горюет о том, что ему не дают говорить, а вы тут как тут со своими гвардейскими обидами.

Тюрберт насмешливо посмотрел на Олексина, но промолчал. Совримович, всегда близко к сердцу принимавший размолвки между друзьями, с беспокойством следил за Отвиновским, ставшим вдруг надменно, почти враждебно холодным. И лишь пленный бек отрешенно сидел у костра да Захар беззвучно убирал посуду.

– Вы благодетели по натуре, Олексин, – невесело усмехнулся поляк. – Благодетели искренние, бескорыстные, щедрые. Но вам лень подумать...

– Вот и лень появилась, – улыбнулся Тюрберт. – Признаться, ждал ее с нетерпением: как, думаю, вы без этого-то аргумента обойдетесь? А вы и не обошлись, и все сразу стало таким банальным, что, господина, захотелось поспать. Оставим банальности земским сердцедам и предадимся самому безвинному из удовольствий: сну в обнимку с шинелью.

– Лениность не аргумент, лень – результат, – сказал поляк. – Вся Европа, все ее страны и народы стоят или сидят, а вы лежите, пятками упираясь аж в Тихий океан. У вас – масштабы, у вас – размах, у вас – идеи под стать размерам. Я спросил вас о деяниях вашего отечества, об истории вашей. Да, великая история, есть чем гордиться, господа, есть, готов признать как воин, коему не чужды честь и отвага. Но сколько же в этой истории темного, сколько крови и слез, сколько обид! Когда-нибудь – не теперь, нет! – но когда-нибудь вы сочтете их. Хотя бы во имя справедливости, без которой не может жить ни человек, ни народ, ни государство.

– До чего же вы ненавидите нас, господин инсургент, – сказал Тюрберт, улыбаясь с привычной безмятежностью. – Но я не в претензии, поймите. Вы отвыкли служить отечеству, заменив отечество идеями. А идея – неадекватная замена, Отвиновский. Идеи приходят, идеи трансформируются, уходят или умирают, а отечество остается. И наша сила – в нем.

– Ваша сила вскоре явится сюда, и поэтому мне самое время присоединиться к тем, кто вроде меня еще не обрел своего отечества: я имею в виду болгар. Передать им что-нибудь, Олексин?

– Благодарю, ничего.

– Счастливо, господа, я заночую у Меченого. – Отвиновский двинулся было из освещенного круга, но остановился. Добавил, понизив голос: – Не хочу быть пророком, но почти убежден, что браво рубака Медведовский повесит нашего гостя на его же собственном ремешке.

Отвиновский ушел; офицеры молчали, но молчали по-разному. Гавриил сосредоточенно размышлял о чем-то непривычном, что, может быть, и не было для него новым, но от чего прежде он легко отмахивался, а сейчас почему-то не мог отмахнуться, удивлялся, что не мог, и чуточку этим гордился. Тюрберту все всегда было ясно не потому, что он не умел или избегал думать, а потому что все им услышанное лежало за пределами его совести и чести, а значит и не относилось к нему. Все это и подобное этому решалось за него, бралось на чью-то иную совесть, было делом государственным, и он не желал да и не считал себя вправе сомневаться. А Совримович страдальчески морщился, терзал цыганскую бороду и вздыхал.

– У меня скверно на душе, господа, – признался он. – Думаю, потому скверно, что Отвиновский в чем-то прав.

– Оставьте! – с непривычным раздражением крикнул Тюрберт. – Мы смотрим на мир с разных колоколен, и не перескакивайте на чужую, Совримович: наша и повыше, и погромче. Эти господа думают только о себе, воюют только за себя и умирают за свою милую племенную ниву. А мы первыми в мире шагнули за племенные границы, мы первыми научились видеть дальше собственного порога и думать шире родимой околицы. И то, что мы с вами здесь, в Сербии, то, что мы во имя братьев по вере покинули свои дома и готовы отдать свои жизни, лучшее доказательство вечной правоты России.

– Братья-славяне, – опять вздохнул Совримович. – А нужно это им, братьям-славянам, Тюрберт? Нужно?

– Что – это? Помощь?

– Помощь нужна, я не о помощи. Я приехал сюда по зову души своей и... и горжусь этим. Я готов помогать, готов сражаться, готов, если понадобится, умереть за свободу и счастье моих братьев, но... Ах, боже мой, я не знаю, как высказать то, что тревожит меня, господа. Нет чего-то общего, чего-то большего, чем все наши жизни. Нет! Почему же нет? Может быть, потому, что у нас нет знамени?

– С такими мыслями, Совримович, вам трудно служить в русской армии.

– Я кое-что понял, господа, не все, правда, не до конца, но кое-что понял, – не слушая Тюрберта, продолжал Совримович. – Знаете, и Карагеоргиев в чем-то прав, и Отвиновский, а ведь они тоже славяне. Значит, что-то не так, господа. Значит, что-то мы напутали в московских салонах, что-то недодумали или незаметно для самих себя додумали за другие народы. А это неправильно. И – несправедливо.

– Послушайте, Совримович! – Тюрберт опять скривился, и опять в его тоне зазвучала некоторая сварливость. – Не раздувайте вы свою драгоценную совесть до вселенских размеров. В конечном итоге существует долг, существует честь, существует отечество – что еще нужно, чтобы всегда остаться правым?

– Существует, вероятно, нечто большее, чем личная честь и личный долг, Тюрберт. Вероятно, существует, только мы этого пока понять не можем.

– Ну и слава богу! Излишние представления обременительны для нашей с вами профессии.

– А ведь Медведовский и в самом деле повесит пленного, – вдруг тихо сказал Гавриил. – Повесит, а мы всю жизнь...

Он замолчал, так и не договорив. Совримович сокрушенно вздохнул, а Тюрберт неожиданно зло расхохотался.

– Я к солдатикам, – сказал он, вскакивая. – К солдатушкам – бравым ребяташкам.

– Постойте, – морщась, сказал Олексин. – Пленный – ваш, извольте решать его судьбу.

– Нет уж, увольте! – Тюрберт развел руками и картинно поклонился. – Во-первых, ссадил его ваш денщик, стало быть, вам приз и принадлежит. А во-вторых, господа соотечественники, ваших людей он не убивал, вашей жизни не угрожал – вам, знаете ли, как-то проще проявлять нежные чувства. А посему разрешите удалиться для исполнения командирских обязанностей. Вернусь через час, надеюсь, что к этому времени вы кончите страдать и обстановка прояснится.

Тюрберт еще раз церемонно поклонился и ушел. Офицеры молчали, старательно не глядя друг на друга. Ислам-бек, слышавший весь разговор – Тюрберт либо не умел, либо не желал говорить тихо, – сидел в прежней неподвижности, словно все это его не касалось.

– Все-таки этот ваш московский приятель – отменный наглец, – сердито сказал Совримович. – Он, видите ли, явится через час!

– Что вы скажете, Совримович, если я отпущу бека на все четыре стороны? – спросил Олексин, упорно разглядывая папиросу. – Что вы молчите? Я исхожу из боевой обстановки: пока мы его не отпустим, черкесы не уйдут, а, напротив, ночью повторят атаку. Об этом никто не думает, а это и есть главное.

– Я не судья вам, Олексин, – сказал, помолчав, Совримович.

Глава седьмая

1

Тетушка Софья Гавриловна выполнила данную себе самой торжественную клятву. Никому ничего не объясняя, вдруг укатила восвояси, но вскоре вернулась в Смоленск в сопровождении сундуков, любимой болонки и шепотливой старушки-наперсницы Ксении Николаевны. К этому времени Варя привезла детей из Высокого, и привыкший к тишине и безлюдью смоленский дом зажил жизнью шумной, суетливой и энергичной, поскольку энергию эту излучала почтенная Софья Гавриловна каждое божье утро:

– Сегодня французский день. Разговоры по-русски запрещены. Даже с прислугой.

– Боюсь, что прислуга не поймет, – пыталась возражать Варя.

– Захочет – поймет: русский человек все понимает, когда захочет. А вы, судари и сударины, обленились и закоснели и извольте напяречь волю. Маша может музицировать, но не более двух часов, остальное – занятия и занятия. Пора думать о пансионе.

– О пансионе?

Спорить с тетушкой Маша не решалась не из боязни или малодушия – она была человеком прямым, – а из чувства благодарности. Своей неумемной деятельностью, затратой сил,

искренностью и заботой Софья Гавриловна обезоруживала спорщиков еще до спора. И Маша плакала по ночам, а днем жаловалась все понимающему Ивану:

– Да что же это творится, Ваня, я даже спорить не могу! Я боюсь неблагодарной оказаться: она ведь от души все, правда? Ну скажи, ведь от души, без хитрости?

– От души, Маша.

– Вот видишь. Как же тут спорить?

Иван молча улыбался. Он стал еще сдержаннее и нелюдимее, увлекся философией, а химию вдруг оставил, но то, чем он увлекался, видели, а что забрасывал, не замечали. Это было по-олексински: гордиться увлечениями и не замечать непостоянства. Они всегда чем-нибудь увлекались, но никогда не доводили до конца своих увлечений, и это было столь естественно для них, что упрись кто-либо в какое-нибудь одно дело и не измени ему – посчитали бы чудачком.

– Рабство благодарности, Маша, есть самое тяжкое рабство, ибо цепи для него человек выковывает сам.

– Оставь свою противную философию.

– А что изменится? Ты сразу сделаешься неблагодарной?

– Господи, она меня и вправду в пансион запрет! – Маша в отчаянии всплескивала руками. – А я не хочу туда. Не хочу, не хочу!

– Молодец! – Иван, улыбаясь, любовался сестрой. – Вот так прямо и скажи.

Но Маша могла говорить, спорить и возмущаться только с Иваном: боязнь огорчить тетушку была сильнее ее. Иван был прав, говоря о рабстве благодарности: в это мягкое улыбочивое рабство постепенно втягивалась вся семья, и даже Варя, все еще пытавшаяся спорить, спорила только до известного предела, перейти который уже не могла. Деятельно-ласковые ручки Софьи Гавриловны неторопливо, но крепко захватывали и дом, и домочадцев.

– Завтра немецкий день. Дети, вы слышите? Георгий, я тебя спрашиваю.

– Да, ма тант.

– Немецкий, немецкий, а не французский!

– Все равно голодными будем, – улыбался Иван. – Прислуга опять напутает, и мы получим желе вместо отбивной и паштет вместо варенья. Впрочем, голодный полиглот лучше сытого недоучки.

Ивану было проще всех: он с самого начала отгородился непроницаемо вежливой улыбочкой, все принимал как должное и ничем не восторгался. Софья Гавриловна, с первых же дней озадаченная этой позицией, так и осталась озадаченной, в конце концов оставив его в покое.

– Знаешь, Варвара, я пугаюсь людей, которые не способны увлекаться.

– Иван увлечен философией, тетя.

– Вот когда его философия зашелестит юбками, тогда я перестану пугаться. А потом непременно закричу «караул».

– Опять – караул?

– Помяни мои слова: он влюбится не в того, в кого надо.

– Полагаю, ему виднее, в кого влюбиться.

– Но он непременно напутает. И будет распутывать всю жизнь и запутает еще больше. Пожалуйста, не спорь, я знаю, что говорю.

Однако больше всех языков, свободное владение которыми Софья Гавриловна почитала основой воспитанности, больше всех хозяйских хлопот, детского ученья, занятий и развлечений тетушку занимал вопрос, из-за которого она то и дело намеревалась кричать «караул». Вопросом этим было будущее девочек, понимаемое как выгодное замужество. Она бы с удовольствием занялась и мужскими партиями, но все годные для этой роли мужчины разбежались, Иван в расчет не шел, и вся ее энергия отныне была направлена на поиски женихов. В этом вопросе она полагалась целиком на себя, ни с кем не советовалась, но и не спешила, про-

водя пока глубокую подспудную работу и нанося визиты предпочтительно одиноким дамам со связями и в возрасте. Верная Ксения Николаевна добывала необходимые сведения, вооружившись которыми Софья Гавриловна и шла в разведку боем.

– Выдадим Варю и Машеньку и передохнем, – говорила она наперснице, возвращаясь со свиданий, требовавших утонченной хитрости, высшей дипломатии и точного расчета, что сильно утомляло ее. – С Наденькой будет легче. Я чувствую, что легче.

Вдовствующей владычицей смоленского общества была Александра Андреевна Левашева, дама почтенного возраста, петербургских связей и независимого капитала, наезжавшая по хозяйственным надобностям в город. Когда-то Софья Гавриловна была ей представлена и рискнула явиться с поклоном, как только Александра Андреевна объявилась в Смоленске. Скучающая матрона приняла ее немедленно и вполне благосклонно; дамы пили чай и говорили о пустяках, но Софья Гавриловна умудрилась перевести разговор в нужном направлении, доверительно поведав хозяйке о своих заботах в связи с осиротевшей олексинской семьей.

– Буду рада познакомиться с вашими питомицами, Софья Гавриловна, – сказала Левашева. – Привозите в четверг, я люблю молодежь.

К четвергу готовились особо: шили платья, обсуждали разговоры. Маша скептически улыбалась, но не спорила: ей была любопытна эта суета. А Варя относилась к предстоящему визиту не только со всей серьезностью, но и с определенными планами, будто там, у таинственной светской вдовы, ей должны были незамедлительно вручить того, кого она готова была полюбить вдруг и на всю жизнь. Теперь, когда Софья Гавриловна взяла на себя все семейные заботы, Варя начала ощущать такую потребность любить, что все остальное отошло на второй план, стало мелким, необязательным и неинтересным. У нее было чувство, будто та непосильная ноша, которую она, задыхаясь, тащила на своих плечах, уже доставлена, уже сброшена, и она наконец-таки получила возможность выпрямиться, оглядеться и ощутить собственную бесприютность и одиночество. И ощущение это было пугающим, потому что Варя уже считала свои годы.

– Ты суетишься неприлично, – сказала Маша в своей полудетской беспощадной манере.

Варя вспыхнула, но смолчала, хотя ей очень хотелось сказать, как легко быть спокойной, когда тебе всего семнадцать и все еще впереди. А у нее если и не позади, то вровень, в самый раз, когда промедление сродни забвению того, что жило в ней, должно было жить, не имело права не жить, не пользоваться жизнью, не отдаваться ей со всей накопленной силой. Варя смолчала, но мысли, вызванные бестактностью девчонки, у которой как раз-то все было впереди, остались, и прибыла она к Александре Андреевне несколько растерянной.

– Я хотела бы представить вам брата, – сказала хозяйка, когда переговорили о погоде, модах и новостях и девушки освоились. – Он спасается от сплина то в Европе, то в России, попеременно и с равным успехом, однако не растерял еще желаний знакомиться с очаровательными девицами. Рекомендую, князь Насекин.

Рано польсевший князь скользнул равнодушными глазами, на миг задержал взгляд на Маше и неожиданно улыбнулся одними губами:

– Боюсь, что я – скучная принадлежность дамских гостиных.

– За чаем мне случалось видеть тебя даже остроумным, – сказала Александра Андреевна, вставая. – Прошу вас.

Они прошли в столовую, где был подан чай по-английски – с молоком и без самовара. Князь сел напротив Маши, изредка изучающе поглядывал на нее, но молчал, не участвуя в общем разговоре и отделяясь односложными замечаниями, когда его пытались втянуть в этот разговор. Потом сказал неожиданно и совершенно невпопад:

– Поразительно, но ведь только Россия тратит. Тратит деньги, тратит знания, время, душевные силы. Остальные народы ничего не тратят: они вкладывают. В будущее, в карьеру,

в дело. Вкладывают, всегда думая о том, чтобы получить прибыль. Даже когда дело касается удовольствий, думают о процентах с вложенного капитала.

Гости растерянно примолкли, а хозяйка улыбнулась:

– Князь Сергей Андреевич – наша семейная загадка. Мы часами ломаем головы над его шарадами, но таков уж стиль, приходится с этим мириться.

– Может быть, князь пояснит, что он имел в виду? – улыбнулась Варя. – Признаться, я озадачена: говорили о провинциальной тишине – и вдруг ваша эскапада.

– Князь считает эти разговоры ненужной тратой сил, только и всего, – покраснев, сказала Маша. – Вероятно, это справедливо.

Князь молча улыбался одними губами. Глаза по-прежнему смотрели с усталым равнодушием.

– Придется разъяснить, Серж, иначе ты рискуешь быть превратно понятым, – вздохнула Александра Андреевна.

– Представьте, что потребность всюду искать абсолютную гармонию есть наше национальное свойство и наша национальная беда, – скучно, словно через силу, начал он. – Европа – я беру ее в целом, ибо разница между ее народами практически несущественна, – так вот, Европа стремится к гармонии личной, суть которой сводится к формуле «мне должно быть хорошо». А мы этого стыдимся, даже если втайне и исповедуем. Стыдимся мучительно и искренне, готовы каяться, замаливать грех благотворительностью или... или чудачеством. Не потому ли у нас в России столь много совершенно особых русских чудачков? Куда-то рвемся, спешим, грешим и святотатствуем – и все не для себя, а если и для себя, то для утешения духа, а не тела, все скорее для покоя внутреннего, нежели внешнего. Не отсюда ли наше пресловутое русское чувство вины перед всем миром?

– А вы еще не влюблялись, – объявила вдруг Маша, опять покрасневшись. – И поэтому вам легко.

Князь внезапно рассмеялся. Смех его был неровным и каким-то насильственным.

– Кажется, тебе тоже придется пояснить свою мысль, – не без желчи сказала Варя.

– Не буду. – Маша покраснела еще больше и по-детски обиженно надулась.

– И не надо. – В глазах Сергея Андреевича впервые появилось что-то живое: они сейчас улыбались вместе с ним. – Вы открыли истину, Мария Ивановна. И, как всякая истина, она достаточно горька, чтобы принести пользу.

Софья Гавриловна была очень недовольна направлением, которое приняла застольная беседа. Она шла в этот дом, где избегали смотреть в глаза, где не говорили, а изрекали, не ели, а пробовали, не пили, а отведывали вопреки собственным симпатиям. Шла, рассчитывая на протекцию в сватовстве, а вместо протекции и серьезного разговора ей подсунили потрепанного и явно женатого человека, навязавшего обществу никчемный спор. Она все время ждала мгновения, в которое можно было бы вцепиться, чтобы поворотить все в нужную сторону, и поэтому с радостью ухватила за последнюю сентенцию князя.

– Да, да, вы совершенно правы, князь, совершенно. Горечь одиночества, отсутствие избранника сердца...

Разговор нехотя, со скрежетом и натугой, переползал на иные рельсы. Варвара хмурилась. Маша сердито краснела, а князь вновь зазмеился улыбкой, приглушив лишь однажды вспыхнувшие глаза. Все стало привычно скучным, дамы вежливо поддерживали беседу, вылавливая в потоке суетных фраз имена и тут же придирчиво, но осторожно обсуждая их. Девушкам становилось все неудобнее и беспокойнее, но тетушка уже увлеклась, уже позабыла о них, да и хозяйка оживилась. Князь молчал, привычно выдавливая улыбку и поглядывая на Машу. Маша хмуро отворачивалась, а потом глянула вдруг с отчаянной мольбой.

– Я привез любопытные журналы, – сразу же, точно только и ждал этого взгляда, сказал князь. – Если не возражаешь, сестра, я показал бы их пока в гостиной.

– Да, да, Серж, развлеки барышень, а мы поболтаем с любезной Софьей Гавриловной.

Прошли в гостиную, князь принес парижские журналы. Отдал пачку Варя, но один оставил у себя и просматривал его вместе с Машей, комментируя рисунки и фотографии, остроумно пересказывая последние сплетни и анекдоты. Маша окончательно перестала дичиться, смеялась, когда хотелось смеяться, переспрашивала, когда не понимала; князь оживился, говорил легко и весело, опять заулыбался оттаявшими глазами. Варя поначалу поддерживала общий разговор, поскольку Сергей Андреевич к ней обращался, но потом его обращения стали все более редкими, а вскоре и совсем прекратились. Варя изо всех сил демонстрировала живую увлеченность журналами и даже смеялась в одиночестве, а когда возвращались, сказала, уже не пытаясь скрыть обиды и раздражения:

– Ты возмутительно вела себя с князем, Мария. Возмутительно!

– Возмутительно?

– Воображаю, что он мог подумать. Что он мог подумать!

Маша ничего не ответила. Что-то безнадежно горькое звучало в тоне сестры, настолько горькое, настолько не соответствующее словам, что Маша не обиделась, а испугалась. И не хотела признаваться в этом страхе, чувствуя, что если признается в нем, то ей будет стыдно за Варю. Поскорее прошла к себе и постаралась тут же заплакать, еще по-детски веря, что слезы смывают все неприятности и скверны. Но поплакать всласть ей не удалось: вошла Варя. Вошла так стремительно, что Маша не успела прикинуться равнодушной.

– Прости меня, Маша.

И опять слова были отделены от тона, и опять Маша слышала сначала тон, а уж потом то, что говорилось.

– Ты уже взрослая, – продолжала Варя, старательно глядя в сторону. – Судя по двум примерам, вполне взрослая, и... и я решила говорить с тобой как со взрослой женщиной. Нам будет трудно, я догадываюсь, но разговора этого не избежать, и... и если ты не против...

– Я не против.

– Вот и прекрасно, прекрасно. – Варя решительно прошла по комнате, решительно нахмурила брови. – Мы – сестры, мы должны быть откровенны, и если даже откровенность эта покажется тебе обидной, то...

Она замолчала, глядя в сторону. Маша внимательно следила за нею, видела эту выставленную напоказ решительность, понимала, что Варя трудно, и с непонятным злорадством ждала, что же она скажет. Понимала, что поступает скверно, ругала себя за это вдруг пробудившееся в ней злорадство и – ждала.

– Мы родные сестры, но мы не одинаковы. Ты моложе и... и привлекательнее. – Варя с трудом выдавила из себя это признание. – Да, ты привлекательнее, ты умеешь легко увлекать, ты... ты обольстительна, если тебе угодна моя прямота.

– Это скверное слово, Варя, – тихо сказала Маша; в душе ее гремели сейчас фанфары, но она изо всех сил старалась быть скромной. – Я понимаю, что ты хотела сказать этим словом, и прощаю тебя.

– Ты прощаешь меня? – Варя близко заглянула в лицо и неприятно улыбнулась. – Благодарствую, сестрица. Я тащила на себе семью, Мария. Я, забыв обо всем, о молодости, о радостях, о соловьях в этом саду... – Она вдруг оборвала себя, словно проговорившись. Медленно провела рукой по лицу, отвернулась. – Мы не можем одновременно выйти в дверь: кто-то должен уступить дорогу, – как-то нехотя, словно уже утратив интерес к разговору, сказала она. – И я прошу тебя... Нет, я требую, чтобы ты...

– Не надо, Варя, милая, не надо! – Маша, не выдержав, бросилась к сестре, обняла сзади за плечи. – Прости меня, что я раньше не прервала, прости, что мучила. Я скверная, Варя, я эгоистка, вот кто я такая. Но я все поняла. Все! Не тревожься...

Варя холодно отстранила Машу и молча вышла из комнаты, старательно выпрямив и без того вызывающе гордую спину.

На второй день князь явился с ответным визитом. Маша пряталась в своей комнате, пыталась читать, но не видела строчек, а если и видела, то не понимала. Она слушала. Слушала напряженно, всем существом, всеми силами, хотя до гостиной, где Варя оживленно болтала с князем, было далеко и услышать она ничего не могла. И она знала, что не может услышать ни единого звука, и все равно слушала до звона в ушах. Такой напряженно прислушивающейся ее и застала Софья Гавриловна.

– Мари, это что за новости? Почему ты прячешься, как ребенок? Князь дважды спрашивал о тебе.

– Пусть. – Маша упрямо надула губы. – Я читаю и никого не хочу видеть.

– Но это же неприлично, сударыня, неприлично. Немедля извольте пройти в гостиную. Немедля!

– Не пойду. Хоть зарежьте.

Тетушка мгновение остолбенело глядела на нее, а потом безвольно рухнула на кушетку.

– Маша, не истребляй, – проникновенно сказала она. – Не истребляй во мне порыва. Не истребляй.

– Я ничего не истребляю.

– А я не сплю ночами, – строго поведала Софья Гавриловна. – Я думаю, задумываю и передумываю. Когда у тебя будут дети, ты поймешь и устыдишься. И это будет утешением в моей одинокой могиле.

– Тетушка, – почти с отчаянием сказала Маша, захлопывая книгу. – Вам хочется кого-нибудь осчастливить? Так осчастливьте Варю, она ждет этого. А я потерплю. Мне еще пансион кончить надо.

Про пансион она схитрила, ибо думала о нем почти с отвращением. Схитрила по-детски, в данный момент не задумываясь, что ее слова могут прозвучать обещанием. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое, в ее покое, который заставлял слушать то, что заведомо невозможно услышать, и читать, не понимая ни единого слова. Это был покой неустойчивого равновесия, но она не желала, чтобы кто-либо извне нарушал это равновесие. В нем заключалась сладкая возможность выбора, и этой возможностью Маша сейчас дорожила пуще всего на свете.

– Ну что же, – проговорила тетушка после глубокого размышления. – Ну что же, по-своему ты права. Ты не эгоистка, а значит еще не влюбилась. Только не думаю, чтобы князь приехал еще раз.

Маша тоже не думала, и ей было чуточку грустно. Но грусть эта была торжественной, как в церкви.

Князь и вправду больше не появлялся, подчеркнув тем самым, что визит его был всего лишь вежливо-ответным. Более они не встречали его, хотя дважды выезжали вместе с Александрой Андреевной: тетушка стремилась расширить круг знакомств. Но поскольку сама Софья Гавриловна в князе не была заинтересована, полагая его женатым, а потому как бы уже и не первого сорта, то и не задавала наводящих вопросов. И тусклые глаза усталого аристократа стали забываться вкупе с его приклеенной улыбкой.

2

Полковник Хорватович был плечист и высок, а походный зипун, который он никогда не застегивал, и широкие, заправленные в высокие австрийские сапоги шаровары делали его громоздким и неуклюжим. Но впечатление было обманчиво: двигался командир корпуса легко и стремительно, говорил, энергично отрубая фразы, действовал без колебаний, и сорокалетние глаза его до сей поры не растеряли юношеской синевы.

Для подробного рассказа он оставил в палатке одного Олексина, попросив выйти даже собственного начальника штаба. При докладе не перебивал, лишь коротко осведомился, когда Гавриил закончил:

– Это все?

– Все, господин полковник.

– Больше нечего доложить?

Олексин пожал плечами. Хорватович пристально посмотрел ему в глаза, кивнул:

– Садитесь.

Прошелся по палатке, взмахнув полами распахнутого зипуна, выглянул наружу. Потом, размышляя, постоял над поручиком и сел по другую сторону дощатого стола.

– Нет, не все, поручик.

– Простите, полковник, я вас не понимаю.

Хорватович не глядя выхватил из лежавшей на столе папки письмо, протянул Гавриилу, продолжая в упор глядеть на него синими глазами:

– Ознакомьтесь.

Это было донесение Медведовского. Полковник объяснял изменение своего маршрута в связи с нападением черкесов и вынужденным сопровождением батареи Тюрберта до сербских позиций. Все было правильно, но все это не касалось ни поручика, ни его доклада. Он читал, не понимая, зачем Хорватович знакомит его с рапортом, и лишь в конце, в приписке, понял, в чем дело.

«При внезапной атаке черкесов русско-болгарским отрядом поручика Олексина был захвачен в плен командир черкесов Ислам-бек, имя которого, безусловно, знакомо Вашему превосходительству. За час до моего прибытия указанный пленный бек был отпущен на свободу лично поручиком Олексиным. Ставлю Вас об этом в известность, усматривая в этом проступке не просто доверчивость офицера, но прямое попрание им воинского долга, почему и ходатайствую о немедленном откомандировании поручика Олексина в распоряжение штаба генерала Черняева с последующим лишением волонтерских прав и принудительной высылкой в Россию...»

В приписке было что-то еще, но Гавриил не стал читать до конца: так засосало, заняло вдруг под ложечкой. Аккуратно сложил письмо по сгибам, протянул Хорватовичу:

– Прикажете сдать оружие?

– Объяснитесь.

– Долго, полковник. Да и вряд ли вы поймете.

Хорватович помолчал, постукивая сложенным рапортом о плохо струганные доски стола.

Потом сказал:

– Ислам-бек вырезал два села. Вырезал буквально, не пощадив ни детей, ни стариков, за что и объявлен вне закона. Я понимаю, вы могли об этом не знать, но незнание не является оправданием, поручик.

– Я не пытаюсь оправдываться.

– И по-прежнему считаете себя правым?

Олексин долго молчал. Потом встал, извлек из кобуры револьвер и положил его на стол.

– Жду ваших приказаний, господин полковник.

– Приказаний? – Хорватович зябко поежился, запахнул зипун. – Проклятая лихорадка, бьет второй месяц. В центре нашей позиции находится возвышенность. Она выдвинута вперед, делит корпус пополам, и, пока она у меня в руках, турки не могут продвинуться ни на шаг. Я поставил на эту высоту батарею Тюрберта, а прикрывать ее будет рота, усиленная вашим отрядом. Рота наполовину состоит из сербских войников; естественно, они не будут знать о

вашем великодушии, но вы об этом помнить должны. Возьмите оружие и извольте принять роту.

Олексин неуверенно протянул руку к револьверу и снова отдернул, продолжая с молчаливым удивлением смотреть на полковника.

– Вы не расслышали приказа? – Хорватович вздохнул, потрогал пальцами лоб. – Все правильно, сейчас свалюсь.

– Может быть, врача? – спросил Гавриил, заталкивая кольт в кобуру.

– Врач умеет только отпиливать конечности. Слушайте, поручик, почему вы так неумеренно пьете?

– Я не пью неумеренно, господин полковник.

– Да не вы лично, а господа русские офицеры, во всяком случае многие из них. – Он неожиданно усмехнулся. – Из-за этого пристрастия я вынужден держать в своей палатке ведерную бутылку ракии.

– Угощаете господ русских офицеров? – Гавриил попытался сказать это легко, но улыбка вышла кривой, да и вопрос прозвучал достаточно криво.

– Мне надоели постоянные жалобы на вашу неводержанность, и, чтобы положить этому конец, я объявил пьяницей себя. – Улыбка у Хорватовича тоже не получилась. – Жалобы прекратились, но пьянство осталось. Вы догадались, у кого вам предстоит принять роту? У пьяницы, поручик. Прискорбно, но этот пьяница – отставной полковник русской службы. Он явился сюда с претензией на бригаду, но у меня была только эта несчастная рота. Полковник покорился судьбе, но впал в амбицию: месяц беспробудно пил, и от роты осталось чуть более половины. Учтите это и постарайтесь сдержаться, когда будете принимать людей и хозяйство: мне и так хватает ссор. Удивлены?

– Признаться, да.

– В моем корпусе восемнадцать национальностей. Восемнадцать, поручик! Все горят желанием помочь несчастной Сербии, но все – на свой лад. Оркестра нет – есть музыканты, а единых нот штаб так и не удосужился выслать. И все играют свою музыку и кричат, что фальшивит сосед. На разбор их пустопорожних жалоб я тратил уйму времени, пока не завел должность адъютанта по национальным претензиям.

– А славянские идеи что же, больше не помогают?

– А какое дело немцам, итальянцам, венграм или грекам до ваших славянских идей?

– Ваших? Я полагал, полковник, что это наши общие идеи. Разве не так?

– Мы – народ маленький, куда уж нам до панславизма, – вздохнул Хорватович. – Ну да ладно, поживете – сами увидите. Фамилия пьяницы-полковника Устинов, а найдете вы его в кафане у маркитантов. Ступайте, мне, кажется, придется лечь. Ступайте, поручик, приказ о вашем назначении вам передадут утром.

Гавриил щелкнул каблуками и пошел к выходу.

– Если отдадите пушки туркам... – Хорватович помолчал, а потом тихо и очень буднично закончил: – Я расстреляю вас за все грехи разом.

Поручик молча поклонился и вышел из палатки.

Он никому не стал рассказывать о рапорте Медведовского: это было его дело, за которое он отныне нес полную меру ответственности. Поручик до сих пор ощущал холодок в спине от последних слов Хорватовича и понимал, что синеглазый командир корпуса сказал их не ради фразы. Здесь яростно боролись за дисциплину и боеспособность и не стеснялись подчас прибегать к самым крутым мерам: полковник лично расстрелял войника, бросившего в бою раненого товарища, об этом писали все газеты.

Тюрберт уже увел свои пушки на позицию, а болгары держались в стороне, ожидая указаний. После истории с черкесом, о которой они, к счастью, не знали подробностей, между

ними и Гавриилом словно пробежала кошка: внешне все оставалось по-прежнему, но ошутимый ледок появился. А угрюмый Кирчо спросил напрямик:

– Отпустили или вправду сбежал?

– Сбежал, – сказал Отвиновский. – Не уследили, виноваты.

Кирчо выругался и ушел. И появился ледок в отношениях.

– Идем на пополнение стрелковой роты, – сказал Олексин. – Сообщите об этом болгарам, Отвиновский. Мы с Совримовичем поищем командира.

По дороге в кафану, которая стояла на отшибе, за строгими линиями штабных палаток и шалашей, говорил один Совримович. Рассказывал о встрече со знакомым офицером, о турках, редких боях и о слухах. Он был равнодушен к слухам, любил извлекать из них доказательства собственных выводов, за время похода скучал без новостей и с удовольствием сыпал ими. О Черняеве, о докладе сербского военного министерства, о злоупотреблениях интендантства, о князе Милане, тайком примерявшем королевскую корону, о демонстративном отъезде группы русских волонтеров в Россию...

– Студенты, – несколько пренебрежительно комментировал он, – недовольны позицией сербских властей, обвиняя их в саботаже и чуть ли не в тайном сговоре с Портой...

Олексин не слушал. Он вновь с ужасом вспоминал рапорт Медведовского и внутренне благодарил судьбу, что счастливо избежал позорной высылки на родину. Нет, он и сейчас не жалел, что отпустил Ислам-бека, и, хотя упоминание Хорватовича о вырезанных селах тревожило его совесть, поручик твердо был убежден, что полковник сильно преувеличил жестокости, творимые черкесами в Сербии.

И все же главное место в его размышлениях занимал сейчас Хорватович. Поручик думал о нем почти с восторгом не только потому, что сербский полковник спас его честь и карьеру, но и высоко оценивая ловкость, с которой Хорватович использовал рапорт в общих боевых целях. Да, он взвалил на плечи поручика нелегкую ношу, но взвалил, понимая, что Олексин с благодарной радостью ухватится за нее. «А все-таки все к лучшему, – с неистребимой юношеской верой в счастливую звезду думал Гавриил, входя в шумную кафану. – Если бы не случай, ни за что бы мне не получить такого участка».

В тесной кафане было дымно и людно, но толстый хозяин в грязном фартуке мгновенно нашел для них место, поспешно выпроводив из-за столика двух сербских войников.

Совримовичу это не понравилось:

– Напрасно вы их потревожили.

– Никак не можно, никак не можно! – на плохом русском языке кричал хозяин, проникновенно прижимая к засаленной груди волосатые пальцы. – Все – для господ русских волонтеров. Вы проливаете кровь за нашу Сербию...

– Но мы не затем пришли...

– Никак не можно! Бутылочку вина, одну бутылочку! – Тут хозяин понизил голос до интимной доверительности: – Есть настоящее французское. Только для вас, господа, только для вас.

Он тут же исчез, с профессиональной ловкостью обходя посетителей. Офицеры сели, оглядывая набитое людьми помещение.

Русских здесь было много, и поэтому на них никто не обращал внимания. Ели и пили с той грубоватой бесцеремонностью, к которой с удовольствием прибегают мужчины, сойдясь по случаю, изо всех сил изображая бывалых рубак и хвастаясь бесшабашной удалью. Громко говорили, громко смеялись, вмешиваясь в разговоры соседей и не стесняясь в шутках. В основном это была молодежь, хотя попадались лица, довольно потрепанные возрастом и жизнью. Офицеры и солдаты придерживались своих компаний, но столы располагались рядом, плечи касались друг друга, а разговоры и шутки часто пересекались: волонтерское платье несколько уравнивало социальные группы, и Совримович сразу обратил на это внимание.

– Этак мы потеряем армию, Олексин: солдат не должен видеть пьяного офицера. А уж коль начнет пить с ним, в атаку его не поднимешь.

– Они хоть за разными столами, Совримович. Вы посмотрите направо.

Правее их за большим графином ракии сидели худой, сморщенный старик в русском полковничьем мундире и рослый краснорожий волонтер. Оба одинаково навалились на столик, едва не касаясь друг друга низко склоненными лбами, и одинаково молчали.

– Держу пари, это и есть полковник Устинов, у которого мне надлежит принимать роту.

– Я вам не пешка! – вдруг побагровев, крикнул полковник. – Да-с, не пешка! Я – русский офицер, я тридцать лет верой и правдой! Да-с! А меня – в пешки, в пешки! Почему не русские командуют, почему, я вас спрашиваю? Почему? Интриги, господа? Не позволю! Не позволю, чтоб русский мундир... – Он ткнул солдата в плечо. – Ты видишь этот мундир? Видишь?

– Так точно, – невнятно пробормотал солдат, привычно думая о своем. – Как же. Мундир – это точно.

– Этот мундир свят, – с пьяной проникновенностью сказал полковник. – Он вознесен волею его императорского величества и матушки-России. Вознесен! Во всех столицах славой покрыт. Во всех, милостивый государь, не извольте спорить. Все – дерьмо, только русские воюют. Только русские! А меня – в подчинение. К кому? К австрийскому сербу?

– Ах ты горе горькое! – крикнул солдат, хватив кулаком по столу.

За столиком воцарилась тишина. Полковник долго и тупо глядел на собутыльника пьяными красными глазами.

– Горе? Какое у тебя может быть горе, дубина?

– Детки мои, детки, – всхлипнул волонтер. – Трех оставил. Трех!

– Детки?.. Да. Наливай. Наливай, Белиберда, за деток. Ты зачем сюда ехал? Какая твоя идея?

– Чего?

– Доложи.

– Я, это... Турку бить!

– Молодец! – Полковник чокнулся глиняной кружкой и лихо отправил ее содержимое в неаккуратно заросший рот. – Я православный, милостивый государь, да-с. И горжусь! Когда российский человек жизни своей не щадит, извольте в ножки ему за это. В ножки! А мне – роту. Роту! А серб воевать не хочет. Ты заметил? Не хочет, подлец этакий!

– Не хочет, Зиновий Лукич. Ох-хо-хо! – громко вздохнул солдат и пригорюнился. – А у нас на семь сел один вол, да и тот без рог.

– Не смей! – строгим шепотом сказал полковник. – Не смей отчизну порочить. Не смей!

– Да нешто я... – растерялся солдат.

– Не смей! – Полковник строго погрозил пальцем, хлебнул из кружки и сказал уже более спокойно: – Мне говорят: снимайте мундир, потому сербы косятся. А зачем? Зачем мне снимать мундир? Я – русский полковник с мундиром и пенсионом в отставке. Я – кавалер российских орденов! Я служил беспорочно тридцать лет! Я по Белграду в мундире ходил, я у Черняева в мундире ходил, я и здесь в мундире хожу. Пусть видят, кто их от турок спасает, пусть! Нате, смотрите! Я – русский полковник. Русский! И не смей здесь отчизну порочить. Не смей!

– Виноват, ваше высокоблагородие.

– То-то. Наливай, Белиберда. Белиберда ты и есть.

Отставной полковник кричал, стучал по столу, призывал свидетелей, но в переполненной кафане никто не обращал на него внимания. То ли потому, что в нем видели завсегда, к которому привыкли, то ли потому, что здесь вообще было принято ничему не удивляться и ни к чему не прислушиваться, то ли потому, что Устинов был скандально обидчив и никто не хотел связываться с ним. Как бы там ни было, а кафана жила своей жизнью: у окна волонтеры вслух

читали письмо из дома, обсуждая каждую новость; в углу негромко пел под гитару молодой офицер; из-за дальнего стола доносился хохот: там рассказывали что-то веселое и, судя по отдельным словам, весьма соленое. И возможно, именно поэтому полковник и повышал голос до крика.

– Удивительно, Совримович: чем благороднее идея, тем она беззащитнее. Возле нее вдруг оказывается такое количество спекулятивной гнуси, что диву даешься, как ты сам до сей поры еще не изверился в ней. Причем, заметьте, за границей это как-то особенно бросается в глаза.

– Либо мы уведем его, Олексин, либо уйдем сами, – сказал Совримович. – Меня тошнит от его патриотизма.

– Попробую, – вздохнул Гавриил.

Он нехотя поднялся, оглядел зал, прикидывая, на кого можно тут рассчитывать, если разразится скандал, не встретил ни одного взгляда и, помедлив, подошел к Устинову.

– Честь имею представиться, господин полковник: поручик Олексин. Назначен командиром роты, которую вам надлежит немедля сдать мне.

– Немедля? – Полковник, тупо моргая, смотрел на него снизу вверх, пытаясь осознать, что услышал, и хотя бы частично разогнать хмель. – Вторая отставка. А известно ли вам, милостивый государь...

– Мне известно, что мы на войне, где промедление недопустимо.

– Совершенно верно. – Полковник потрянул остатками седых волос. – Садитесь, поручик. Начнем.

– Я не обсуждаю служебных дел в присутствии денщиков, господин полковник.

– Совершенно правильно. – Полковник опять потрянул головой. – Я его Белибердой зову. Как твоя фамилия, Белиберда?

– Валибеда! – гаркнул солдат.

– А я его – Белибердой. Белиберда и есть. Садитесь, поручик. Вы не имеете права пренебрегать. Я старше чином и... и возрастом, да-с! И на мне, изволите видеть, русский мундир.

– Так не позорьте его, господин полковник, – тихо сказал Гавриил.

– Я? Позорю? Я?..

Качнувшись, Устинов встал. Он был невелик ростом, и Олексин по-прежнему созерцал его розовую лысину, опущенную седыми, вразной торчащими космами. Лысина эта стала апоплексически наливаясь кровью, а полковник, наоборот, бледнел, точно кровь его, минуя щеки, вся без остатка ринулась в голову.

– Я позорю? Я?.. Нет-с, милостивый государь, вы позорите. Вы! Мундирчик-то скинули? Скинули? На волонтерское тряпье заменили? А я – нет-с! Вместе с кожей, только вместе с кожей! С сербами заигрываете? С немчурой? С полячишками? Со всеми заигрываете, о демократии рассуждать позволяете, о свободе! Книжечки, в отечестве запрещенные, почитываете, разговорчики разговариваете – тем и Россию позорите. Да-с! Не смейте! Позорите! Тем позорите, что под сомнение ставите. Все – под сомнение, даже власти предержащие. Наслышан, многому наслышан и от студентиков, и от жидовствующих, и от демократов, и от господ офицеров, как сие ни прискорбно. Вот что Россию позорит: сомнения. Сомнения ее позорят, сударь, а во мне нет сомнений. Ни грана нет, и я не позорю, а утверждаю. Наш российский дух утверждаю, нашу веру во власти верховные, нашу силу через мундир сей утверждаю. И не смейте мне, не смейте!

– Через пьянство утверждаете, полковник? – шепотом сказал Гавриил. – Через пренебрежение ко всем и вся? Через постыдный маскарад? Вы компрометируете нас. Даже не нас, нет: вы Россию компрометируете, ее порыв, ее искренность. Вы...

– Молчать! – Полковник затрясся. – Да я вас... На дуэль! К барьеру! Через платок, через платок-с!

– Я не стреляюсь с пьяными стариками.

Кажется, в кафане стало тихо. Или это только показалось Гавриилу: ему тоже бросилась в голову кровь, и он не видел и не слышал никого, кроме этого трясущегося красного полковника.

– Заставлю! – со смешком, нараспев проговорил Устинов. – Заставлю...

Он замахнулся. Олексин непроизвольно дернул головой, но поднятую руку полковника уже перехватила молодая и крепкая рука.

– Спокойно, Устинов, – негромко сказал невысокий плотный офицер. – Вас уже трижды выбрасывали отсюда, а сейчас выбросят в четвертый раз, если вы не образумитесь.

– Ах, господин капитан Брянов! – Устинов пытался раскланяться, но это ему плохо удалось, так как Брянов по-прежнему крепко держал его руку. – А как с нигилистами-то, отчизны лишенными, беседки вели – знаю. Знаю, Брянов, знаю! В Сибирь пойдете, сударь, в Сибирь!

Но капитан не обращал на него внимания. Он в упор смотрел на краснорожего Валибеду, и под этим взглядом собутыльник полковника спрятал бессмысленную улыбку и заметно сник.

– Встать! – негромко скомандовал Брянов. – Забирай своего барина и марш отсюда.

Валибеда привычно встал, но, посмотрев на Устинова, опять глупо заулыбался:

– А может, не хотят они? Не желают уходить?

– Выполний. Ослушаешься – завтра же, пьянь тыловая, в строй переведу. В такое пекло суну – мать с отцом забудешь.

Валибеда глубоко вздохнул, точно собираясь с силами. Достал из кармана потрепанный кошелек, долго копался в нем, выудил несколько монет и положил на стол.

– Три хранка, – сказал он. – Тут за прошлое, значит.

Подошел к полковнику, с привычной ловкостью подхватил так, что ноги Устинова уже не касались пола, и вежливо повлек к выходу.

– Куда? – кричал полковник, стуча сухоньким кулачком по гулкой спине денщика. – Не желаю!

– Бай-бай, – сурово пояснил волонтер.

Кафана весело смеялась. Брянов с улыбкой глянул на Олексина:

– Не стоит из-за этого расстраиваться, поручик.

– Благодарю вас от всего сердца, – с чувством сказал Гавриил. – Я рисковал получить пощечину, на которую не мог бы ответить.

– Я ваш командир батальона капитан Брянов. И очень рад, что от меня наконец-то убрали эту старую лохань. Надеюсь, будем друзьями, поручик?

– Будем, капитан, – улыбнулся Олексин: его подкупила эта прямолинейность.

– С вами, кажется, друг? Забирайте его, и прошу за наш столик.

– Прощения просим, – робко, с покашливанием сказали за их спинами.

Офицеры оглянулись: перед ними стоял Валибеда.

– Прощения просим, – повторил он, снова покашляв. – Ваше благородие, возьмите меня в строй. Явите милость божескую: не затем же я деток своих бросил, чтоб в Сербии ракию ихнюю пить. Спасите вы меня от господина Устинова, ваше благородие!

3

Прием роты оказался чистойшей формальностью: хозяйства не было никакого, а все снабжение лежало на плечах пеших носильщиков – комоджиев, обязанных доставлять продовольствие и патроны на передовую. Правда, за ротой числилась пара лошадей и повозка для транспортировки раненых, но полковник Устинов так мучительно путался, объясняя, где она находится, что Олексин махнул рукой:

– Не страдайте, господин полковник. Потом разберемся.

Ему было стыдно за вчерашнюю сцену. Правда, Устинов был безобразно пьян, но оставался офицером, старшим по званию, при мундире и орденах, и Гавриил ругательски ругал себя, что не сдержался в переполненной кафане.

Поименного списка роты тоже не оказалось, и Устинов напрасно переключивал с места на место потрепанные листочки в своем шалаше. Ни списков людей, ни учета оружия, ни даже фамилий взводных командиров не смог выяснить поручик у тихого и вялого старика. Поняв, что ничего не добьется, подписал рапорт о вступлении в должность и отпустил полковника с миром.

– Будем начинать сначала. Стройте людей, Совримович.

Выстроилось чуть больше сотни вместе с болгарами. Олексин медленно шел вдоль фронта, останавливаясь перед каждым войником. Тот делал шаг вперед, называя имя и фамилию, которые Совримович заносил в список.

– Серб, – помечал он при этом. – Черногорец, серб, румын, опять серб. Грек, чех, венгр... Похоже, тут вся Европа.

– Добавьте французов – и будет вся, – сказал Гавриил.

На левом фланге впритык к болгарам стояли его давешние спутники по речному плаванию. Миллье добродушно улыбался, Лео весело подмигивал, и даже итальянец чуть приподнял руку в знак приветствия.

– Попросите этих господ пройти ко мне, – сказал Олексин.

Он сразу же прошел в шалаш, ставший уже его шалашом, но еще хранивший в себе стойкий запах ракийного перегара. Прошелся перед колченогим столиком, еще не решив, что сейчас скажет, но твердо зная, что этим людям не служить под его началом. Их поступок был для него омерзителен: он не мог забыть клетчатого трупа в придорожной корчме.

Французы вошли один за другим. Миллье с добродушной улыбкой шагнул к поручику и протянул руку:

– Вот нам и пришлось встретиться, командир.

Олексин не принял протянутой руки. Французы переглянулись, а Лео криво усмехнулся:

– Кажется, от папаши ждут другого обращения.

– Что случилось, месье Олексин? – спросил Этьен.

Гавриил со стуком положил на стол складной нож.

– Смотри-ка, он нашел нож, что ты утерял, – удивился Лео, подтолкнув итальянца.

– Я нашел его в спине вашего соотечественника. – Поручик старался говорить спокойно. – Полагаю, господа, что эта находка освобождает меня от данного когда-то слова чести. Также полагаю, что нам следует незамедлительно расстаться: прошу извинить, но мне как-то не приходилось командовать убийцами.

– Но позвольте, сударь... – растерянно начал Миллье.

– Это все, господа, – решительно перебил Олексин. – Прошу тотчас же покинуть вверенный мне участок.

– Так вот каким образом мы освободились от слежки, – вздохнул Миллье. – Я понимаю вас, господин офицер.

– Прошу немедленно покинуть мою роту.

– Но позвольте нам... – начал было Этьен.

– Никаких «но».

Весь день Гавриил занимался неотложными делами: знакомился с людьми, местностью, линией своих стрелков, расположением секретов, передовых ложементов противника, состоянием оборонительных позиций. Земляные работы были сделаны кое-как, укрепления не доведены до конца, всюду он находил следы небрежности и упущений, всюду приходилось начинать чуть ли не сначала. Он был все время с людьми, все время в работе, но постоянно возвращался к мыслям о французах. Их растерянные лица часто возникали в памяти, а последние слова

Миллье звучали до сих пор, и он никак не мог понять, хитрил тогда француз или говорил правду.

Под вечер зашел капитан Брянов. Он только что посетил Тюрберта и остался очень доволен энергией и распорядительностью командира батареи. Обошел с Олексиным его позиции, долго разглядывал турецкие укрепления.

– Прямо скажу, Олексин, мне не нравятся эти ложементы. Я говорил об этом Устинову, но без толку, как вы легко можете догадаться.

– А что вы предлагаете?

– Вылазку. Надо заставить турок попятиться и срыть аванпостные укрепления. В противном случае они сделают то же самое.

– Вылазку силами одной роты?

– Я помогу, Олексин. А может, и артиллеристы поддержат: им ведь тоже пристреляться не грех. Планируйте свою задачу, я спланирую общую – и завтра все покажем Хорватовичу.

– Минуту командира бригады?

Брянов улыбнулся:

– Здесь не та армия, с которой вы привыкли иметь дело, поручик. Командир бригады майор Яковлич нерешителен и неуверен, как старая дева: он будет только благодарен, если мы все возьмем на себя. Пройдем ко мне, я покажу вам общую систему укреплений.

Было уже поздно, когда Гавриил возвращался домой. Домой, ибо теперь у него был свой дом – его рота, своя семья – его рота, своя ответственность – его рота. И он был счастлив и горд, что у него есть эта рота, он мечтал сделать ее лучшей ротой корпуса, мечтал заслужить одобрение Хорватовича, мечтал совершить отчаянно дерзкую вылазку, чтобы о нем и о его роте заговорили по всей Сербии, а может быть, даже в России. Мечтал восторженно и безгрешно, как мечтают только в юности, ища не выгод, а подвигов, не славы, а похвалы.

Впереди показался человек. Он явно ждал его, и Гавриил чуть замедлил шаги и расстегнул клапан кобуры.

– Не беспокойтесь, сударь, – по-французски сказал ожидавший, и поручик узнал Этьена. – Это всего лишь ваш покорный слуга.

– Я приказал покинуть расположение моей роты.

– Мы помним об этом. Но нам кажется, что следует выслушать и нас. Если и после этого вы укажете нам на дверь, мы уйдем.

Под деревом сидели Миллье и Лео, итальянца видно не было. Рядом лежали тощие волонтерские мешки.

– Наши богатства при нас, сударь, и мы ни на что не претендуем, – сказал Миллье. – Но мы уважаем вас, командир, и нам бы не хотелось расстаться так, как мы расстались. Уделите нам пять минут, а потом решайте. Это будет только справедливо.

– Присаживайтесь, – сказал Лео, указывая на толстый обрубок дерева. – Я для вас приволол этот пень.

Он не привык к вежливости, говорил угрюмо, набычившись, и Гавриил сразу сел на предложенное место, вдвойне оценив услугу. При этом он, однако, держался настороженно, поглядывая по сторонам и положив руку на расстегнутый клапан кобуры: французы были вооружены. Миллье заметил его воинственную позицию и грустно улыбнулся.

– С нами нет четвертого, сударь, нет и не будет, поскольку нам с ним не по дороге. Не было его с нами и тогда, когда мы мирно храпели в корчме. Точнее, нас не было с ним, когда он не спал. Короче, сударь, до сегодняшнего дня, до вашего появления, мы трое ничего не знали об этом убийстве. Хотите – верьте, хотите – нет, но я говорю правду.

– Лучше верьте, – тихо сказал Лео.

Этьен подавленно молчал, изредка поглядывая на поручика. Гавриил дважды поймал его потерянный взгляд, застегнул кобуру и закурил.

– Нас много лет гоняли по всей Европе как бешеных собак, – помолчав, продолжал Миллье. – И если бы нас где-либо схватили, нам бы грозил неправый суд и бессрочная каторга. Нет, мы не убийцы, мы не совершили ничего противозаконного, потому что борьба за свободу всегда законна. Но руки наши чисты, сударь, мы не пачкали их убийством и не испачкаем никогда. Хоть мы и не аристократы, у нас тоже имеется честь, которой мы дорожим не меньше вашего. Скажу откровенно: если бы тот человек прижал нас к стене, мы бы сопротивлялись сколько могли, сударь, сопротивлялись бы до последнего, и никто бы не поставил нам этого в упрек. Но ударить ножом в спину – нет, сударь, нам это не подходит, и поэтому мы расстались с тем, кто это сделал.

– Я рад это слышать, господа.

– Но это не все, что мы хотели сказать, не торопитесь, командир, – усмехнулся Миллье. – Мы не просто беглецы, которые ищут, где бы им зацепиться и как бы им уцелеть. Мы сознательные борцы за свободу против любой тирании. Мы готовы защищать эту свободу с оружием в руках, не щадя жизни. Сегодня мы защищаем ее в Сербии, но не спрашивайте, где мы защищали ее вчера, и не интересуйтесь, где будем сражаться завтра.

– Мы – за справедливость, – негромко сказал Лео.

– Да, мы – за всеобщую справедливость, и во имя этой справедливости мы от многого отказались. Мы отказались от родины, от церкви, от государства, потому что и родина, и вера, и государство несправедливы к большинству и не в состоянии дать народам истинной свободы.

– А кто же в состоянии?

– Сам народ, – негромко сказал Этьен. – Только народ может быть справедливым, и только он в состоянии обеспечить настоящую свободу. Любые привилегированные группы, будь то аристократия или буржуазия, прежде всего охраняют свои интересы. Свои, а не народные.

– Утопия, – вздохнул Гавриил. – Извините, господа, но это из области фантазий. Никакая страна не может обойтись без армии, без полиции, без тюрем, судов, налогов, законов, наказаний и поощрений, – словом, без государства. А государство немислимо без подавления чьей-то воли, без принуждения, подчинения, зависимости – одним словом, без служебной иерархии. А иерархия – это лестница, где стоящий выше всегда давит на стоящего ниже и не может не давить, даже если бы и хотел этого. Не может, потому что его в свою очередь давят сверху, не может, потому что он по долгу службы обязан заставлять работать тех, кто под ним, и, значит...

– Значит, справедливости вообще не может быть, – перебил Миллье.

– В абсолютном смысле – да, не может. Всегда будут существовать те, кто посчитает себя обойденным.

– Конечно будут, – согласился Этьен. – Мы не мечтаем о том, чтобы их вообще не было, – мы боремся за то, чтобы их становилось все меньше и меньше.

– Просто мы говорим о разных свободах, – сказал Миллье. – Мы говорим о свободе народов, а вы толкуете о свободе личности. И наша свобода совсем уж не такая утопия, как ваша, сударь. Мы за полную ликвидацию сословий, денег, религий и системы государственного угнетения. Мы хотели бы создать такое общество, где все были бы равны перед законом, где у всех были бы равные возможности и равные условия жизни. Но это далекая мечта. А пока, сегодня, мы хотим помочь Сербии сбросить турецкое иго, только и всего.

– Я тоже хочу этого. Мы расходимся в деталях, а это несущественно.

Французы переглянулись. Лео облегченно рассмеялся и крепко хлопнул себя по бедрам.

– Если это не так существенно, то, может быть, вы отмените свой приказ? – спросил Этьен.

– Я верю вам, – сказал поручик, вставая. – Кажется, ваш шалаш еще никто не занял. Мне остается только предупредить, что в строю я не признаю дружеских отношений.

– Это мы поняли, – улыбнулся Этьен.

– Минуточку, командир! Пока мы не в строю, такую хорошую сделку надо бы sprysnut'. Достань-ка бутылочку, сынок. Ту, заветную, что я припрятал до добрых вестей.

4

– Я сам солдат, – улыбаясь, говорил Хорватович. – Я глубоко уважаю боевой пыл молодых людей, но я знаю моих сербов лучше, чем знают их русские: не только ночью, но и днем они вяло идут в огонь. Они еще не солдаты, они крестьяне; они умеют стойко защищаться, но не умеют хорошо атаковать.

– Мы подадим им пример, – сказал Олексин.

– Русских и так пало слишком много на этой земле, – вздохнул полковник.

– Но, господин полковник, нельзя же допустить, чтобы турки достроили укрепления, – сказал Бряннов. – И вам тоже должно быть понятно, что наш упреждающий удар...

В палатку вошел Тюрберт, и капитан замолчал. Тюрберт с гвардейской лихостью вскинул руку к фуражке, отрапортовал, что явился по приказанию. Хорватович подозвал его к столу, где была расстелена выполненная от руки схема позиций, коротко ознакомил с предложением о ночной вылазке.

– Что скажете, подпоручик?

– Если бы у меня было достаточно снарядов, я бы за три часа разметал эти ложементы. Но снарядов вы мне все равно не дадите, не так ли, полковник?

– Не более десяти на орудие.

– Десять на непристрелянное орудие? – Тюрберт улыбнулся. – Я уступаю лавры пехоте, полковник. Тем более когда она столь безудержно рвется к ним.

– Признаюсь, господа, я в затруднении, – озабоченно сказал Хорватович. – Не окажется ли плата дороже покупки?

Все же они уломали командира корпуса. Олексину необходимо было не только проверить, но и сплотить роту в деле, Бряннов опасался турецкой угрозы, а Тюрберт хотел пристрелять свои орудия по ориентирам. Хорватович понял это и в конце концов разрешил ночную вылазку силами одной роты при скромной поддержке артиллерии. Офицеры согласовали свои действия, условились о сигналах, помощи и связи и вышли от командира корпуса весьма довольные одержанной победой.

– С ним можно иметь дело, – говорил Бряннов. – Командир он стоящий, а что упрям иногда, так не без того, господа, не без того.

– Смотрите, Тюрберт, по своим не пальните, – сказал Гавриил, избегая глядеть в насмешливо улыбающееся лицо.

– Окститесь, Олексин, зачем мне ваша героическая гибель? Я помню о нашем договоре.

Весь день Гавриил готовил роту. Несколько раз проинструктировал взводных, заранее разослал в передовые секреты болгар, чтобы они за четверть часа до атаки без шума сняли турецких наблюдателей, лично проверил оружие передового отряда, который вел сам. Фланговыми отрядами командовали Совримович и Отвиновский: они должны были ввязаться в бой чуть позже, одновременно с группой, которую выделял капитан Бряннов для поддержки. Все было сделано, проверено и перепроверено, но Гавриил не мог усидеть на месте и метался по шалашу.

– Отдохните, Гаврила Иванович, – урезонивал Захар; он набивал для поручика папиросы. – Еще часа четыре спокойно поспать можно, я разбужу.

– Да, да, отдохнуть надо. – Гавриил сбросил сапоги, прилег на топчан, но тут же вскочил. – Ужин роте не давать!

– Ясное дело, не давать, – подтвердил Захар. – Мы этот ужин аккурат в обед съели, чего же давать-то?

– Как считаешь, Захар, я все сделал?

– А остальное в руках Божьих, – сказал Захар степенно. – Как выйдет, так и выйдет. Спи, Гаврила Иванович, разбужу, когда время твое придет.

Поручик послушно лег, но долго еще метался на жестком ложе, хотя думал уже не столько о предстоящем сражении, сколько о себе. То он метким выстрелом повергал наземь рослого турка, занесшего ятаган над Брянным; то впереди своих солдат захватывал батарею и с торжеством дарил турецкие пушки Тюрберту; то по великому везенью и личной отваге врывался в глубину турецкого расположения, а потом гордо кидал к ногам Хорватовича захваченное знамя. В голову лезли мысли и дерзкие, и наивные, но ни на одно мгновение он не подумал, что может быть ранен или даже убит, что этот первый бой в его жизни может оказаться последним. И не потому, что гнал от себя такие думы, а потому, что дум этих не было вообще: после двух скоротечных перестрелок он уверовал не только в то, что не струсит, но и в то, что его никогда не убьют. Война начала рисоваться просторной ареной для подвигов, в мечтах о которых он наконец-таки и уснул.

Захар тихо возился в шалаше. Он мог бы и не делать того, что делал, мог бы оставить до будущего, но не только не оставлял, а, наоборот, искал себе работу, неодобрительно прислушиваясь к вздохам Гавриила. И только когда вздохи эти прекратились, когда он убедился, что барин его уснул крепко и безмятежно, он оставил все дела. Посидел, сосредоточенно глядя перед собой, а потом опустил на колени и начал беззвучно молиться, истово кладя поклоны. Он не знал ни одной подходящей молитвы, но горячо и искренне просил сохранить жизнь ему и рабу Божию Гавриилу.

– Потом жизнь возьмешь, Господи, – бормотал он. – Потом, на родине: не дай на чужбине дух испустить, Господи, Боже ты наш...

Закончив эту полуязыческую молитву, он степенно перекрестился, лег на солому, укрылся полушубком и через минуту храпел мощно и мирно, будто собирался на рассвете не в бой, а на покос.

Передовой отряд выступил, когда чуть забрезжил рассвет. По поводу начала атаки спорили долго: Брянному и Олексину нужна была темнота, но Тюрберт справедливо требовал хоть какой-то видимости. В конце концов сошлись на этом рассветном часе, когда черная мгла еще прикрывает низины, когда только-только начинают обозначаться контуры предметов и когда всем часовым на свете так мучительно хочется спать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.